

Цена 3 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

МОСКВА, 9, Тверская, 48.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1929 год

на ежемесячный философский и общественно-эконом. журнал

„Под Знаменем Марксизма“

8-й год издания.

Журнал выходит под редакцией: А. М. ДЕБОРИНА, А. А. МАКСИМОВА,
М. Н. ПОКРОВСКОГО, Я. Э. СТЭНА, А. К. ТИМИРЯЗЕВА.

Отв. редактор А. М. ДЕБОРИН.

«ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА» имеет перед собою задачу защиты ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

В своей статье, ставшей для журнала программной, В. И. ЛЕНИН подчеркивал боевое для дела революции значение поставленных перед журналом задач и его величайшую важность, как идейного проводника воинствующего материализма.

В наши дни, когда к этим намеченным В. И. Лениным задачам журнала прибавилась, как важнейшая задача—борьба с ревизией теоретических основ марксизма и ленинизма, значение журнала выросло еще более.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартийные ученые материалисты.

«ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА» имеет постоянные отделы: Ленин и ленинизм, актуальные проблемы философии диалектического материализма, история материализма, современные течения философской мысли, исторический материализм, статьи по вопросам теоретической экономики, статьи по теории советского хозяйства, история социализма, вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении, психология и марксизм, диалектика и естествознание, дискуссионный отдел, критика и библиография, отдел переписки с читателями, сообщения и заметки.

«ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА» рассчитан на партийные и беспартийные организации, партий, преподавателей и студентов коммунистических университетов, марксистских кружков и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
на 1 мес.
> 3 >
> 6 >
> 12 >

**МЕЖДУНАРОДНОГО
КНИГОБРОДКА**

— Цена отдельн. номера — 1 руб. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главном Конторе Издательства «Правда» и «Беднота» (Москва, 9, Тверская, 48) и во всех провинциальных отделениях и представительствах «Правды».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4

АПРЕЛЬ

**ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА — 1-9-2-9**

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 4

1929

АПРЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Гр. БАММЕЛЬ.— Ленин и проблема логики в марксизме (1). *В. АСМУС.*— Формальная логика и диалектика (39). *М. ФУРЦИК.*— К. Каутский и диалектический материализм (продолжение) (63). *И. РУБИН.*— Диалектическое разитие категорий в экономической системе Маркса (81). *Гр. ДЕБОРИН.*— Предмет политической экономии в современных спорах (109). *Е. РИВЛИН.*— Проблема революции в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона (133). *П. СЕРЕБРОВСКИЙ.*— Дарвинизм и „дарвинизм“ (164). *КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.* *А. РЕУЭЛЬ.*— К. Маркс. Ницета философии. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Под редакцией Д. Рязанова. 1928 г. (187). *С. ШТЕРН.*— В. Зомбарт. Современный капитализм, т. III, ч. I (189). *С. ТОМСИНСКИЙ.*— Пугачевщина, т. II, из следственных материалов и официальной переписки (194). *И. ЛАПИДУС.*— Фриц Кристиан. Биологическая причинность. Исследование по вопросу о преодолении противоположности механизма и витализма (196).

СОДЕРЖАНИЕ.

Гр. БАММЕЛЬ.— Ленин и проблема логики в марксизме 1
В. АСМУС.— Формальная логика и диалектика 39
М. ФУРЦИК.— К. Каутский и диалектический материализм (продолжение). 63

И. РУБИН.— Диалектическое развитие категорий в экономической системе Маркса 81
Гр. ДЕБОРИН.— Предмет политической экономии в современных спорах 109

Е. РИВЛИН.— Проблема революции в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона 133

П. СЕРЕБРОВСКИЙ.— Дарвинизм и „дарвинизм“ 164

Критика и библиография.

А. РЕУЭЛЬ.— К. Маркс. Ницета философии. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Под редакцией Д. Рязанова. 1928 г. 187
С. ШТЕРН.— В. Зомбарт. Современный капитализм, т. III, ч. I 189
С. ТОМСИНСКИЙ.— Пугачевщина, т. II, из следственных материалов и официальной переписки 194
И. ЛАПИДУС.— Фриц Кристиан. Биологическая причинность. Исследование по вопросу о преодолении противоположности механизма и витализма 196

Ленин и проблема логики в марксизме.

Гр. Баммель.

Опубликованием в девятом «Ленинском сборнике» «Конспекта «Науки Логике» Гегеля», записанного Лениным в сентябре-декабре 1914 г., Институт Ленина открывает печатание «философских тетрадей» Ленина, хранящихся в Институте.

Подготовленное с величайшей редакционной тщательностью, удовлетворяющее самым строгим требованиям воспроизведения текста, издание «Конспекта» Ленина несомненно составит событие в нашей умственной жизни. Значение опубликования заметок Ленина о Гегеле можно сравнить разве только с тем историческим значением, которое в философском мышлении последних пяти лет приобрели опубликованные Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса заметки Энгельса по «Диалектике природы», — значение, в котором мы, может быть, теперь уже не отдаем себе ясного отчета, так как «Диалектика природы» давно стала органической частью основной литературы, наших учебных пособий, вошла в учебные планы, вошла в учебники по диалектическому материализму. Как известно, ни одно произведение в послеоктябрьской русской и международной марксистской философской литературе не вызвало такого широкого литературного и умственного движения, как «Диалектика природы» Энгельса.

Ближайшие годы мы несомненно будем свидетелями такого же глубокого интереса и движения вокруг «философских тетрадей» Ленина. Прав, не-

сомненно, тов. А. М. Деборин, когда он пишет в предисловии к «Конспекту» Ленина, что «Конспект даст сильный толчок дальнейшему развитию и углублению теории диалектического материализма, так как в нем Ленин дает вполне конкретные указания насчет направления, в котором следует продолжать работу сторонникам диалектического материализма».

В нижеследующих заметках мы попытаемся, с одной стороны, суммировать, обобщить отдельные, разрозненные, высказанные у Гегеле, от текста к тексту, замечания Ленина с тем, чтобы, с другой стороны, на основе этих замечаний наметить общую установку марксизма в логике.

Наиболее важная мысль «Диалектики природы» Энгельса, как известно, заключается в том, чтобы представить природу, отображаемую в естествознании, в виде одного связанного целого, как представлено в теории исторического материализма—общество. Над заметками Ленина о логике Гегеля «витают как предпосылка» та же задача в применении к мышлению: изобразить мышление как одно связанное целое в применении к движению, во всем объеме содержания (определяемого развитием объективного мира). Постановке этой задачи посвящены нижеследующие заметки о ленинском «Конспекте». Их придется начать с предварительных замечаний об общих особенностях марксистской логики.

1. Об особенностях марксистской логики.

Речь идет об общих, наиболее бросающихся в глаза особенностях марксистского понимания логики: это, во-первых, то, что марксистская логика является материалистической логикой, учением о мышлении, развитым на основе диалектического материализма; во-вторых, то, что марксистская логика совпадает с диалектикой и теорией познания, и, наконец, в-третьих, то, что марксистская логика есть наука об историческом развитии познания. Подчеркивание этих особенностей марксистской логики проходит красной нитью через все заметки Ленина о Гегеле.

Начнем с первой особенности. Она заключается в том, что для материалиста совершенно не приемлем тот взгляд, согласно которому логика сама по себе, а мир сам по себе. Логика является отражением объективных процессов, совершающихся в природе. Законы логики суть не законы, годные только для мышления, но законы, отражающие объективные процессы, объективные соотношения сил в самой природе, в самих явлениях, в самих вещах. Логика в марксистском смысле является наукой не о формальных функциях или понятиях, имеющих отношение к познанию, только к мышлению, а о законах развития самих вещей, самой природы. Она не навязывает своих законов природе, а «выводит их из развития всей жизни природы и духа»¹⁾. Она изучает формы мышления, но это не пустые формы, противопоставляемые нами как нечто внешнее содержанию, не «безжизненные кости скелета»²⁾, но отражения объективного содержания, отражения «живой жизни»³⁾. Логиче-

¹⁾ Ленинский сборник IX, М. 1929 г., стр. 30.

²⁾ Гегель, Наука Логики, ч. 1, вып. 1, перев. Н. Дебольского, стр. XXVII.

³⁾ Ленинский сборник, стр. 32.

ские формы суть отражения форм движения материи, форм изменения самой природы.

С этой точки зрения Ленин комментирует и критикует Гегеля.

Мистическая форма логики Гегеля состоит в том, что в ней понятия и составляющие объективные сущности вещей, так сказать, субстанциальное содержание всего существующего; всякая вещь есть то, что она есть благодаря имманентному ей понятию, и истинное познание данной вещи сводится к познанию имманентного ей понятия. В этом смысле и говорится в приводимой Лениным фразе Гегеля, что «развитие всякой естественной и духовной жизни» покоится «на натуре чистых сущностей, составляющих содержание логики». Мировой материальный процесс «естественной и духовной жизни» оказывается обнаружением «логической природы, одушевляющей дух и побуждающей его действовать». Диалектика вещей оказывается лишь отблеском «саморазвития мысли». Но в этой мистической шелухе, по Ленину, надо искать зерно глубокой истины. «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм, — пишет Ленин, — т.е. я выкидываю большей частью боженьку, абсолютом, чистой идею»¹⁾.

Так и тут: точка зрения Гегеля должна быть перевернута: если для Гегеля движение мысли рассматривается, как «развитие всякой естественной и духовной жизни», которое покоится на «натуре чистых сущностей», составляющих содержание логики»²⁾, материалист «чистые сущности» вырабатывает: не «чистые сущности» составляют содержание логики, а материальный мир в законах ее развития и движения. «Логика и теория познания, как диалектика самих вещей, самой природы, самого хода событий»³⁾, должна быть выведена из развития всей жизни природы и духа»⁴⁾. Таким образом, мысль об единстве законов мышления и природы на базе материалистического понимания мышления сохраняет все свое значение. Истолкованная в материалистическом смысле мысль Гегеля означает, что категории логики не просто пособие человека, «средство», а «выражение закономерности и природы и человека». Показав, что мысленные формы не только «средство», «полезность», «безразличные средства», Гегель действительно доказал, что понятия не являются вовсе чем-то субъективным, происходящим только в голове, что «логические формы и законы не пустая оболочка, а отражение объективного мира. Вернее, не доказал, а гениально угадал»⁵⁾. В этом признании единства бытия и мышления величайшее преимущество логики Гегеля по сравнению с формальной логикой, противопоставляющей логические формы предметам и отрывающей форму мышления от содержания. «Гегель же требует логики, в коей формы были бы содержательными формами,—говорит Ленин,—формами живого, реального содержания, связанными неразрывно с содержанием»⁶⁾, а вместе «с этим введением содержания в соображения

¹⁾ Там же, стр. 58.

²⁾ Гегель, Наука Логики, ч. 1, вып. 1, стр. XXVI.

³⁾ Ленинский сборник, стр. 72.

⁴⁾ Там же, стр. 30.

⁵⁾ Там же, стр. 198.

⁶⁾ Там же, стр. 38.

логики предметом становятся не вещи, а суть, законы их движения», — интерпретирует далее Ленин мысль Гегеля¹⁾.

Мышление вовсе не выступает как нечто внешнее предмету, нечто оторванное от него, нечто «дополняющее» его, или как «оболочка» его, произвольно набрасываемая человеком на мир. Материалистическая логика не может согласиться с «обычной логикой», когда она «формалистически отделяет мышление от объективности». «Мышление, — говорит Гегель, — признается здесь лишь чисто-субъективной и формальной деятельностью, и объективное, в противоположность мышлению, считается чем-то устойчивым и самим по себе данным. Но в таком дуализме нет истинности, и бессмысленно так брать определения субъективности и объективности без дальнейшего рассмотрения, не спрашивая об их происхождении»²⁾. Материалистическое толкование этой мысли надо видеть в том, что субъективная форма сама вырастает из законов природы, как ступень в развитии форм движения самой материи. Субъективность выступает у Гегеля, как «ступень развития из бытия и сущности» или, как говорит Ленин по этому поводу, «законы логики суть отражения объективного в субъективном сознании человека»³⁾. Диалектика вещей создает диалектику идей, а не наоборот.

В смене, взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в переходах одного понятия в другое, Гегель «гениально угадал именно такое отношение явлений мира, вещей, природы»⁴⁾. У Гегеля проскальзывают материалистические критерии, когда он стремится развить «имманентную душу диалектики» «во всяком природном, научном и духовном развитии», и здесь Ленин неоднократно подчеркивает «зерно глубокой истины в мистической шелухе гегельящины»⁵⁾. Мистика у Гегеля заключается уже в том, что формы понятия не пустые формы, средства, орудия, а образуют «живой дух действительного», но, именно, в этой мистической шелухе есть зерно глубокой истины, — именно, единства мышления и природы, есть путь к пониманию логики, как науки об «общих законах движения мира и мышления»⁶⁾. Сквозь диалектику понятий Гегеля просвечивает диалектика вещей. Для него «отрицать объективность понятий, объективность общего в отдельном и в особом невозможно. Гегель, — говорит Ленин, — много глубже, следовательно, чем Кант и другие, прослеживал отражение в движении понятий движения объективного мира»⁷⁾.

И Ленин тщательно регистрирует все эти моменты материалистического критерия диалектики, невольно проскальзывающие у Гегеля. В этом отношении особенно важно для понимания рассматриваемой стороны марксистской логики отношение Ленина к взглядам Гегеля на практику.

¹⁾ Там же, стр. 42.

²⁾ Гегель, Наука Логики, ч. 2, стр. 360.

³⁾ Ленинский сборник, стр. 204.

⁴⁾ Там же, стр. 228.

⁵⁾ Ленинский сборник, стр. 153.

⁶⁾ Там же, стр. 190.

⁷⁾ Там же, стр. 196.

«Все вещи суть умозаключения, некоторое общее, связанное через частность с единичностью». Ленин цитирует эту мысль Гегеля, выделенную последним в главе об «умозаключении» (в критике традиционного превознесения учения о «логических фигурах»), и Ленин подчеркивает то важное, безусловно материалистическое, что угадано Гегелем: «очень хорошо! — замечает Ленин, — самые обычные логические «фигуры» «суть школьно-размазанные, sit venia verbo» самые обычные отношения вещей»¹⁾.

Если природа для Гегеля есть «погружение понятия во внешность», то и практика человека оказывается разложенной на составные части «логических фигур» (умозаключений). Перевернуть! — должен сказать материалист, — наши понятия отражают практику человека, а не наоборот. «Когда Гегель старается — иногда даже: тщится и пыжится, — говорит Ленин, — подвести целесообразную деятельность человека под категории логики, говоря, что эта деятельность есть «заключение», что субъект (человек) играет роль такого-то «члена» в логической «фигуре» заключения и т. п., — то это не только натяжка, не только игра. Тут есть очень глубокое содержание чисто-материалистическое. Надо перевернуть: практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом».

В мистической, «архи-темной», извращенной форме своей мысли о том, что практика есть логическое «заключение, фигура логики», Гегель угадал нечто общее, связывающее их. Для марксистской логики фигуры умозаключений, конечно, не имеют инобытием своим практику человека (это и есть абсолютный идеализм), а, наоборот, «практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения»²⁾.

Итак, законы логики отражают формы движения материи, жизни, объективных процессов природы, а также человеческой практики. «Жизнь рождает мозг. В мозгу человека отражается природа. Проверляя и применяя в практике своей и в технике правильность этих отражений, человек приходит к объективной истине»³⁾. Поэтому, по мнению Ленина, «логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития «всех материальных, природных и духовных вещей», т. е. развития всего конкретного содержания мира и познания его»⁴⁾. «Общие законы движения мира и мышления»⁵⁾ составляют содержание диалектически-материалистической логики.

Вторая особенность марксистской логики состоит в том, что она последовательно проводит точку зрения материалистической диалектики, в том, что материалистическое понимание процессов мышления должно быть в то же время и диалектическим. Другими словами, «отражение природы

¹⁾ Там же, стр. 194.

²⁾ Там же, стр. 266.

³⁾ Ленинский сборник, стр. 237.

⁴⁾ Там же, стр. 40.

⁵⁾ Там же, стр. 190.

в мысли человека надо брать диалектически, надо понимать его, как говорит Ленин, — не «мертво», не «абстрактно», не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их¹⁾. Познание рассматривается как вечное, бесконечное приближение мышления к объекту. Совпадение или соответствие с природой есть процесс, а не мертвый покой, не простой и тусклый образ, или число, или абстрактная мысль. Законы логики не просто отражают природу, но и отражают движение материи, само отражение находится в процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их, — отражают процесс развития природы. Понятия в марксистской логике показаны как отражения объективного мира, но эти отражения не мертвые, неподвижные, закрывшие маски или снимки, а «отношения, переходы, противоречия», «переходы одного понятия в другое, вечная смена, движение понятий²⁾. «Движение научного познания — вот суть», — говорит Ленин³⁾.

С этой точки зрения Ленин интерпретирует Гегеля. В «переходах» от понятия к понятию у Гегеля Ленин находит «много мистицизма и пустой педантизм». Абстрактные, искусственные логические «переходы» Гегеля выводят из себя наивных философов, которые, цитируя подобные места, беснуются: чему-де учат, такой галиматья! Они правы, — говорит Ленин, — «известном частичном смысле». Этому учить нелепо. Из этого надо вышлудить материалистическую диалектику. А это на $\frac{1}{10}$ шедула, сор⁴⁾. «Но, — добавляет Ленин, — гениальна основная идея: всемирной, всесторонней, живой связи всего со всем и отражения этой связи — materialistisch auf den Kopf gestellten Hegel — в понятиях человека, которые должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир⁵⁾. Суть абстрактной гегельящины Ленин видит в идее универсального движения и изменения: «Движение» и «самодвижение», — говорит Ленин, — самопроникновенное, спонтанное, внутренне-необходимое движение, «изменение», «движение и жизненность», «принцип всякого самодвижения», «импульс» к «движению» и к «деятельности» — противоположность «мертвосте» к «жизни». Эту суть гегелевщины «надо было открыть, понять, спасти, вылущить, очистить, что и сделали Маркс и Энгельс⁶⁾. «Обычное представление», — говорит Ленин, — охватывает различие и противоречие, не переход от одного к другому, а это самое важное⁷⁾. Изложение связи, переходов, движения — вот задача Гегеля. В старой логике перехода нет, развития (понятий и мышления), нет «внутренней, необходимой связи», всех частей и перехода одних в другие. И Ленин по этому поводу замечает: «Обычное мышление ставит рядом сходство и различие, не пони-

¹⁾ Там же, стр. 226.

²⁾ Там же, стр. 228.

³⁾ Там же, стр. 28.

⁴⁾ Ленинский сборник, стр. 152.

⁵⁾ Там же, стр. 138.

⁶⁾ Там же, стр. 126—128.

⁷⁾ Там же, стр. 130.

мая¹⁾ этого движения перехода одного из сказанных определений в другое». «Гегель ставит два основных требования: 1) необходимость связи и 2) имманентное возникновение различий». Это, по мнению Ленина, очень важно. «Это вот что значит», по мнению Ленина, — «1) необходима связь, объективная связь всех сторон, сил, тенденций etc. данной области явлений», 2) «имманентное происхождение различий» — внутренняя объективная логика эволюции и борьбы различий полярности²⁾.

Суть именно в этом становлении, так как диалектика вовсе не говорит о «тождестве», остающемся спокойным³⁾, будто одна из противоположностей просто нейтрализует другую — «на деле мы имеем процесс⁴⁾».

Взаимозависимость, относительность, связь понятий обнаруживается как переходы. «Связь и есть переходы», — пишет Ленин (стр. 198) — и подчеркивает, что в диалектике «все опосредовано, связано воедино, связано переходами», — закономерная связь всего (процесса) мира⁵⁾, «необходимая связь всего мира», «взаимоопределяющая связь» (стр. 62). Главное для Гегеля — наметить переходы. «Не только связь, и связь неразрывная, всех понятий и суждений, но... переходы одного в другое, и не только переходы, но и... тождество противоположностей — вот что для Гегеля главное⁶⁾».

В диалектическом мышлении «разнообразия становятся подвижными и живыми по отношению одного к другому, — приобретают ту негативность, которая является внутренней пульсацией самодвижения и жизни⁷⁾. «Понятия, обычно кажущиеся мертвыми, — говорит Ленин, — Гегель анализирует и показывает, что в них есть движение. Конечный? Значит, двигающийся к концу! Нечто? Значит не то, что другое. Бытие вообще? — Значит, такая неопределенность, что бытие = небытию. Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем суть⁸⁾».

Взаимозависимость, связь всех понятий и есть переходы понятий из одного в другое или, другими словами, есть относительность противоположностей между понятиями⁹⁾, в вечной смене и движении понятий, таким образом, противоположности становятся тождественными, и диалектика изучает, как становятся тождественными противоположности и почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные¹⁰⁾. «Рассудок принимает различия за самостоятельные определения, в то же время признает их связь, но он высказывает эти мысли одну вслед за другой, или одну рядом с другой, связывая их словом так же,

¹⁾ Там же, стр. 115.

²⁾ Там же, стр. 45.

³⁾ Гегель, Малая Логика, § 215, ср. Ленинский сборник, стр. 234.

⁴⁾ Ленинский сборник, стр. 236.

⁵⁾ Там же, стр. 56.

⁶⁾ Там же, стр. 194.

⁷⁾ Там же, стр. 132.

⁸⁾ Там же, стр. 71.

⁹⁾ Там же, стр. 228.

¹⁰⁾ Там же, стр. 68.

но не совмещает их в единстве понятия¹⁾, — пишет Гегель, а мы бы сказали: не совмещает их в единстве развития и движения.

В чем состоит это диалектическое движение, его содержание, его природа, движение, которое особо выделяется Лениным в его заметках? Диалектика этого движения познания состоит в том, что в нем отрицается «первое» положение и сменяется «вторым», но отрицание здесь не голое, не «зряшное» (Ленин), не скептическое, а такое отрицание, которое «содержит внутри себя определение первого», т.е. отрицаемого, положительного. Первое положение сохраняется и сохраняется в другом, его отрицающем, поэтому и это другое не есть пустое отрицательное. Следовательно, процесс отрицания ничего не «уничтожает» из предшествующего содержания, не превращается в пустое ничто, — в любом отрицании «первого» положения сохраняется нечто положительное, что и «переходит» во «второе». «По отношению ко «2-му» отрицательному положению, — говорит Ленин, — диалектический момент требует указания «единства», т.е. связи отрицательного с положительным, нахождения этого положительного в отрицательном²⁾. Уже развитие включает в свое определение представление о некотором целом или единстве, изменения, целом, которое невозможно внешне сложить из слагаемых, но которое дается само в своем собственном возникновении и развитии. Особенность диалектического отрицания в этом смысле разъяснена самим Гегелем, между прочим, на следующем примере: почка «пропадает при распускании цветка, и можно сказать, что она вытесняется этим последним; точно так же через появление плода цветок оказывается ложным бытием растения и вместо него плод выступает как истина растения. Эти формы не только различаются, но вытесняются как непримиримые друг с другом. Но их переходящая природа делает их вместе с тем моментами органического единства, в котором они не только не противостоят друг другу, но одна столь же необходим, как и другой; и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого³⁾. Диалектика требует уничтожения независимости и самостоятельности отдельных моментов и рассматривает их в их относительности, в их переходе друг в друга, в их «равной для всех необходимости», в их отношении к целому.

Вот почему над всей диалектикой «витают как предпосылка» представление целого (употребляя выражение, брошенное Марксом по другому поводу), — целого и его моментов, «системы», в которой все явления, или отображающие их понятия, взаимно связаны, как органические члены, но не как внешние, механически изолируемые части.

У Гегеля это целое, как взаимозависимость и единство моментов движения познания, есть «идея». Идея, по Гегелю, реализуется не в единичном бытии, которое всегда односторонне по видимости, обособленно и самостоятельно, а «во всех их вместе и в их соотношении». М и с т и к а гегелевского

¹⁾ Гегель, Энци. фил. наук, ч. 1, Логика, § 114.

²⁾ Ленинский сборник, стр. 286.

³⁾ «Феноменология духа», русск. пер., стр. 2.

учения об единстве целого и его моментов состоит в том, что это именно разум и развертывает свою деятельность, как целое, что как всеобщая «форма» разум порождает все содержание сам из себя, и следовательно все понятия и логические формы не выведены из внешних вещей, а образуют логически необходимые моменты самого разума, и поэтому они даны в деятельности разума. Единство и целостность, стало быть, всех моментов действительности объясняются у Гегеля единством самого разума.

С точки зрения диалектического материализма категория целого сохраняет важное значение, однако лишь в том смысле, что знание выхваченного из всеобщей связи явлений единичного, простого, положительного утверждения есть только одна сторона истины. Для истины нужны еще другие стороны действительности, — говорит Ленин, материалистически комментируя Гегеля. «Лишь в их совокупности и в их отношении реализуется истина¹⁾. «Совокупность всех сторон явлений действительности и их (взаимо)отношения — вот из чего складывается истина²⁾, «диалектическое, т.е. научное, рассмотрение требует указания различий, связи, перехода, без этого простое, положительное утверждение неполно³⁾, ибо «каждое понятие, — как говорит Ленин, — находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными⁴⁾. Следовательно, мистическое превознесение чистого разума, вся мистическая шелуха должна быть отброшена, но она и не должна скрыть от нас той важной стороны диалектики, которую Гегель и тут гениально угадал в единстве формы и содержания, предмета и метода, процесса и результата познания.

В самом деле, «совокупность моментов действительности, которая в своем развертывании оказывается необходимостью» — эту мысль Гегеля Ленин неоднократно подчеркивает, усматривая в ней сущность диалектического познания. Истина есть целое нашего познания, но это целое не есть сумма застывших, простых, мертвых определений, а процесс, «синтетическое движение вперед⁵⁾, — как подчеркивает Ленин⁶⁾, — т.е. «является таковым совместно с процессом его возникновения», по выражению Гегеля, и только совместно с процессом его возникновения мы в состоянии охватить «конкретное и богатое наполнение жизни». Целое нашего познания, стало быть, есть единство процесса и его результата, становления и его продукта. Это не есть нечто непосредственное, первоначальное, но непосредственное и постоянное «опосредствование» себя, «становление себя самого, круг, который предполагает и имеет своим началом свое завершение», и только посредством своего осуществления и завершения становится» тем, что оно есть, т.е. целью. Как говорит Гегель, «целое представляет собою сущность, осуществляющуюся путем своего развития⁷⁾, становление себя самого,

¹⁾ Ленинск. сб. IX, стр. 226.

²⁾ Там же, стр. 228.

³⁾ Там же, стр. 286.

⁴⁾ Там же, стр. 228.

⁵⁾ Гегель, Наука Логики, II, стр. 170.

⁶⁾ Ленинский сборник IX, стр. 251.

⁷⁾ Гегель, Феноменология духа, русск. пер., стр. 8.

но не совмещает их в единстве понятия»¹⁾, — пишет Гегель, а мы бы сказали: не совмещает их в единстве развития и движения.

В чем состоит это диалектическое движение, его содержание, его природа, движение, которое особо выделяется Лениным в его заметках? Диалектика этого движения познания состоит в том, что в нем отрицается «первое» положение и сменяется «вторым», но отрицание здесь не голое, не «зряшное» (Ленин), не скептическое, а такое отрицание, которое «содержит внутри себя определение первого», т.-е. отрицаемого, положения. Первое положение сберегается и сохраняется в другом, его отрицающем, поэтому и это другое не есть пустое отрицательное. Следовательно, процесс отрицания ничего не «уничтожает» из предшествующего содержания, не превращается в пустое ничто, — в любом отрицании «первого» положения сохраняется нечто положительное, что и «переходит» во «второе». «По отношению ко «2-му» отрицательному положению, — говорит Ленин, — диалектический момент требует указания «единства», т.-е. связи отрицательного с положительным, нахождения этого положительного в отрицательном»²⁾. Уже развитие включает в свое определение представление о некотором целом или единстве, изменения, целом, которое невозможно внешне сложить из слагаемых, но которое дается само в своем собственном возникновении и развитии. Особенность диалектического отрицания в этом смысле разъяснена самим Гегелем, между прочим, на следующем примере: почка «пропадает при распускании цветка, и можно сказать, что она вытесняется этим последним; точно так же через появление плода цветок оказывается ложным бытием растения и вместо него плод выступает как истина растения. Эти формы не только различаются, но вытесняются как непримиримые друг с другом. Но их переходящая природа делает их вместе с тем моментами органического единства, в котором они не только не противостоят друг другу, но одна столь же необходим, как и другой; и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого»³⁾. Диалектика требует уничтожения независимости и самостоятельности отдельных моментов и рассматривает их в их относительности, в их переходе друг в друга, в их «равной для всех необходимости», в их отношении к целому.

Вот почему над всей диалектикой «витают как предпосылка» представление целого (употребляя выражение, брошенное Марксом по другому поводу), — целого и его моментов, «системы», в которой все явления, или отображающие их понятия, взаимно связаны, как органические члены, но не как внешние, механически изолируемые части.

У Гегеля это целое, как взаимозависимость и единство моментов движения познания, есть «идея». Идея, по Гегелю, реализуется не в единичном бытии, которое всегда односторонне по видимости, обособленно и самостоятельно, а «во всех их вместе и в их соотношении». Мистика гегелевского

¹⁾ Гегель, Энци. фил. наук, ч. 1, Логика, § 114.

²⁾ Ленинский сборник, стр. 286.

³⁾ «Феноменология духа», русск. пер., стр. 2.

учения об единстве целого и его моментов состоит в том, что это именно разум и развертывает свою деятельность, как целое, что как всеобщая «форма» разум порождает все содержание сам из себя, и следовательно все понятия и логические формы не выведены из внешних вещей, а образуют логически необходимые моменты самого разума, и поэтому они даны в деятельности разума. Единство и целостность, стало быть, всех моментов действительности объясняются у Гегеля единством самого разума.

С точки зрения диалектического материализма категория целого сохраняет важное значение, однако лишь в том смысле, что знание выхваченного из всеобщей связи явлений единичного, простого, положительного утверждения есть только одна сторона истины. Для истины нужны еще другие стороны действительности, — говорит Ленин, материалистически комментируя Гегеля. «Лишь в их совокупности и в их отношении реализуется истина»¹⁾. «Совокупность всех сторон явлений действительности и их (взаимо)отношения — вот из чего складывается истина»²⁾, «диалектическое, т.-е. научное, рассмотрение требует указания различий, связи, перехода, без этого простое, положительное утверждение неполно»³⁾, ибо «каждое понятие, — как говорит Ленин, — находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными»⁴⁾. Следовательно, мистическое превознесение чистого разума, вся мистическая шелуха должна быть отброшена, но она и не должна скрыть от нас той важной стороны диалектики, которую Гегель и тут гениально угадал в единстве формы и содержания, предмета и метода, процесса и результата познания.

В самом деле, «совокупность моментов действительности, которая в своем развертывании оказывается необходимостью» — эту мысль Гегеля Ленин неоднократно подчеркивает, усматривая в ней сущность диалектического познания. Истина есть целое нашего познания, но это целое не есть сумма застывших, простых, мертвых определений, а процесс, «синтетическое движение вперед»⁵⁾, — как подчеркивает Ленин⁶⁾, — т.-е. «является таковым совместно с процессом его возникновения», по выражению Гегеля, и только совместно с процессом его возникновения мы в состоянии охватить «конкретное и богатое наполнение жизни». Целое нашего познания, стало быть, есть единство процесса и его результата, становления и его продукта. Это не есть нечто непосредственное, первоначальное, но непосредственное и постоянное «опосредствование» себя, «становление себя самого, круг, который предполагает и имеет своим началом свое завершение», и только посредством своего осуществления и завершения становится тем, что оно есть, т.-е. целью. Как говорит Гегель, «целое представляет собою сущность, осуществившуюся путем своего развития»⁷⁾, становление себя самого,

¹⁾ Ленинск. сб. IX, стр. 226.

²⁾ Там же, стр. 228.

³⁾ Там же, стр. 286.

⁴⁾ Там же, стр. 228.

⁵⁾ Гегель, Наука Логики, II, стр. 170.

⁶⁾ Ленинский сборник IX, стр. 251.

⁷⁾ Гегель, Феноменология духа, русск. пер., стр. 8.

«самодвижущую душу раскрытого содержания». Целое не только движение, но и субъект этого движения; само движение является как бы субъектом своего собственного становления и, действительно, существование или природа, как говорит Гегель, этого целого, состоит именно в том, что оно является и субъектом, и своим собственным становлением. «Наука,—говорит он,—представляет это образующее движение в его подробностях, необходимости и формирования, как то, что уже сделалось моментом...»¹⁾. Задача состоит в том, чтобы указать взаимозависимость и единство всех моментов, их переходы и связь.

Совокупность всех моментов действительности есть нечто всеобщее, но не как просто отвлеченная форма, которой противостоит все единичное и частное, а как полнота «в с е г о движения», вся полнота содержания»²⁾. «Результат содержит в себе свое начало, а движение последнего обогатило его некоторою новою определенностью. Общее составляет основу, вследствие чего движение вперед не должно быть принимаемо за некоторое течение от некоторого другого к некоторому другому. На каждой ступени дальнейшего определения воздвигается вся масса его предшествующего содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное и обогащает себя...»³⁾. Таким образом, каждая ступень в этом обогащении и движении познания как результат отрицания отрицания есть синтез, есть «отрицание», «снятие» предшествующей ступени, но это отрицание не внешне бытию, как говорил Гегель, а есть результат его собственной диалектики⁴⁾. Его собственная диалектика и есть нечто целое, ибо в каждой ступени сохраняется вся масса предшествующего содержания, «к а ж д ы й м о м е н т как определение понятия сам становится целым и опосредствующим основанием»⁵⁾. В то же время синтез, достигнутый на данной ступени движения познания, снова становится источником дальнейшего анализа. Так анализ толкает к синтезу, метод расширяется в систему, форма переходит в содержание, общее в единичное.

Эта сторона диалектики также привлекает внимание Ленина при изучении Гегеля. Мы несколько остановимся на вопросе о том, как конкретизируется ленинское понимание единства целого и его моментов в частных вопросах о методе, анализе и синтезе, форме и содержании. Заметки Ленина бросают и тут яркий свет на своеобразие и глубокое значение категории целого для понимания диалектического движения и развития.

¹⁾ Там же, стр. 13.

²⁾ Ленинский сборник, стр. 304.

³⁾ Гегель, Наука Логики, II, стр. 210—211. По этому поводу Ленин пишет (стр. 295): «Этот отрывок очень недурно подводит своего рода итог тому, что такое диалектика».

⁴⁾ Гегель, Энци. ч. I. Логика, § 112, стр. 200.

⁵⁾ Гегель, Энциклопедия, ч. I (Bd. VI, S. 352). Подчеркнуто Лениным.

«Метод есть сознание формы внутреннего самодвижения ее содержания», выделяя эту мысль Гегеля, Ленин продолжает: «и дальше хорошее пояснение диалектики». Гегель же дальше говорит: «в нем совершает движение вперед содержание внутри себя, та диалектика, которую он имеет в себе»; «двигает вперед данную область явлений, само содержание этой области, диалектика, которую оно (это содержание) имеет на нем самом» (Гегель, «Наука Логики», стр. 9, перевод Ленина), «т.-е. диалектика его собственного движения»¹⁾. Таким образом, метод—не внешняя форма изложения, которая может быть заимствована у частной науки (напр., математики). Таким методом может быть лишь «природа ее содержания, движущаяся в научном познании»²⁾. Лишь этим строящим сам себя путем философия... способна стать объективно доказательной наукою»³⁾. Собственная имманентная деятельность или, что то же, его необходимое развитие»⁴⁾ составляет истинный метод.

«Тут гвоздь, по-моему,—пишет Ленин,—сам себя конструирующий путь—путь действительного познания, познавания, движения»⁵⁾. Истина, как «результат» познания, есть в то же время не что иное, как «путь», процесс познания. Д в и ж е н и е нашего познания по «пути» развития, т.-е. большего и большего углубления в природу, а не готовый, односторонний, поэтому всегда неполный «результат» — вот путь действительного познания.

Отсюда и целое, как единство синтеза и анализа. Ленин приводит замечание Гегеля, что «абсолютный метод (т.-е. метод познания объективной истины) действует не как внешняя рефлексия, а берет определение из самого предмета своего, так как этот предмет сам есть его имманентный принцип и душа»,—«возводит в сознание то, что ему имманентно»⁶⁾, и что этот метод столь же аналитичен, сколь синтетичен. Материалистический смысл этого учения Гегеля состоит в том, что, с одной стороны, анализируется всегда нечто целое, некоторая взаимозависимость, совокупность явлений, поэтому то или иное определенное отношение к синтетическому целому всегда входит в содержание моментов анализа; с а м а вещь в ее отношениях и в ее развитии должна быть рассматриваема,—говорит Ленин,—не в ее «проявлениях», «примерах», не в «отступлениях», а вещь сама по себе»⁷⁾. С другой стороны, синтетическое целое нами охватывается лишь условно, приблизительно и по необходимости в аналитических суждениях. В диалектике целого и его моментов, таким образом, показано соединение анализа и синтеза, «разработка отдельных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе»⁸⁾. Движение и развертывание, борьба и развитие внутренних

¹⁾ Ленинский сборник, стр. 48.

²⁾ Гегель, Наука Логики, стр. XXV; Ленинский сборник, стр. 28.

³⁾ Там же, русск. пер., стр. XXV.

⁴⁾ Ленинский сборник, стр. 33; Гегель, цит. соч., стр. XXVII.

⁵⁾ Там же, стр. 30.

⁶⁾ Гегель, Наука Логики, II, стр. 202—203.

⁷⁾ Ленинский сборник, стр. 274.

⁸⁾ Там же.

противоречивых тенденций и сторон и есть эта «разборка отдельных частей», последовательность «моментов» и есть «анализ» познания человеком природы,—но в то же время это и есть «самоанализ», не только развитие, но и «саморазвитие», «самодвижение»¹⁾ вещи, «диалектическая душа»²⁾, «ее собственное движение, ее собственная жизнь»³⁾, источник деятельности, «не примеры, не отступления», а сама вещь в ее отношении и ее развитии, сам «предмет выказывает себя диалектическим»⁴⁾, поэтому и понятия «сами по себе, по своей природе», а не через какое-либо внешнее соединение, суть некоторый переход и развитие. «Познание движется от содержания к содержанию. Прежде всего это движение вперед определяет себя так, что оно начинается от простых определенностей, и что следующие за ними становятся все богаче и конкретнее» (стр. 295). Так и в «аналитическом» раскрытии всех сторон явления сохраняется синтетическое целое, как само же явление в его отношениях, связей и во всем объеме развития, синтетическое целое, которое становится все богаче и конкретнее. Метод диалектики есть в одно и то же время синтетический и аналитический, но вовсе не в том смысле, что оба эти метода находятся в ней рядом, или просто чередуются, но таким образом,—говорит Гегель⁵⁾,—что они оба содержатся в диалектическом методе «в снятом виде, и он на каждом шагу своего движения действует одновременно и аналитически, и синтетически». Органическое единство, связь и совокупность категорий логики отражает связь и взаимозависимость всех явлений, и подобно различиям, существующим между явлениями природы, категории в своем развитии также относительноны, «не являются в этом их различии чем-то устойчивым, а оказываются диалектическими, и их истина состоит лишь в том, что они суть моменты»⁶⁾—по Гегелю: моменты идеи, а материалистически: моменты исторического развития познания человеком природы. Ленин так и говорит: «Моменты познания человеком природы,—вот что такое категории логики» (стр. 230).

После категории целого необходимо остановиться на категории момента. На важное значение этого понятия указывает Ленин, говоря, что «часто у Гегеля слово «момент» берется в смысле момента связи, момента в сцеплении»⁷⁾. «Развертывание всей совокупности моментов действительности NB = сущность диалектического познания»,—говорит Ленин⁸⁾.

Мысль о своеобразном глубоко-диалектическом значении связи и переходов, которое мы вкладываем в понятие момента, неоднократно подчеркивает в своих заметках Ленин, высказываясь по поводу тех или других

¹⁾ Там же, стр. 290.

²⁾ Там же, стр. 288.

³⁾ Там же, стр. 274.

⁴⁾ Там же, стр. 282.

⁵⁾ Энци. Фил. наук, ч. 1, § 238, и Ленин: «великолепно!».

⁶⁾ Там же, § 213.

⁷⁾ Ленинский сборник, стр. 138.

⁸⁾ Там же, стр. 159.

встречающихся у Гегеля проблем. Мы приведем ряд примеров проблем и понятий, в освещении которых Ленин пользуется понятием момента.

Возьмем проблему диалектического отрицания. То, что отличает диалектическое отрицание от суб'ективного, эмпирического, от голого, от «зряченого отрицания, колебания, сомнения», и есть именно то, что отрицание в диалектическом смысле есть всегда «момент связи», «момент развития, с удержанием положительного»¹⁾, или, как говорит Гегель, «внутренний источник всякой деятельности, живого самодвижения, диалектическая душа»,—а ведь в этом, по Ленину, и есть соль диалектики²⁾. Относительно гегелевского понимания явления и сущности Ленин замечает: «суть здесь та, что и мир явлений, и мир в себе суть моменты познания природы человеком, ступени, изменения или углубления (познания)» (стр. 150).

Таково и отношение причины и следствия: причина и следствие «лишь моменты всемирной взаимозависимости, связи (универсальной), взаимосцепления событий, лишь звенья в цепи развития материи» (стр. 160).

Далее, цитируя мысли Гегеля о взаимодействии и об отношении причины и действия, Ленин подчеркивает важное значение «требования посредства (связи):—«вот о чем идет речь,—говорит он,—при применении отношения причинности» (стр. 168). Послушаем по этому поводу Гегеля: «Если остановиться на том, что данное содержание станут рассматривать только с точки зрения взаимодействия, то такое отношение на самом деле будет бессодержательным. В таком случае имеют дело только с сухим фактом, и опять-таки остается неудовлетворенным требование (установить) опосредствование, в чем как раз прежде всего и заключается дело, когда применяют отношение причинности». Вместо того,—такова мысль Гегеля,—чтобы обяснять данное содержание, отношение взаимодействия само должно быть еще обяснено при таком применении его. И Гегель продолжает: «для этого не должно оставлять обе стороны отношения, как непосредственные»; но «их должно признать моментами третьего, более высокого определения». «Так, например, если мы будем считать нравы спартанского народа следствием его законодательства и, обратно, последнее—следствием первых, то мы будем, может быть, иметь правильный взгляд на историю этого народа, но этот взгляд не удовлетворит вполне ума, потому что мы с помощью такого обяснения не поймем ни его законодательства, ни его нравов». Кроме требования посредства и связи, Ленин обращает внимание на роль «целого» (у Гегеля—«понятия»), которое служит основанием обеих сторон отношения, как и всех прочих особых сторон (Л. 168).

Вместо того, чтобы рассматривать наши категории, как ступени или моменты познания человеком природы, формальная логика берет их как единичные экземпляры некоторого родового понятия, сопоставляя, сравнивая, «примеривая их друг к другу», пытаясь из них, как из кусочков, сложить целое. Таков путь популяризации, поучения, рассказа и удостоверения, но не доказательства: предполагают, что бесконечность отличается от ко-

¹⁾ Там же, стр. 284.

²⁾ Там же, стр. 288.

нечности, что содержание есть нечто иное, чем форма, внутреннее—иное, чем внешнее, что опосредственность не есть также непосредственность, и на этом успокаиваются. Для нас момент или ступень вовсе не является частью данного целого. Отношение части и целого (как суммы частей) здесь неприменимо. В отличие от части, которая не является ступенью, а может быть лишь частью арифметической суммы, — момент есть ступень в развитии целого, есть переход на новую ступень.

Отсюда, между прочим, следует, что нельзя сопоставлять и отождествлять такие понятия, которые являются различными моментами одного и того же целого, или же нельзя отождествлять одни и те же моменты различных форм целого.

Здесь необходимо напомнить ту критику против механистического понимания взаимоотношения между моментами развития целого, которая была дана уже в свое время Марксом. «Грубость понимания и бедность идеи в том и состоит, — говорит Маркс во «Введении к Критике политической экономии», — что явления органические, между собою связанные, ставятся в случайные взаимоотношения, соединяются чисто-рассудочным путем». «Подведение множества «случаев» под один общий принцип Гегель никогда не называл диалектикой», — пишет Маркс Энгельсу 9 декабря 1861 г.). Очевидно, подведение множества случаев под один общий принцип противоречит факту всеобщей связи явлений, движения и изменения. Такое механистическое, формально-логическое толкование процесса развития, конечно, никогда не поймет этого диалектического движения моментов, как ступеней развития целого. «То, что тот же самый Ланге, — пишет Маркс в письме к Кугельману от 27 июня 1870 г., — говорит о гегелевском методе и о моем применении его, является поистине ребяческим. Во-первых, он ничего не понимает в гегелевском методе и поэтому, во-вторых, имеет еще гораздо меньше представления о моем критическом способе его применения... Иначе пренаивно говорить, что в эмпирическом материале я «двигаю с самой редкой свободой». Ему и в голову не приходит, что это «свободное движение в материале» есть не что иное, как парафраза известного метода изучения материала, — именно: диалектического метода»¹⁾.

Та же мысль о недопустимости формального, механистического подхода к отдельным категориям выражена в заметках Ленина о Гегеле. «Категории надо вывести (а не произвольно или механически их взять), не «рассказывая», не «уверяя», а доказывая, исходя из простейших и основных, «как если бы заключалось здесь в них «в этом зародыше все развитие»²⁾.

Непонимание органической взаимозависимости категорий (стало быть, и отображаемых ими явлений) особенно ярко сказывается, по Ленину, в попытках заменить связь и переходы понятий единичными «иллюстрирующими» примерами, механически выхваченными из действительности, в попытках популяризации на отдельных «примерах» из истории естество-

¹⁾ Маркс и Энгельс, Письма, изд. В. Адоратского, стр. 121.

²⁾ *Иб.*, стр. 143.

³⁾ Ленинский сборник, стр. 42.

знания и истории техники. В этом Ленин видел слабую сторону работ Плеханова. Диалектика, с ее основным законом, — тождеством противоположностей, — «берется как сума примеров (напр., «зерно» — напр., «первобытный коммунизм», то же у Энгельса, но это для популярности¹⁾). Между тем, задача состоит в том, чтобы тождество противоположностей развить как «закон познания и закон объективного мира». Задача состоит в том, чтобы правильность этой стороны содержания диалектики проверить «историей науки, а не суммой примеров». «На эту сторону диалектики обычно (напр., у Плеханова) обращают недостаточно внимания», — добавляет Ленин. Невнимание к «этой стороне диалектики» проявляется, напр., у Плеханова в том, как он критикует кантианство и агностицизм вообще, — он критикует «более с вульгарно-материалистической, чем с диалектически-материалистической точки зрения!» Именно, Плеханов «лишь а limine отвергает их рассуждения, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения». Плеханов не углубляет, не расширяет их, показывает связи и переходы всех и всяких понятий²⁾.

Такова вторая особенность марксистской логики: ее законы являются отражениями законов объективного мира в их взаимозависимости, в целом их развития, отражениями подвижными, текучими, гибкими, переходящими друг в друга, воспроизводящие движение материи и движение истории.

Отсюда ясно, чем объясняется тот факт, что вопрос о последовательности категорий имеет столь важное значение в диалектической логике, настолько важное значение, что «проблема логики» в марксизме по существу есть проблема «генезиса» и взаимной связи категорий материалистической диалектики³⁾.

И в самом деле объясняется это тем, что не о простом, а о необходимом «переходе» понятий учит диалектика, так как «переход одного в другое остается просто запутанностью, откуда не существует сознания его необходимости»⁴⁾, — гегелевское определение предмета логики, как «развитие мышления в его необходимости», потому и подчеркивает Ленин⁵⁾. Объясняется это тем, что не всякое «движение понятий» и не всякое «развитие», «становление» и пр. есть диалектика, — нет, гибкость понятий, примененная субъективно, ведет к эклектике и софистике. Нужна гибкость, примененная объективно, т. е. отражающая вечное развитие мира. Объясняется это тем, что диалектика учит не в о о б щ е о «взаимозависимости» и «переходах понятий», не о «становлении вообще, а о взаимозависимости категорий, отображающей взаимозависимость всех явлений природы, об единстве их, о целостности и системе категорий, как отражениях «всесторонности материального процесса и единства его»⁶⁾.

¹⁾ «К вопросу о диалектике», см. Собр. соч., изд. 2-е, т. XIII.

²⁾ Ленинский сборник, стр. 191.

³⁾ См. А. К. Топорков, Осн. элем. диалект. логики стр. 5: «самый существенный вопрос в учении о категориях есть вопрос об их взаимной связи».

⁴⁾ Гегель, Наука Логики, русск. пер., 1, 1, 39; ср. Ленинский сборник, стр. 119.

⁵⁾ Ленинский сборник, стр. 42.

⁶⁾ Там же, стр. 70.

Логическое «развитие» понятий в голове есть не что иное, как отражение развития познания человеком объективных процессов природы. Другими словами, категории логики отражают историческое развитие познания. И в этом состоит третья особенность марксистской логики.

Мистичность гегелевского понимания логики состоит в том, что мировой процесс развития и движения материи он изобразил, как логическое развитие. Но истинный смысл, значение и роль гегелевской логики, по мнению Ленина, надо искать не в этом, а в том, что сквозь логическое развитие просвечивают законы развития объективного мира, в том, что процесс «развития» мышления означает познание человеком все более и более конкретной, все более и более глубокой объективной связи мира. Категорией мы называем наиболее общие формы мышления или «логические формы», отражающие определенные этапы исторического развития науки. В материалистической логике категории суть «ступеньки выделения, т.-е. познания мира»¹⁾. Например, «абсолютное и относительное, конечное и бесконечное—части, ступени одного и того же мира»²⁾. Говоря о логике, как науке о формах мышления, надо иметь в виду, что речь идет о мышлении, о познании в его историческом развитии. Диалектическая логика, — писал Энгельс в «Диалектике природы», — не довольствуется тем, чтобы перечислить без связи «формы движения мышления», т.-е. различные формы суждения и умозаключения. Она, наоборот, выводит эти формы одну за другою и развивает высшие формы из низших. Логика является исторической наукой и изучает законы исторические, глубоко относительные, глубоко обусловленные развитием эпохи и науки, изучает факты, отражающие этапы развития техники и естествознания. Значит историзм марксистской логики выражается именно в том, что категории должны быть выведены в том порядке, в каком они откладывались в историческом развитии познания. «Теоретическое мышление каждой эпохи, — говорит Энгельс в «Диалектике природы», — а значит и нашей эпохи, это исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и получающий поэтому очень различное содержание. Следовательно, наука о мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления».

Та же мысль об историческом смысле, об исторической последовательности, категории марксистской логики проходит красной нитью через все заметки Ленина о диалектике Гегеля. Ленин пишет, что речь может идти не о случайной последовательности категорий, не просто о «движении» категорий, а о категориях в их исторической последовательности. Для каждой категории должен быть найден соответствующий отображаемый ею исторический этап, или «квинт-эссенция истории естествознания и истории техники». Для Гегеля наши представления, понятия, категории суть различные

¹⁾ Там же, стр. 40.

²⁾ Там же, стр. 62.

ступени логического развития, «ступени в процессе развития идеи»¹⁾, для марксиста категории суть «ступени в процессе исторического развития человеческого познания природы и материи»²⁾. Логика является «суммой», выводом истории познания мира»³⁾. «Логика, — говорит Гегель, — лишь тогда получает свою истинную оценку, когда она является в результате научного опыта; она представляется тогда духу общею истиною, стоящею не на ряду с прочими материями и реальностями, как отдельное знание, но составляющею сущность всего этого прочего содержания» (I, S. 47, русск. пер., 13).

Так называемая «чисто-логическая обработка» «должна совпадать» с историей человеческой мысли, науки и техники, т.-е. с отражением в понятиях природы и истории, как «совпадает индукция и дедукция в «Капитале»⁴⁾. Поэтому «то, что есть первое в науке, должно было оказаться исторически первым», — говорит Гегель⁵⁾, и Ленин добавляет, что это «звучит весьма материалистически»⁶⁾. «Движение материи гегел. и движение истории улавливаемое, усвояемое в своей внутренней связи до той или иной степени широты или глубины, вот что составляет содержание логики. Поэтому, по мнению Ленина, «продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники»⁷⁾.

Эти наиболее общие, основные, бросающиеся в глаза особенности марксистской логики ставят перед нами, однако, новую проблему: если для материалиста мышление не тождественно бытию (мышление отражает бытие), то логическое развитие мысли не может быть тождественно историческому развитию. «Идеальное» — это не непосредственное отражение материального, но, по словам Маркса, переведенное и переработанное в человеческой голове материальное. То же — у Ленина. «Познание, — говорит он, — есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций».

Следовательно, мало сказать, что категории в логике должны быть выведены в том порядке, в каком они даны в историческом развитии познания: в логике отражается история, но она не совпадает с нею. Надо еще выяснить внутреннюю закономерность, способ, форму отображения, закон движения познания от представлений к понятиям, от отвлеченных понятий к законам и т. д., а это есть вопрос о соотношении исторического и логического — об их связи, их переходе, их различии — в методологии диалектического материализма.

¹⁾ Гегель, Werke, Bd. VI, S. 301.

²⁾ Ленинский сборник, стр. 159.

³⁾ Там же, стр. 40.

⁴⁾ Там же, стр. 138.

⁵⁾ Гегель, Наука Логики, I, 1, 34 (русс. пер.).

⁶⁾ Ленинский сборник, стр. 62.

⁷⁾ Там же, стр. 138.

Для всякого очевидно огромное значение правильного решения вопроса о том, как сочетается в диалектике логическая сторона с исторической: именно, от него зависит правильное понимание вопроса о том, с чего «начать», в какой последовательности «выводить» категории.

2. Об историческом и логическом.

Среди попыток дать решение этой проблемы мы встречаемся с двумя ярко выраженными противоположными течениями: это, во-первых, мистическое толкование истории как логического процесса, подчиняющее исторический процесс логическому развитию категории, и, во-вторых, эмпирически-историческое, позитивистическое толкование логики, отрицающее вообще значение за теорией, дедукцией, за логическими категориями и, таким образом, представляющее своего рода «историческую школу» в логике, своего рода растворение логики в истории.

Обратимся к первой теории. Она хорошо известна, благодаря двум работам Маркса: «Критике «Философии права» Гегеля» и «Ницете философии». В названных произведениях Маркс дает развернутую критику этой теории, в первом случае на примере «Философии права» Гегеля и во втором — на примере метода политической экономии Прудона. Растворение исторической жизни в логических понятиях, в логической стихии мышления весьма характерно для всех ортодоксальных гегельянцев. Сам Гегель дал образец такого растворения истории в мышлении. У него развитие семьи и гражданского общества не есть результат их собственного развития, а предопределено развитием идеи. Интерес направлен только на то, чтобы во всех различных действительности снова найти «чистую идею», «логическую идею», действительные же элементы природы или общества становятся простыми названиями идеи. И Маркс справедливо пишет о философии права Гегеля: «Он развивает свою мысль не из предмета, а конструирует свой предмет по образу завершившего, — именно в абстрактной сфере логики завершившего. свой круг мышления. Задача тут не в том, чтобы развить конкретную идею политического устройства, а в том, чтобы политическое устройство поставить в отношение к абстрактной идее, сделать первое моментом развития идеи, — что представляет собою явную мистификацию»¹⁾.

Центр тяжести интереса «лежит не в сфере истории, а в сфере логики. Свою задачу Гегель видит не в том, чтобы наполнить абстрактное мышление конкретным содержанием исторических определений, а в том, чтобы исправить конкретное движение истории и превратить его в движение логики. Не история служит для оправдания логики, а логика — для оправдания истории. Вместо объективной логики исторического развития мы получаем субъективную историю логики в голове мыслителя. Гегель везде находит определения логического порядка, вместо того, чтобы «постигнуть своеобразную логику своеобразного предмета»²⁾. «То, что должно служить исходным пунктом,

¹⁾ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. III, стр. 151.

²⁾ Там же, стр. 216.

делается мистическим результатом, и то, что должно было бы быть рациональным результатом, становится мистическим исходным пунктом»¹⁾.

«Конкретное содержание, действительное определение выступает как формальный момент; совершенно абстрактное же определение формы выступает как конкретное содержание»²⁾.

В «Ницете философии» Маркс также неоднократно возвращается к этому вопросу. Характеристика, которую дал Маркс гегелевскому пониманию соотношения между историей и логикой, заслуживает того, чтобы ее привести полностью, несмотря на ее длину:

«Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устраняя мало-помалу все, составляющее отличительную особенность данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая ему свойственна, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от размеров этого тела, мы оставляем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от пределов этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией количества. Последовательно отвлекаясь, таким образом, от всякого субъекта, от всех его так называемых случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы можем сказать, что в последней степени абстракции у нас есть логические категории, как субстанции всех вещей. С своей стороны метафизики, — воображающие, что эти абстракции составляют анализ, и думающие, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к его пониманию — метафизики по своему праву, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвою. Этим-то и отличается философ от христианина. Вопреки логике, христианин знает лишь одно воплощение Logos'a («Слова»); у философа нет конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или в воде может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь действительный мир может, таким образом, потонуть в мире абстракции и логических категорий. Все существующее, все живущее на земле или в воде существует или живет в силу известного движения. Так историческое движение создает общественные отношения, промышленное движение дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, чтобы притти к движению в абстрактном виде, к чисто-формальному движению, к чисто-логической форме движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам нетрудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли абсолютный метод, который не только объясняет каждую вещь, но и обуславливает движение каждой вещи».

¹⁾ Там же, стр. 173.

²⁾ Там же, стр. 153.

Для всякого очевидно огромное значение правильного решения вопроса о том, как сочетается в диалектике логическая сторона с исторической: именно, от него зависит правильное понимание вопроса о том, с чего «начинать», в какой последовательности «выводить» категории.

2. Об историческом и логическом.

Среди попыток дать решение этой проблемы мы встречаемся с двумя ярко выраженными противоположными течениями: это, во-первых, мистическое толкование истории как логического процесса, подчиняющее исторический процесс логическому развитию категории, и, во-вторых, эмпирически-историческое, позитивистическое толкование логики, отрицающее вообще значение за теорией, дедукцией, за логическими категориями и, таким образом, представляющее своего рода «историческую школу» в логике, своего рода растворение логики в истории.

Обратимся к первой теории. Она хорошо известна, благодаря двум работам Маркса: «Критике «Философии права» Гегеля» и «Ницете философии». В названных произведениях Маркс дает развернутую критику этой теории, в первом случае на примере «Философии права» Гегеля и во втором — на примере метода политической экономии Прудона. Растворение исторической жизни в логических понятиях, в логической стихии мышления весьма характерно для всех ортодоксальных гегельянцев. Сам Гегель дал образец такого растворения истории в мышлении. У него развитие семьи и гражданского общества не есть результат их собственного развития, а предопределено развитием идеи. Интерес направлен только на то, чтобы во всех различных действительности снова найти «чистую идею», «логическую идею», действительные же элементы природы или общества становятся простыми названиями идеи. И Маркс справедливо пишет о философии права Гегеля: «Он развивает свою мысль не из предмета, а конструирует свой предмет по образцу завершившегося, — именно в абстрактной сфере логики завершившего свой круг мышления. Задача тут не в том, чтобы развить конкретную идею политического устройства, а в том, чтобы политическое устройство поставить в отношении к абстрактной идее, сделать первое моментом развития идеи, — что представляет собою явную мистификацию»¹⁾.

Центр тяжести интереса лежит не в сфере истории, а в сфере логики. Свою задачу Гегель видит не в том, чтобы наполнить абстрактное мышление конкретным содержанием исторических определений, а в том, чтобы исправить конкретное движение истории и превратить его в движение логики. Не история служит для оправдания логики, а логика — для оправдания истории. Вместо объективной логики исторического развития мы получаем субъективную историю логики в голове мыслителя. Гегель везде находит определения логического порядка, вместо того, чтобы «постигнуть своеобразную логику своего образного предмета»²⁾. «То, что должно служить исходным пунктом,

¹⁾ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. III, стр. 151.

²⁾ Там же, стр. 216.

делается мистическим результатом, и то, что должно было бы быть рациональным результатом, становится мистическим исходным пунктом»¹⁾.

«Конкретное содержание, действительное определение выступает как формальный момент; совершенно абстрактное же определение формы выступает как конкретное содержание»²⁾.

В «Ницете философии» Маркс также неоднократно возвращается к этому вопросу. Характеристика, которую дал Маркс гегелевскому пониманию соотношения между историей и логикой, заслуживает того, чтобы ее привести полностью, несмотря на ее длину:

«Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устрояя мало-по-малу все, составляющее отличительную особенность данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая ему свойственна, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от размеров этого тела, мы оставляем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от пределов этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией количества. Последовательно отвлекаясь, таким образом, от всякого субъекта, от всех его так называемых случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы можем сказать, что в последней степени абстракции у нас есть логические категории, как субстанции всех вещей. С своей стороны метафизики, — воображающие, что эти абстракции составляют анализ, и думающие, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к его пониманию — метафизики по своему праву, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвою. Этим-то и отличается философ от христианина. Вопреки логике, христианин знает лишь одно воплощение Logos'a («Слова»); у философа нет конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или в воде может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь действительный мир может, таким образом, потонуть в мире абстракции и логических категорий. Все существующее, все живущее на земле или в воде существует или живет в силу известного движения. Так историческое движение создает общественные отношения, промышленное движение дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, чтобы прийти к движению в абстрактном виде, к чисто-формальному движению, к чисто-логической форме движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам нетрудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли абсолютный метод, который не только объясняет каждую вещь, но и обуславливает движение каждой вещи».

¹⁾ Там же, стр. 173.

²⁾ Там же, стр. 153.

Для всякого очевидно огромное значение правильного решения вопроса о том, как сочетается в диалектике логическая сторона с исторической: именно, от него зависит правильное понимание вопроса о том, с чего «начать», в какой последовательности «выводить» категории.

2. Об историческом и логическом.

Среди попыток дать решение этой проблемы мы встречаемся с двумя ярко выраженными противоположными течениями: это, во-первых, мистическое толкование истории как логического процесса, подчиняющее исторический процесс логическому развитию категории, и, во-вторых, эмпирически-историческое, позитивистическое толкование логики, отрицающее вообще значение за теорией, дедукцией, за логическими категориями и, таким образом, представляющее своего рода «историческую школу» в логике, своего рода растворение логики в истории.

Обратимся к первой теории. Она хорошо известна, благодаря двум работам Маркса: «Критике «Философии права» Гегеля» и «Нищете философии». В названных произведениях Маркс дает развернутую критику этой теории, в первом случае на примере «Философии права» Гегеля и во втором — на примере метода политической экономии Прудона. Растворение исторической жизни в логических понятиях, в логической стихии мышления весьма характерно для всех ортодоксальных гегельянцев. Сам Гегель дал образец такого растворения истории в мышлении. У него развитие семьи и гражданского общества не есть результат их собственного развития, а предопределено развитием идеи. Интерес направлен только на то, чтобы во всех различных действительности снова найти «чистую идею», «логическую идею», действительные же элементы природы или общества становятся простыми названиями идеи. И Маркс справедливо пишет о философии права Гегеля: «Он развивает свою мысль не из предмета, а конструирует свой предмет по образцу завершившего, — именно в абстрактной сфере логики завершившего свой круг мышления. Задача тут не в том, чтобы развить конкретную идею политического устройства, а в том, чтобы политическое устройство поставить в отношении к абстрактной идее, сделать первое моментом развития идеи, — что представляет собою явную мистификацию»¹⁾.

Центр тяжести интереса лежит не в сфере истории, а в сфере логики. Свою задачу Гегель видит не в том, чтобы наполнить абстрактное мышление конкретным содержанием исторических определений, а в том, чтобы исправить конкретное движение истории и превратить его в движение логики. Не история служит для оправдания логики, а логика — для оправдания истории. Вместо объективной логики исторического развития мы получаем субъективную историю логики в голове мыслителя. Гегель везде находит определения логического порядка, вместо того, чтобы «постигнуть своеобразную логику своеобразного предмета»²⁾. «То, что должно служить исходным пунктом,

¹⁾ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. III, стр. 151.

²⁾ Там же, стр. 216.

делается мистическим результатом, и то, что должно было бы быть рациональным результатом, становится мистическим исходным пунктом»¹⁾.

«Конкретное содержание, действительное определение выступает как формальный момент; совершенно абстрактное же определение формы выступает как конкретное содержание»²⁾.

В «Нищете философии» Маркс также неоднократно возвращается к этому вопросу. Характеристика, которую дал Маркс гегелевскому пониманию соотношения между историей и логикой, заслуживает того, чтобы ее привести полностью, несмотря на ее длину:

«Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устранив мало-помалу все, составляющее отличительную особенность данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая ему свойственна, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от размеров этого тела, мы оставляем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от пределов этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией количества. Последовательно отвлекаясь, таким образом, от всякого субъекта, от всех его так называемых случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы можем сказать, что в последней степени абстракции у нас есть логические категории, как субстанции всех вещей. С своей стороны метафизики, — воображающие, что эти абстракции составляют анализ, и думающие, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к его пониманию — метафизики по своему праву, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвою. Этим-то и отличается философ от христианина. Вопреки логике, христианин знает лишь одно воплощение Logos'a («Слова»); у философа нет конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или в воде может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь действительный мир может, таким образом, потонуть в мире абстракции и логических категорий. Все существующее, все живущее на земле или в воде существует или живет в силу известного движения. Так историческое движение создает общественные отношения, промышленное движение дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, чтобы притти к движению в абстрактном виде, к чисто-формальному движению, к чисто-логической форме движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам нетрудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли абсолютный метод, который не только объясняет каждую вещь, но и обуславливает движение каждой вещи».

¹⁾ Там же, стр. 173.

²⁾ Там же, стр. 153.

Таким образом, «по мнению Гегеля, все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким образом, философия истории оказывается лишь историей философии и притом его собственной философии. Нет более истории, «соответствующей порядку времен»; существует лишь «последовательность идеи в разуме». Он воображает, что строит мир посредством движения мысли, между тем как в действительности он лишь систематически перестраивает и располагает согласно своему методу те мысли, которые находятся в головах у всех и у каждого».

Выходит, что экономические категории, вместо того, чтобы быть абстракцией реальных экономических отношений, у Прудона становятся воплощением этих абстракций. Выходит, что первичной причиной являются абстракции, категории и что история производится ими, а не наоборот.

Такова мистическая сущность применяемого Прудона метода.

О применении этого метода Маркс говорит таким образом: «Приложите этот метод к категориям политической экономии — и вы получите логику и метафизику политической экономии, или, другими словами, вы переведете всем известные экономические категории на мало известный язык, благодаря которому они получают такой вид, как будто бы только что родились в голове, полной чистого разума: до такой степени эти категории кажутся порождающими одни другие, связанными и переплетенными одни с другими под влиянием одного только диалектического движения».

Нет надобности доказывать, что Маркс критикует в этом произведении не метод диалектики вообще, а идеалистическое извращение диалектики. Именно так расценивал свой «ответ» Прудону Маркс. Он говорит: «В этом ответе я показал, между прочим, как мало проник Прудон в тайну научной диалектики».

По мнению Маркса, эти категории выражают материальные отношения, отражают общественно-экономические отношения, а не наоборот: критика Марксом Прудона направлена не против диалектического развития понятий, не против процесса диалектического выведения этих понятий, а против извращения, которое получила у Прудона методология диалектики.

Нас интересует следующая сторона в этом вопросе. Когда представителям мистического толкования истории, как логического процесса, приходится на деле проводить свою точку зрения, растворя историческое в логическом, движение истории в движении мысли, они принуждены обращаться к действительности; когда подобный «логист» «дедуцирует» категории и разрешение всех противоречий видит в разрешении логических противоречий, в их логическом движении, то он по необходимости должен представлять их в том порядке, в каком они исторически следовали друг за другом. Правда, он объясняет эти исторически следующие индивидуальные события, вещи, периоды развития, рассматривая их как отражения «идеальных» логических категорий. Но таким образом остается параллель между логикой и историей, которая и выдает внутреннюю противоречивость позиций «панлогистов». Хочет он того или нет, у такого панлогиста поря-

док понятий в его голове повторяет их историческую последовательность. Объясняя историю своими идеями, он принужден обращаться к историческому материалу, он принужден заранее его предполагать, следовать за ходом истории, иллюстрировать движение логики примерами, взятыми из действительности.

Если, с одной стороны, идеями создается история, и все, что происходит в мире, предначертано заранее в логическом движении, то, с другой стороны, сущность «духа», «идеи», «разума» заключается в том, что «разум» обнаруживает себя во всех явлениях мира, даже во всех случайных, каковы бы они ни были, явлениях. Нет в истории ничего, в чем бы не обнаружилось могущество «разума». Выходит, что наш философ не в состоянии выснить, что является существенным или несущественным, со своей точки зрения, рассматривающей все существующее как обнаружение разума. Выходит, что наш философ принужден самым тщательным образом регистрировать все явления мира, все движение истории, как последовательность моментов «развития» или «обнаружения» «идеи». Выходит, что, в то время как все движение истории подгоняется под абстрактные схемы и история превращается в ряд воплощений идеи, в то же время вся действительность, все существенное и несущественное возводится на ступень проявления идеи. Выходит, что диалектический панлогизм Гегеля «кувыркком», «зигзагами», как говорит Ленин, скатывается к самому грубому ползучему эмпиризму.

Именно, особое, отдельное эмпирическое существование, единичное эмпирическое бытие, в отличие от других, рассматривается как существование идеи¹⁾, то, что есть, он выдает за сущность, и положение, что разумное действительно, ему приходится иллюстрировать противоречивостью неразумной деятельности²⁾.

Если Гегель везде делает субъектом идею, а действительный собственный субъект — предикатом, то развитие всегда идет на стороне предиката³⁾. По мнению Прудона, стоимость есть основа всякого экономического развития, но для того, чтобы обосновать стоимость, как основу всякого экономического развития, Прудон не может обойтись без разделения труда, без конкуренции и т. д. А между тем, говорит Маркс, как эти отношения «не существовали еще в серии, в разуме Прудона, т.-е. в логической последовательности». В самом деле, простая логическая формула движения, последовательности и во времени, не может служить для объяснения всего общественного тела, в котором все отношения существуют одновременно и опираются одно на другое. Отсюда неизбежность пользования примерами, взятыми из реальной исторической действительности даже при таком абстрактном, конструктивном растворении всей исторической жизни в логике мышления. Во «Введении к Критике политической экономии» Маркс, обсуждая вопрос о том, в каком порядке следует брать экономические категории, между прочим, пишет, что не может идти речь «об их

¹⁾ Маркс в «Архиве», под ред. Д. Рязанова, кн. III, стр. 172.

²⁾ Там же, стр. 192.

³⁾ Там же, стр. 148.

последовательности в идее (Прудон), которая есть лишь замаскированное представление исторического процесса».

Таким образом, это растворение исторической жизни в логике является на самом деле ничем иным, как мнимым, ненаучным, извращенным, перевернутым, замаскированным изображением истории. Логическую последовательность такого рода исследователь всегда представляет себе в замаскированной форме наподобие исторической последовательности. Он это принужден делать потому, что он принужден объяснять историю своими идеями; объясняет историю своими идеями, он должен заранее представить исторический ход вещей, и свои логические категории «расположить» соответственно этому историческому ходу вещей.

Итак, в логической форме движения надо видеть лишь абстракцию реального движения, отражение всеобщего материального процесса: «все, что существует, все, что живет на земле и в воде, существует только, живет только посредством какого-либо движения», — писал Маркс в «Ницете философии». Логическая форма движения, взятая независимо от материального мира, сама по себе ничего не объясняет, она лишь отображает то, что происходит в историческом движении. Диалектика и есть исторический взгляд на мир, но логическая сторона в диалектике приблизительно, условно, абстрактно отображает движение материи, движение истории.

Обратимся ко второму пониманию соотношения исторического и логического, которое выбирает противоположный путь. С точки зрения этого понимания не может идти речь о какой-то особой «логической» последовательности помимо исторической.

Логика как бы растворяется в истории. Нет никакого различия между логическим и историческим, но не в том смысле, что историческое, как мы видели у Гегеля и его учеников, является лишь воплощением логического, наоборот, в логической обработке вовсе не нуждается историческое, ибо историческое может лишь повторяться в логическом анализе. Логическое есть не что иное, как то же материальное, но отражаемое нашим понятием. К сожалению, эта точка зрения забывает, что логика изучает законы движения материи и истории, отражаемые и перерабатываемые в человеческой голове, и, следовательно, историческая действительность не совпадает с научной картиной, создаваемой об этой действительности в процессе переработки единичных представлений в понятия. Некоторые черты узкого исторического историзма, подчиняющего логическое образование понятия историческому ходу вещей настолько, что последовательность логических категорий растворяется в последовательности их исторического развития, — некоторые черты этого историзма можно показать на примере понимания И. И. Степановым метода и предмета политической экономии.

В высокой степени знаменательны и справедливы слова И. И. Степанова о том, что политическая экономия должна дать «теорию движения и смены различных общественно-экономических формаций, их возникновения, развития и причинно-необходимого замещения другими экономическими формациями: развития одних экономических формаций из других». Нам

не нужен бесплодный, беспринципный описательный историзм, который будто бы свободным от всяких теоретических предпосылок подходит к изучению действительности», — говорит И. И. Степанов. Однако «логики» и «теоретических предпосылок» хватает у него ровно настолько, чтобы представить историю как последовательность исторических эпох, смену общественных форм, и в этом заключается его отличие от «бесплодного историзма исторической школы». К сожалению, ничем не отличается от бесплодного историзма «исторической школы» тот метод, каким пытается охватить сам И. И. Степанов каждую «историческую эпоху».

Формы стоимости являются отображением, описанием конкретных исторических процессов меновых отношений. Загадка денежной формы объясняется в экономике дикарей, без истории денег нет их понимания¹⁾, полная разгадка капитала может быть получена лишь в истории его возникновения²⁾, в реальной действительности со всеми его историческими предпосылками, из отношений самого капитала, того сложного комплекса отношений современного реального капитализма, который связан с земельной собственностью. «Теория реального капитализма должна сделать громадный прорыв в феодальную эпоху, потому что до сих пор сохраняется колоссальный прорыв феодальной эпохи в современный капитализм: до сих пор сохраняется частная земельная собственность, которой капитализм не создавал, которую он нашел в качестве своей исторической предпосылки³⁾». В капиталистической формации есть элементы давно отживших ступеней развития хозяйства. Отсюда необходимость расширения поля зрения к феодализму.

Вопрос о понимании данной формации в ее специфичности, в ее целиности, в ее особой закономерности, того, что образует ее своеобразие, «качество», конечно, совершенно отпадает; такой задачи вообще не существует. Историческое своеобразие данной общественно-экономической формации сводится к истории ее возникновения из предыдущей формации. Логическая последовательность категорий, отображающих специфическую закономерность данной формации, сводится к исторической последовательности тех же категорий в рамках всего исторического процесса возникновения данной формации. Поэтому на деле выходит, что политическая экономия есть наука, изучающая историю хозяйства. Наука, занятая «описанием» конкретного исторического процесса, не нуждается в таких категориях, как «общественно-экономическая формация»; исторические факты здесь как бы вытягиваются в одну линию, в непрерывное накопление и увеличение, изменение и уменьшение имеющихся задатков, явлений и пр. Особенность «историзма» И. И. Степанова состоит в том, что отрицаются специфические особенности различных общественно-экономических форм, отрицается об'ективность специфической закономерности каждой исторической эпохи.

¹⁾ И. Степанов, Что такое политическая экономия? — «Вестник Комм. Акад.», т. XI, стр. 283.

²⁾ Там же, стр. 289.

³⁾ Там же, стр. 266.

Особенность позиции Степанова в области политической экономии характеризуется тем же, чем характеризуется его позиция в области философии. В философии, как известно, он отрицает объективность категории качества, утверждая, что «качество» является условным обозначением различных форм проявления универсального движения, поскольку они еще не познаны нами. «Качество», «узловые линии» говорят современной науке: «пока не знаем»; то, что лежит за этими линиями, пока «вещи в себе», но эти «вещи в себе» могут и должны сделаться «вещами для нас». «Узловые линии, по мнению И. И. Степанова, призывают современную науку к настоящей работе развязывания: к истолкованию качества, как продукта количественных изменений какого-то более элементарного качества¹⁾. Качество сводится к одной из вех познания,—«пока не знаем», говорит «качество». Это и есть историзм «исторической школы», с его отрицанием возникновения новых, специфических закономерностей в движении истории, с его универсализацией метода описания исторических фактов.

Здесь выступает важность категории «качество» с некоторой новой стороны, а именно ее важное значение для правильного понимания соотношения между логическим и историческим моментами в нашей логике, в частности, для применения диалектики логического и исторического к политэкономии. Механическое понимание движения материи И. И. Степанов переносит на историю. В историческом движении для Степанова самое существенное это непрерывное увеличение, накопление, изменение «старого количества», в нем нет никаких скачков, нет перехода одной закономерности в другую. С точки зрения диалектического материализма идея развития гораздо богаче содержанием: это—развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное, с перерывами постепенности, с превращениями количества в качество, с возникновением новых «форм движения», со своими специфическими закономерностями. Стало быть, качество—это не мера нашего неведения природы, а объективно существующая закономерность данной формы движения материи. Такова диалектически-материалистическая идея развития и в применении к истории. Историческое развитие есть не просто уменьшение или увеличение, постепенное изменение, гладкая эволюция постепенных переходов, не накопление и увеличение уже имеющихся задатков, единичных случайных явлений и условий возникновения быта, событий, вещей, но скачкообразное движение, с перерывами, с уничтожением старой и возникновением новой закономерности.

Это и требует более глубокого понимания соотношения логического и исторического в марксистском историзме. Как различные формы движения—в развитии материи, так и каждая общественная формация должна быть понята как определенная ступень, формация, определенный этап или эпоха в историческом развитии.

В «Друзьях народа» Ленин указывает на значение категории общественно-экономической формации, впервые разрушившей механическое пред-

¹⁾ И. Степанов, Диалектический материализм и деборинская школа, 1928 г., стр. 149.

ставление об обществе и выдвинувшей новый прием объяснения истории или диалектику, учитывающую специфичность или закономерность данной общественной формации, в смене которой новой формацией и состоит движение истории. «Маркс,—по словам Ленина,—положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов», возникающий и изменяющийся случайно, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений¹⁾. Маркс впервые поставил социологию на научную почву, доказав изменяемость общественных формаций и преемственность между ними. Ленин подчеркивает, что речь может идти лишь об объяснении «строения и развития», «законов функционирования» «какой-нибудь общественной формации,—и именно, общественной формации, а не быта какой-нибудь страны или народа, или даже класса и т. п.»²⁾.

Мы сейчас увидим, какое значение имеет ленинская концепция истории, как смены общественных формаций, для понимания взаимоотношения между логическим и историческим в марксистском историзме. Теперь же важно уяснить, почему ползучий, плоский историзм тесно связан, именно, с механическим миропониманием. Общественно-экономическая форма для И. И. Степанова теряет свое специфическое значение. С точки зрения механического материализма это понятие вообще условно и гипотетично, как и категория качества. Вся история представляется нам как непрерывное изменение, уменьшение, модификация тех или других количественных отношений. Вся история хозяйственных форм, экономическое развитие человечества изучается одной и той же наукой и, следовательно, одними и теми же методами. Стало быть, мы имеем универсальную историко-экономическую науку, или универсальную методологию, применяемую ко всем этапам экономического развития. В своей основе—это метод описания и непосредственного «созерцания»; а материал, как и метод исследования, остается как бы одним и тем же. С этой точки зрения логическая последовательность категорий совпадает с исторической последовательностью.

Выходит, что историческая точка зрения И. И. Степанова, которая стремится передать каждое явление в ее конкретности, в ее исторической специфичности, которая никак не может говорить о каком-то абстрактном капитализме, не говоря об остатках феодализма в нем и т. д., превращается на деле в антиисторизм, поскольку ее категории применяются ко всем эпохам, ко всем этапам развития, между которыми не должны лежать «узловые линии», «скачкообразные перерывы постепенности», ибо самое существенное для науки найти непрерывность, развязывать узлы и т. д.

Выходит, что универсализация историцизма, т. е. превращение логики в служанку истории, в сущности, приводит к логизированию истории. И вот перед нами та же односторонность, хотя и с выводами противоположного свойства.

¹⁾ Ленин, Собр. соч., т. I, изд. 1-е, стр. 72.

²⁾ Там же, стр. 73.

Итак, обратимся к вопросу о диалектически-материалистическом понимании исторического содержания логики. В чем оно состоит? Исчерпывается ли логика историей развития мышления, если история развития мышления составляет содержание логики? Если, как это вытекает из сказанного, между логическим, или историческим нет простого, непосредственного соответствия—как иначе должна выглядеть архитектоника марксистской логики? Как следует мыслить последовательность расположения категорий в материалистической диалектике?

В заметках о «Науке Логики» Гегеля Ленин неоднократно останавливается на этих проблемах, цитируя и комментируя Гегеля с точки зрения материализма. Вместе с его заметками для выяснения проблемы историзма в марксистской логике важное значение сохраняет марксово понимание метода политической экономии. Не трудно видеть, что Ленин продолжает и развивает диалектику Гегеля, материалистически применяя ее к логике, к теоретическому мышлению, как применял ее Маркс к политической экономии и истории.

Политическая экономия есть историческая наука, она имеет дело с историческим, т.-е. непрерывно изменяющимся, материалом. Следовательно, она не может быть тождественной для всех исторических эпох. Политическая экономия есть историческая наука в том смысле, что она изучает не происхождение и развитие хозяйства, а движение общественно-экономических форм. «Кто хотел бы подвести экономикку Огненной Земли под одни и те же законы с современной Англией, тот, очевидно, не мог бы преподнести ничего, кроме самого банального общего места».

Политическая экономия «исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена и, лишь завершив это исследование, может указать немногие совсем общие законы, относящиеся к производству и обмену вообще»¹⁾. «Но и тут из-за единства не должны быть забыты существенные различия»²⁾.

Ленин в своей рецензии на книгу Богданова: «Краткий курс экономической науки» писал об этой особенности марксистского историзма. Он говорит, что эту науку надо излагать не догматически (как это принято в большинстве учебников), «а в форме характеристики последовательных периодов развития: периода первобытного родового коммунизма, периода рабства, периода феодализма и цехов и, наконец, капитализма». Так как в каждом из этих периодов развития живут еще черты предыдущего периода, то при такой системе изложения приходится впадать в повторение. Чтобы избежать повторения в изложении этих пережитков различных эпох, Степанов и требует для понимания данной общественно-экономической формации обратиться к историческому развитию хозяйства. По другому пути идет Ленин. Можно было бы выбрать абстрактно-исторический, абстрактно-эволюционный путь, учитывающий условия постепенного происхождения и уничтожения явлений, и при этом не было бы повторений. Однако Ленин

¹⁾ «Анти-Дюринг», изд. Института К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 136.

²⁾ «Zur Kritik...», Berlin 1924, S. XVI.

говорит, что «этот чисто-формальный недостаток вполне искупается основными достоинствами исторического изложения». Да и недостаток ли это? Повторения получаются весьма незначительные, полезные для начинающего, потому что он тверже усваивает себе особенно важные положения. Отнесение, например, исторических функций денег к различным периодам экономического развития исторически наглядно показывает учащемуся, что теоретический анализ функций основан не на абстрактной спекуляции, а на точном изучении того, что происходило в историческом развитии человечества. Представление об отдельных, исторически-определенных укладах общественного хозяйства получается более цельное». По мнению Ленина, задача в том и состоит, чтобы дать «основные понятия о различных системах общественного хозяйства и о коренных чертах каждой системы»¹⁾.

Теория претендует только на объяснение одной капиталистической общественной организации и никакой другой,—еще раз подчеркивает Ленин, характеризуя в «Друзьях народа» метод диалектического материализма в истории,—совершенно естественно, что необходимость такого метода распространяется и на остальные общественные формации, хотя бы и не подвергшиеся специально фактическому изучению и детальному анализу,—точно так же, как идея трансформизма, доказанная по отношению к достаточному количеству фактов, распространяется на всю область биологии... И как трансформизм претендует совсем не на то, чтобы объяснить «всю» историю образования видов, а только на то, чтобы поставить приемы этого объяснения на научную высоту, точно так же и материализм в истории никогда не претендует на то, чтобы все объяснить, а только на то, чтобы указать «единственно научный», по выражению Маркса, прием объяснения истории»²⁾.

Идея трансформизма в применении к истории и состоит в учении о формациях,—в то же время, стало быть, понимание данной общественной формации, ее законов, формы движения, строения—не сводится к описанию «всех» условий и исторических случайностей, приведших к ней. Мы говорим о данной общественно-экономической формации, как о целом, а «целое, каким оно является в голове, как мыслимое, есть продукт мыслящей головы», и конкретная совокупность, целое есть на самом деле продукт мышления, понимания,—не в том смысле, что это—продукт понятия, размышляющего и развивающегося вне наглядного созерцания и представления, а в том смысле, что понимание целого, данной формации, конкретной совокупности получается в результате переработки представлений и созерцания в понятия.

С этой точки зрения—общество, именно, в данной формации, должно постоянно витать в нашем представлении, как предпосылка. Целое, как специфическая закономерность данной формации, наносит удар механическому взгляду на общество и историю, на это вытягивание всех событий в прямую непрерывную линию, где нет переходов, нет скачков, где в самой закономерности развития нет «перерывов постепенности», а есть увеличение или

¹⁾ Ленин, Собр. соч., 1926 г., т. XX, доп., стр. 22 сл.

²⁾ Там же, т. I, стр. 76, изд. 1-е.

уменьшение, накопление, изменение случайных событий. Закон стоимости есть абстракция, но он конкретнее, глубже выражает закон развития и функционирования всей общественно-экономической формации, чем представление, созерцания исторических случайностей, чем описания процессов возникновения и условий развития капиталистического быта в разных странах.

«И тут Гегель прав по сути,—говорит Ленин,—стоимость есть категория, которая лишена вещества чувственности, но она истиннее, чем закон спроса и предложения»¹⁾.

Подобно этому, пишет Энгельс, что «общий закон изменения формы движения гораздо конкретнее, чем каждый отдельный «конкретный» пример этого»²⁾—конкретнее потому, что он отражает всю конкретную совокупность, целое, которое не может быть охвачено представлением. Итак, историческое, подлинно-историческое объяснение движения материи и истории может быть только логическим, а логически правильным будет такое объяснение, которое опирается на историю.

Все это совершенно не совпадает с неукротимым стремлением некоторых товарищей растворить логические категории в истории. Наоборот, речь идет о различных формах движения материи, о том, что в движении материи и истории надо находить изменение самих форм, самих закономерностей, перерывы данной закономерности и возникновение новой формы движения. Задача «логического момента» в нашем познании состоит как раз в том, чтобы отобразить, схватить строение, структуру, закономерность данной формации. Логика потому не совпадает с историей, что данная специфическая, общественная формация должна быть понята не как количественное видоизменение старого, не как нечто такое, что сводится к предыдущему этапу развития, а, наоборот, как нечто несводимое к количественным видоизменениям старого. Несводимость новой формы движения материи к количественным видоизменениям предыдущей, или, если речь идет об обществе, несводимость данной общественно-экономической формации к количественным видоизменениям предыдущей и выражается в том, что логические категории, призванные отобразить своеобразие данной формы движения, мы принуждены располагать не в том порядке, как они исторически следовали, повторяясь и видоизменяясь в различных общественных формах, подготавливая данную форму, а, наоборот, логически, т. е. располагать их в том порядке, как это предугадывает своеобразие данной общественно-экономической формации. Маркс так и пишет, что «совершенно неподходящим и ошибочным приемом было бы брать экономические категории в том порядке, в каком они исторически играли решающую роль. Наоборот, их порядок определяется тем отношением, в котором они стоят друг к другу в современном буржуазном обществе, при чем это отношение прямо противоположно тому, которое кажется естественным или соответствующим последовательности исторического развития. Речь здесь идет не о том месте, которое занимают экономические

¹⁾ Ленинский сборник IX, стр. 186.

²⁾ «Архив Маркса и Энгельса», кн. II, стр. 199, изд. Института Маркса и Энгельса.

отношения исторически в чередовании различных общественных форм..., а об их группировке в рамках современного буржуазного общества»¹⁾. «Обязательна ли хронология? Нет»,—говорит Ленин.—Итак, логически правильный прием объяснения состоит в том, что экономические категории нами берутся, нами связываются, нами группируются в рамках данной общественной формы, а не в их «естественном или соответствующем последовательности исторического развития» порядке расположения. Например, ничто не кажется более естественным, как начать с земельной ренты, с земельной собственности, так как ведь она связана с землей, источником всякого производства и всякого бытия, и с первоначальной формой производства во всех, до некоторой степени прочно сложившихся обществах—с земледелием. Однако нет ничего более ошибочного. Каждая форма общества имеет определенную отрасль производства, преобладающую над другими, условия которой поэтому определяют место и влияние всех остальных. Это общее освещение, в котором утопают все остальные краски и которые модифицируют их в их особенностях. Это особый эфир, который определяет удельный вес всякого в нем выступающего бытия». И для пояснения, как одни и те же категории могут занимать различное место на различных ступенях общественного развития, Маркс приводит следующий пример: «Одна из последних форм буржуазного общества, акционерные общества, появляется также и в начале последнего в виде больших привилегированных торговых компаний, наделенных монополиями».

Еще резче огромное значение «логического» приема объяснения, исходящего из своеобразия данной формации, как органического целого, подчеркивается в следующем рассуждении Энгельса:

«Критика политической экономии и после выбора метода могла быть построена двояким образом: исторически или логически. Так как в истории, как и в ее литературных отражениях, развитие в общем и целом идет от более простых к более сложным отношениям, то литературно-историческое развитие политической экономии давало естественную руководящую нить, которой критика могла следовать, так что при этом экономические категории в общем и целом следовали бы в том же порядке, как и в логическом развитии. Эта форма на первый взгляд имеет преимущество большей ясности, так как проследивает действительное развитие, на самом же деле такое построение способствовало бы в лучшем случае только большей популярности изложения. Историческое развитие идет часто скачками и зигзагообразно, и его пришлось бы проследить во всех его перипетиях, благодаря чему не только пришлось бы слишком часто уделять место и малозначительному материалу, но и пришлось бы часто прерывать ход мыслей. К тому же нельзя писать историю политической экономии без истории буржуазного общества, а последняя удлинит работу до бесконечности, так как в этой области нет никакого мало-мальски обработанного материала. Логиче-

¹⁾ «Введение к Критике полит. экономии», сб. «Основн. вопросы», стр. 30.

ский метод исследования являлся поэтому единственно подходящим. Последний, однако, есть тот же исторический метод, только освобожденный от его исторической формы и от нарушающих стройность изложения исторических случайностей. Логический ход мыслей должен начаться с того, с чего начинается и история, и его дальнейшее развитие будет представлять собой не что иное, как отражение, в абстрактной и теоретически последовательной форме, исторического процесса, исправленное отражение, но исправленное соответственно законам, которым учит сама историческая действительность, ибо логический способ исследования дает возможность изучить всякий момент развития в его самой зрелой стадии, в его классической форме»¹⁾.

Ценность и содержание «логического способа исследования» состоит в том, что им охватываются именно стадии развития, законы, а это позволяет глубже проникнуть, понять движение истории. Марксистский историзм вовсе не состоит в отрицании всякой надобности в логической обработке фактов, вовсе не требует растворения логических категорий в истории, он охватывает движение истории, переработанное, исправленное, освобожденное от нарушающих стройность изложения исторических случайностей. Логический метод отображает тот же исторический процесс развития, но отображает в «сокращенной» форме, отражает не с точки зрения единичных процессов «исторических случайностей», а с точки зрения форм движения, с точки зрения закономерности развития, когда каждая экономическая категория соответствует не тому или иному единичному акту обмена или единичному проявлению закона спроса и предложения, а соответствует целой эпохе экономического развития. И последовательность категорий, скажем, в «Капитале» отображает историческую последовательность в том смысле, что в ней повторяется последовательность общественно-экономических формаций. Логически первое в этом только в этом смысле оказывается исторически первым, но отсюда в то же время следует и «несоответствие», «расхождение» с историей, потому что каждая категория в раз'ясненном выше смысле не отображает конкретное, случайного течения явлений, отдельных «примеров», быта и пр.

Все сказанное о методе политической экономии должно получить дальнейшее развитие в применении к логике,—в частности, при постановке вопроса о последовательности категорий в материалистической диалектике.

Каждая экономическая форма, ступень исторического развития, каждая общественная формация характеризуется своим особым уровнем, и не только уровнем, но и формой теоретического мышления. Теоретическое мышление есть исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы, и наука о мышлении есть, по выражению Энгельса, «историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления». Теоретическое мышление не есть какая-то раз навсегда установленная «вечная истина». Марксистский историзм в логике учит об этих этапах,

¹⁾ Энгельс, О критике полит. экономии Маркса.—«Под Знам. Маркса» 1923 г., № 2—3, стр. 55.

формах, различных строениях теоретического мышления в различные исторические эпохи,—«движение» категории в логике отражает движение отдельных ступеней, эпох в познании человеком природы, отдельных периодов в развитии естествознания и техники: их, и только их отражает «движение» категории в голове. Логика—наука об исторических «формах мышления»¹⁾. Марксистский историзм учит о формах движения мысли, об изменении и превращении в противоположность, об уничтожении старого и возникновении нового в самой закономерности развития познания. История мысли не может быть познана во всей непосредственности и цельности, во всем многообразии единичных особенностей, во всей совокупности всех исторических случайностей; наши представления об единичных фактах из истории мысли не могут охватить движения в целом, но мышление может охватить, переработать представления в понятия, в абстракции, о существенных особенностях научного знания, законах, эпохах, периодах его развития, и посредством этих абстракций оно отражает движение истории мысли глубже и полнее. Именно в своих выводах, в целом, категориях логика отражает исторические ступени в умственном развитии человека, категории отражают целые этапы в развитии естествознания, техники, мышления. Следовательно, и здесь нет простого непосредственного соответствия между логическими и историческими. Именно, «развитие, например, какого-нибудь понятия или отношения (положительное и отрицательное, причина и действие, субстанция и акциденция) в истории мышления относится к развитию его в голове отдельного диалектика, как развитие какого-нибудь организма в палеонтологии к развитию его в эмбриологии (или скорее в истории и в отдельном зародыше). Что это так, было впервые открыто Гегелем для понятий»²⁾. Логика повторяет историю, как онтогенез повторяет филогенез (употребляя условный образ).

Диалектика, как учение о формах движения материи, ставя своей задачей синтетически резюмировать все естествознание, отвергает чуждое внешнее расположение материала, так как в природе доказана всеобщая связь развития. «Подобно тому, как одна форма движения развивается из другой, так и отражения этих форм, различные науки должны с необходимостью вытекать одна из другой»³⁾. Последовательности категорий различных форм движения в диалектике соответствует последовательность различных наук, а логическая последовательность наук отражает историческую последовательность различных периодов развития отдельных отраслей естествознания⁴⁾.

Суждения классифицируются у Гегеля на единичное, частное и всеобщее. «Какой простой вид ни имеет все это и какой произвольной ни ка-

¹⁾ Энгельс, Диалектика в природе.—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. II, стр. 179.

²⁾ Энгельс в «Архиве», кн. II, стр. 199.

³⁾ Там же, стр. 33.

⁴⁾ Там же, стр. 69.

жется на первый взгляд эта классификация суждений, но внутренняя истина и необходимость этой группировки станет ясной всякому, кто прочтут гениальные рассуждения Гегеля об этом в Большой Логике»,—пишет Энгельс в «Диалектике природы». Логическая группировка суждений здесь обоснована не только законами мышления, но и законами природы.

В чем же состоит внутренняя истина и необходимость этой классификации? В том, что каждая из этих категорий отображает, сокращенно схватывает этапы, определенные ступени в историческом развитии познания человеком природы. Единичное суждение является первым моментом в развитии логической формы суждения, но, логически первое, оно соответствует той «исторически первой» эпохе, когда люди знали практически, что трение порождает теплоту, но еще не дошли до открытия того, что трение есть вообще источник теплоты. «То, что является у Гегеля развитием логической формы суждения как таковой, выступает здесь перед нами как развитие наших, опирающихся на эмпирическую основу, теоретических сведений о природе движения вообще»¹⁾.

Логика не совпадает с историей, пока в ней категории отображают данную общественную формацию или теоретическое мышление, соответствующее ей, но она глубже, вернее, полнее отражает движение истории в целом, в своих выводах, переходах понятий, в их отношениях и взаимозависимости. Диалектика пронизывает мир историзмом, рассматривая мировой материальный процесс как движение истории, но диалектика не сводится к «истории», не совпадает с «историей» мысли, не просто повторяет историю, она, кроме того, и наука об общих законах движения, развития познания.

И в то же время, только в общих диалектических законах движения логика приближается к подлинному историзму, к углубленному и конкретному знанию природы и истории познания. Ленин пишет в «Конспекте»: «Мышление, исходя от конкретного к абстрактному, не отходит—если оно правильное...—от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее»²⁾. Ленин в связи с этим цитирует Гегеля:

«Разложить данное конкретное» явление, выделить его различия и придать форму абстрактной всеобщности различным сторонам его—вот задача анализа, и в таком случае становится ясно, что это есть извращение вещей. «Например, химик «подвергает операциям» кусок мяса и открывает азот, углерод и т. д. Но эти абстрактные вещества уже не являются более мясом». «Но познание, желающее брать вещи так, как они есть, впадает в противоречие с самим собою»³⁾.

В этом смысле мы и схватываем историческое движение нашего теоретического познания не как движение непосредственных единичных, случай-

¹⁾ Энгельс, «Архив», кн. II, стр. 181.

²⁾ Ленинский сборник IX, стр. 182.

³⁾ Плз., I, § 227; ср. Ленин, Ленинский сб. IX, стр. 302.

ных, индивидуальных событий и явлений. В движении истории надо искать движение периодов, последовательность ступеней развития естествознания и техники или исторических эпох, последовательность «образов мышления» соответственно общественно-экономическим формациям, смену качественно-отличных «форм мышления». Наши понятия, отображая действительное движение истории, не просто пересказывают, регистрируют, описывают то, что непосредственно схватывается представлением, но восходят от непосредственного к абстрактным понятиям об эпохах, формациях, закономерностях. «Движение» категории в логике—это короткое, сжатое повторение длинного ряда исторических этапов, которые прошла умственная эволюция в технике и естествознании.

Представление ближе к реальному, единичному событию, чем мышление, но мышление отображает действительность глубже, полнее, вернее. В заметках о логике Гегеля Ленин пишет по этому поводу следующее: «В известном смысле представление, конечно, ниже. Суть в том, что мышление должно охватить все «представление» в его движении, а для этого мышление должно быть диалектическим. Представление ближе к реальности, чем мышление? И да, и нет. Представление не может схватить движения в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300.000 км. в секунду, а мышление схватывает и должно схватывать. Мышление, взятое из представления, тоже отражает реальность»¹⁾.

Категории исторического познания и являются подобными абстракциями, позволяющими нам охватить существенные особенности эпох, периодов развития или «общественно-экономических формаций». «Категории логики суть сокращения «бесконечной массы» частностей внешнего существования и деятельности»²⁾.

Логика в «движении» своих категорий «повторяет» историю мышления, но повторяет в «сокращенной форме», она, другими словами, отражает не историю конкретных условий умственного развития человека в той или другой стране, в ту или другую эпоху, а развертывает последовательность целей исторических эпох, и то г, с у м м у, в в ы в о д, истории познания мира»³⁾, не содержание истории вообще, а «итог опыта наук», «суть», «существенное содержание всех иных знаний»⁴⁾. Содержание логики образует не случайные единичные факты из истории знания, а «знание в полном объеме своего развития»,—это замечание Гегеля Ленин недаром называет гениальным⁵⁾. Отсюда следует, что здесь не может быть речи о простом «иллюстрировании» логических законов единичными примерами из истории. Это следует из следующих слов Ленина: «С одной стороны, надо углубить познание материи до познания (до понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное познание причины есть углубление познания от внешности явлений к субстанции. Двоякого рода

¹⁾ Ленинский сборник IX, стр. 288.

²⁾ Гегель, Наука Логики, § 15, русск. пер., XXX, ср. Ленинский сб. IX, стр. 34.

³⁾ Ленинский сборник IX, стр. 40.

⁴⁾ Там же, стр. 52.

⁵⁾ Там же, стр. 56.

примеры должны бы пояснить это: 1) из истории естествознания и 2) из истории философии. Точнее: не «примеры» тут должны быть—сравнение не есть доказательство, а квинтэссенция той и другой истории + истории техники»¹⁾).

Марксистский историзм переходит от созерцания внешности явлений к пониманию их сущности, от ложно-исторического, универсального описания, регистрирования «примеров», к выяснению квинтэссенции истории. Этапы движения, так наз. исторические эпохи, и образуют эту квинтэссенцию истории. Но итог, вывод, квинтэссенция, допустим, истории естествознания могут быть охвачены только в абстрактных категориях. «Логические понятия субъективны, пока они остаются абстрактными, в своей абстрактной форме, но в то же время выражают и вещи в себе»²⁾. Для познания недостаточно представления. Гегель требует абстракции, соответствующих—материалистически говоря—действительному углублению нашего познания мира³⁾. Логика выражает историю, соответствует ей, но в то же время не совпадает с ней, не соответствует ей, остается «субъективной», пока ее понятия остаются абстрактными. В своих заметках Ленин пишет, что «человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике»,— вот именно, объективны в целом, в итогах, т.-е. поскольку логика отображает отдельные этапы развития теоретического мышления и техники. Процесс познания не является непосредственным отражением действительности, а рядом абстракций или, как говорит Ленин, рядом «образования понятий, законов etc., каковы понятия, законы etc. (мышления, наука—«логическая идея») и охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы. Тут, действительно, объективно три члена: 1) природа, 2) познание человека,—мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории etc. Человек не может охватить—отразить—отобразить природы все и, полностью, ее «непосредственной цельности», он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. д. и т. п.»⁴⁾. «Научная картина мира» не может не отличаться от его действительной картины, как не могут не отличаться понятия от отображаемых ими вещей. И Ленин требует не изучения простого, непосредственного хода истории, а «диалектически-материалистической обработки» истории человеческой мысли, науки и техники⁵⁾. Абстракции, понятия, категории являются отражением не вообще существующего, не просто существующего, не «поверхности» вещей, а существенных сторон, «сути», «итогов», истории⁶⁾. И в самом деле это подтверждается на при-

¹⁾ Там же, стр. 161.

²⁾ Там же, стр. 248.

³⁾ Там же, стр. 39.

⁴⁾ Там же, стр. 203.

⁵⁾ Там же, стр. 138.

⁶⁾ Там же, стр. 40, 52.

мере самой логики: логика отображает развитие познания человеком природы; но она не совпадает с историей мысли, не тождественна описанию умственного развития человека.

Если в логических формах не усматривать ничего, кроме формальных функций мышления, то самое большее такая логика может извлять признание, по Гегелю, «на значение естественно-исторического описания явлений мышления, описания того, как они совершаются». «Бесконечная заслуга Аристотеля, которая должна наполнять нас величайшим удивлением к силе его духа, состоит в том, что он первый принял такое описание. Но необходимо идти далее и познать отчасти систематическую связь, отчасти же ценность этих форм» (Band VI, S. 31, русск. пер. «Науки Логики», 2, стр. 16; Ленинский сборник IX, стр. 190). У Гегеля тут идеалистическая неясность и недоговоренность, говорит Ленин, и дает такое материалистическое толкование его мысли: мы должны требовать «не только описания форм мышления и не только естественно-исторического описания явлений», «но и соответствия с истиной»,—не историю мысли вообще, а «квинтэссенцию или, проще, «результаты» и итоги истории мысли»¹⁾. Не психология, не феноменология, не историческое описание, а прослеживание отдельных ступеней развития мышления в истории естествознания и техники. «История мысли с точки зрения развития и применения общих понятий и категорий логики,—вот что нужно!»—говорит Ленин²⁾. «Категории и суть ступеньки выделения, т.-е. познания мира»³⁾.

Итак, логика отображает необходимое движение познания человеком природы, освобожденное от исторических случайностей, последовательность форм мышления, освобожденную от их исторического содержания, существенное, качественное содержание различных этапов развития теоретического мышления, освобожденное от исторического количественного наслонения свойств, присущих всем формам мышления, отображает не естественно-историческое описание функционирования мышления, а закономерность итогов, взаимозависимость результатов истории мысли. «В историческом развитии случайность играет свою роль, которая в диалектическом мышлении, как и в развитии зародыша, выражается (zusammenfasst), в необходимости»,—говорит Энгельс⁴⁾.

Из сказанного следует, что логика в своих законах, категориях, в переходах и связях их схватывает историю мышления звеньями, кругами. Логическое познание—это познание в виде ряда кругов⁵⁾, с «повторением в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и возвратом, якобы, к старому»⁶⁾. Познание человека не идет по прямой линии, а по кривой, «бесконечно приближающейся к ряду кругов, спирали». «Онтогенез» на-

¹⁾ Там же, стр. 190.

²⁾ Там же, стр. 194.

³⁾ Там же, стр. 40.

⁴⁾ «Архив», кн. II, стр. 199.

⁵⁾ Ленин, К вопросу о диалектике, Соч., т. XIII, изд. 3-е.

⁶⁾ Ленинский сборник IX, стр. 276.

шего познания, логика, в сокращенной и неполной форме повторяет «философию» кругов, звеньев, стадий умственной эволюции. Очевидно, что именно подобную повторяемость в высшей стадии, в высшем звене известных черт низшей стадии имел в виду Энгельс, сравнивая параллелизм между логическим развитием и историей развития мысли с параллелизмом между эмбриологией и палеонтологией. Очевидно, что «звеньевое» («спиральное», «ступенчатое») строение теоретического мышления имел в виду Ленин, характеризуя диалектику как живое, многостороннее, при вечно увеличивающемся числе сторон, познание с бездной оттенков, растущее в целом из каждого оттенка. И недаром Ленин в своем «Конспекте» останавливается на следующих словах Гегеля: «Наука представляется некоторым замкнутой в себя кругом, в начало которого, простое основание, возвращается путем опосредствования конец; при этом круг есть круг из кругов... Отрывки этой цепи суть отдельные науки»¹). Такова и логика, как наука об исторических звеньях развития человеческого познания. Вот почему «в таком понимании логика совпадает с теорией познания. Это вообще очень важный вопрос»²). «Логика есть учение о познании,—говорит Ленин,—это теория познания»³).

На основе развитого понимания соотношения логического и исторического нетрудно наметить общее решение вопроса о последовательности категорий в материалистической диалектике. Если логика «повторяет» лишь отдельные звенья, лишь отдельные ступени развития человеческого познания природы, а не естественно-историческое, заполненное всеми историческими случайностями, умственное развитие человека, то было бы ошибочным начинать «Логику» с конкретной исторической действительности, окружающей человека. Существует опасение, что всякий иной способ расположения категорий ведет к гегелианщине:

«Способ развертывания экономических категорий, идущий от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, соответствует историческому процессу возникновения и развития новых качеств и закономерностей. Это коренным образом отличается от системы общетеоретических категорий. Здесь дело идет о наиболее общих закономерностях и качествах мира в целом, и считать, что сначала существует бытие вне сущности и явления, вне качества и количества, вне становления и т. д., и т. п.,—значит хотя и отрицать гегелевское начало «чистого бытия» по форме, но в то же время поддерживать его по существу. Все эти и им подобные категории свойственны материальному миру не на отдельных ступенях его развития, а с «началом» его существования и по сие время. Поэтому развернуть систему такого рода категорий по принципу «от абстрактного к конкретному» нельзя, ибо это означало бы для марксиста, что и мир, выраженный в подобной системе, развивается от простого бытия к бытию наполненному, что вначале он абсолютно бесформенен и только потом приобретает эти формы»⁴).

¹) Там же, стр. 298.

²) Там же, стр. 190.

³) Там же, стр. 202.

⁴) К. Милонов, Гегель и материализм.—«Вестник Комм. Академии», кн. 25, стр. 23.

И дальше:

«Если Гегель начинает свою «Логику», долженствующую отразить самодвижение объективного понятия, с «чистого бытия», так что наполненные, конкретные категории выступают, как заключительное звено анализа, то теория марксистской диалектики должна идти по обратному пути—от «действительности» к «сущности» и «явлению», от «меры»—к «количеству» и «качеству», от «становления»—к «бытию» и «ничто»¹).

В самом деле, разве существует в природе бытие, как таковое, или сущность, как таковая? Очевидно, что ни сущности, ни бытия никто не видел. Не существует особого чистого «качества» вне количества, не существует чистого «количества» вне качества. Нет в природе «явлений» и «сущности» совершенно независимых или изолированных друг от друга. Не существует чистых «причин и чистых следствий», а в действительности все взаимно и неразрывно связано, переплетено, все находится в вечном становлении, как моменты синтетического целого, ступени развития и т. д.

И тем не менее нельзя согласиться с тов. Милоновым. Хотя эта конкретная совокупность явлений и является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом наглядного созерцания и представления,—в мышлении, однако, она выступает как процесс соединения многообразия в единство, в одно органическое целое, как воспроизведение конкретного диалектического мышления, как целого, путем абстрактных определений. «Природа и конкретна, и абстрактна, и явления, и суть, и мгновенье, и отношение», поэтому «человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но они объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике»²). Последовательность абстрактных определений и отражает историю природы мышления в выше разъясненном смысле—«квинтэссенцию» истории, «общий ход» движения. (Это—мысль, которая должна бы быть реализована, проверена, подтверждена в самом процессе изложения логики). Таким логически первым абстрактным определением категорий логики является то, что она выступает как логика непосредственного бытия. Как сообщает А. М. Деборин, Ленин в одной из своих тетрадей (еще не опубликованных) по поводу плана гегелевской Малой Логики высказывает следующие, весьма важные для установления Ленина, мысли: «Понятие (познание) в бытии (в непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причины, тождество, различие etc.), таков действительно общий ход (подчеркнуто Лениным) всего человеческого познания (всей науки) вообще. Таков ход и естествознания, и истории, и политической экономии (подчеркнуто также Лениным. Г. Б.). Диалектика Гегеля есть, постольку, обобщение (подчеркнуто мною. Г. Б.) истории мысли. Чрезвычайно благодарной кажется задача проследить ее конкретнее, подробнее на истории отдельных наук. В логике история мысли должна в общем и целом (подчеркнуто мною. Г. Б.) совпадать с законами мышления».

¹) Там же, стр. 22.

²) Ленинский сборник IX, стр. 248.

Развивая далее свои мысли по вопросу о структуре гегелевской «Логике», Ленин там же пишет следующее¹⁾: «Сначала мелькают впечатления, затем выделяется нечто, потом развиваются понятия качества (определения вещи или явления) и количества. Затем изучение и размышление направляют мысль к познанию тождества—различия—основы—сущности versus явления, причинности etc». На основании этих решающих указаний надо признать, что Ленин считал правильным гегелевское построение, выражающееся в движении нашего познания от непосредственного бытия к сущности, и далее к «абсолютной идее», но понятно к «абсолютной идее», в материалистическом смысле, в смысле полной истины, единства теории и практики.

Человек от живого созерцания переходит к абстрактному мышлению²⁾, к познанию объективной реальности³⁾, от внешности явлений, от непосредственности «наличного» бытия переходит к «внутренней» сущности, к взаимозависимости причин явлений. Познание—это «бесконечный процесс раскрытия новых сторон, отношений», бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д., от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности, от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей»⁴⁾. В этом процессе раскрытия новых и новых сторон, отношений и пр. субстанция—важная ступень в развитии человеческого познания природы и материи⁵⁾.

А образование (абстрактных) понятий и операций с ними уже включает в себе представление, убеждение, сознание закономерности объективной связи мира⁶⁾.

Задачей,—Ленин говорит: благодарной задачей,—является проследить принципы построения, последовательность категорий конкретнее, подробнее, на истории отдельных наук, в процессе «диалектической обработки истории человеческой мысли, науки и техники». В частности, в логике непосредственного бытия следует таким путем проследить единство исторического и логического, единство истории мышления с законами мышления. Но это—тема особой статьи.

¹⁾ Цит. по предисловию А. М. Деборина к «Ленинск. сб.», стр. 7.

²⁾ Ленинский сборник IX, стр. 184.

³⁾ Там же, стр. 178.

⁴⁾ Там же, стр. 276.

⁵⁾ Там же, стр. 158.

⁶⁾ Там же, стр. 196.

Формальная логика и диалектика.

(По поводу книги А. Варьяша: «Логика и диалектика»).

В. Асмус.

I.

Пред нами—специальная работа по логике, об'емистый, более чем в 500 страниц, труд.

Из предисловия к книге мы узнаем, что автор имел в виду «развернуть основные законы диалектики в их живом действии и выяснить их значение для понимания и овладения постоянно меняющейся многоликой действительностью» (стр. 3). В соответствии с этим заданием, в восьми главах, на которых распадается работа А. Варьяша, последовательно излагаются: вопрос об отношении формальной логики к другим наукам (стр. 26—41); диалектическое учение о понятии (стр. 42—161); учение о суждении (стр. 162—217); учение об умозаключении (стр. 218—264); индукция и индуктивный метод (стр. 265—334); проблема вероятности (стр. 335—359); законы формальной логики (стр. 360—392); общие законы диалектики (стр. 393—483).

Однако задача книги А. Варьяша вовсе не исчерпывается изложенной целью. В том же предисловии А. Варьяш заявляет, что «прежде всего» он «имел в виду рассмотреть формальную логику в диалектическом разрыве ее категории и выявить ее отношение к диалектике» (стр. 3; курсив мой. В. А.).

Эта двойная установка возбуждает ряд основательных недоумений. Нельзя не отметить крайней сбивчивости уже в формулировке основных задач книги. Но, даже внося необходимые поправки на ясность выражения, мы все же не получим ясности в мыслях. Эта неясность—неизбежный результат корректного дефекта книги А. Варьяша. Сущность этого дефекта в том, что, задумав дать не более как полную систему диалектической логики, А. Варьяш на всем протяжении своей работы остался в рамках традиционного учения формальной логики. В своем изложении А. Варьяш исходит не из продуманной концепции диалектики, а из обычного содержания и обычного построения формальной логики. Конечно, в состав диалектической логики должны войти и проблема понятия, и проблема суждения, и проблема выводов, и проблема индукции. Поскольку эти логические формы существуют и работают в познании—должно быть дано их диалектическое описание и диалектическое объяснение. Диалектик должен выяснить и их логическое строение, и диалектические связи между ними, и их диалектические функции в актах познания. Но диалектик сделает это именно как диалектик, со своей точки зрения, под углом зрения диалектики. Для диалектика вовсе даже неотвратим тот порядок, в котором формальная логика рассматривает формы и

операции логического мышления: сначала понятие, потом суждение, потом умозаключение и т. д. Диалектик всем этим формам сумеет найти их диалектическое место в деятельности познания.

Не то видим мы у А. Варьяша. К диалектике А. Варьяш идет от формальной логики. В сущности книга А. Варьяша должна была бы называться «Формальная логика с точки зрения диалектики» или как-нибудь в том же роде. Автор явно избрал путь наименьшего сопротивления. Взяв обычную шаблонную схему учебников формальной логики (понятие, суждение, умозаключение, индукция, законы мышления и т. д.), А. Варьяш излагает традиционные учения, а затем совершенно механически присоединяет к ним свою «диалектическую» критику. В своей сумме эти добавления и должны, очевидно, составлять «диалектику» А. Варьяша, «развернуть основные законы диалектики в их живом действии» и т. д.

Цели этой книга не достигает. Подлинная связь между категориями диалектическими и категориями формальной логики осталась не раскрытой на протяжении всех 500 страниц книги, несмотря на все усилия автора, несмотря на все множество «примеров» из математики и физики. Начиная с названия книги, в котором логика противопоставляется диалектике—как будто диалектика не есть логика,—с ее композиции, расположения и последовательности тем,—и кончая существом трактовок, А. Варьяш неизменно остается эклектиком. Работа А. Варьяша—скороспелая, поспешно и небрежно сделанная претенциозная попытка кое-как механически связать формальную логику с диалектикой.

Даже центральный вопрос книги—проблема взаимоотношения между формальной логикой и диалектикой—разработан сбивчиво и по существу неудовлетворительно. Прежде всего непонятно, почему вопрос этот отнесен автором к концу книги (гл. VII и VIII). Именно с этого вопроса следовало бы начать. Но, даже согласившись с композицией книги, с постановкой центральной и руководящей проблемы на конце исследования, нельзя никак согласиться с ее трактовкой.

Как это ни странно, но, связывая формальную логику с диалектикой, А. Варьяш даже не потрудился дать ясное и недвусмысленное определение существа как первой, так и второй. Читатель книги А. Варьяша, даже прочитав последнюю страницу, не получит ясного представления о том, что вообще разумеет А. Варьяш под логикой.

Так, в одном месте А. Варьяш утверждает, что логика есть «общее учение об объектах» (стр. 361). Положение это—непонятно, ибо непонятно, о какой логике здесь идет речь. По общему контексту главы («Законы формальной логики») надо полагать, что дело идет именно о формальной логике. Но если так, то утверждение это—неверно. В том и состоит характерная черта формальной логики, ее руководящая идея, что форма мысли отрывается в ней от предметного содержания. Формальная логика есть не общее учение о предметах, а учение о правилах связи между мыслями—независимо от какого бы то ни было их предметного содержания. Особенно странно, что, определив логику, как «общее учение об объектах», А. Варьяш в качестве представителя такого понимания называет... Канта! Но ведь именно Кант был роковым инициатором идеи формальной логики, т.-е. учения о совершенной независимости формы мышления от мыслительного в нем предмета. Если же—что идет в разрез с контекстом—А. Варьяш в указанном месте имеет в виду не «общую» (формальную) логику Канта, но так называемую трансцендентальную логику, то, конечно, это справедливо, ибо трансцендентальная логика была логикой предмета. Однако в таком случае следовало бы сделать специальную оговорку, вскрыть двойственный противоречивый смысл понятия логики у Канта. Заявить же, без дальнейших разяс-

нений, как это делает А. Варьяш, что в качестве общего учения об объектах, логику трактовали Кант и Гегель (стр. 361)—это значит посеять величайшую путаницу и смутение в уме читателя.

Не более ясно данное А. Варьяшем определение формальной логики. С одной стороны, А. Варьяш трактует формальную логику как частную сферу, или, точнее, как особую систему частных случаев общей диалектической методологии. Развивая эти мысли, А. Варьяш усиленно подчеркивает предметное содержание законов самой формальной логики. «Формальные законы,—разъясняет А. Варьяш,—... не могут быть только законами правильного мышления. Они являются общими законами предметов, рассматриваемых не в процессе становления, а уже как результаты этого процесса, в покое» (стр. 364). «И формальные законы,—утверждает А. Варьяш,—представляют собой методологию, хотя и узкую, недостаточную» (стр. 364). В этом пункте А. Варьяш, повидимому, тесно приимкает к Энгельсу, которого он и цитирует: «Даже формальная логика,—цитирует А. Варьяш,—есть, прежде всего, метод нахождения новых результатов, перехода от известного к неизвестному и т. д.» (стр. 448).

С другой стороны, на ряду с этим предметно-методологическим пониманием функций формальной логики, А. Варьяш в целом ряде мест усердно доказывает, что подлинная задача формальной логики состоит не в предметной значимости ее актов, но, напротив, в чисто-формальном контроле имманентной последовательности мышления, в ограждении мысли от внутренних противоречий. В свете этих утверждений формальная логика «занимается теми условиями, которые доказывают непротиворечивость устанавливаемых закономерностей отдельных наук» (стр. 364. Курсив мой. В. А.). По А. Варьяшу, принципы формальной логики «представляют собой скорее лишь контроль, но не нерв доказательства» (стр. 373). Формальные законы являют собой контроль для сравнения результатов и посылок. Они—лишь критерий формальной истинности. В этом заключается их, правда, гораздо более скромная, чем полагали представители традиционного учения, но все же важная роль» (стр. 388). Согласно разяснениям А. Варьяша, формальные законы, если взять их в абсолютном смысле, требуют «непротиворечивого объяснения противоречивой действительности», иными словами, требуют, «чтобы то, что в самом себе противоречиво, объяснялось как непротиворечивое» (стр. 388—389). Так, механическая теория падения выражает в своих формулах противоречивые факты и отношения действительности, однако «теория падения не содержит никакого логического противоречия» (стр. 389).

Итак—в праве спросить читатель—что же такое есть формальная логика? Есть ли это, как утверждалось выше, особая область методологии предметного мышления или познания, или же, как было только что выяснено, она представляет лишь совокупность норм, гарантирующих отсутствие формальных противоречий?

На вопрос этот книга А. Варьяша не дает никакого ответа. А между тем на вопросе этом стоило бы остановиться! В работе, которая, как работа А. Варьяша, претендует на разяснение «диалектической связи категорий формальной логики», нельзя ограничиваться повторением уже известной общей истины—о том, что формальная логика есть частный случай логики диалектической и т. п. Читатель в праве требовать от А. Варьяша более конкретных и более обстоятельных разяснений. Следовало бы точно выяснить те условия, при которых научное мышление имеет право становиться на точку зрения формальной логики. Следовало бы точно разяснить, в какой мере формальная логика есть «общее учение об объектах» и в какой—совокупность норм «непротиворечивого мышления». Напрасно было бы тре-

бовать у тов. Варьяша ответов на все эти вопросы! Напрасно не потому, что на них не хватило места (А. Варьяш исписал 500 страниц!), а потому, что вопросы эти не ясны самому автору, не продуманы и не до конца, не доведены до сколько-нибудь удовлетворительного—диалектического—разрешения.

Двусмысленность данного А. Варьяшем определения логики есть прямой результат зависимости от традиционного формального учения. Определенные логики, предложенные А. Варьяшем, в точности отражают те колебания, которые обнаруживает формальная логика в трактовке основных законов мышления. В этом пункте А. Варьяш не только не преодолел формальной логики, но остался целиком во власти ее учений.

Уже А. Спир обратил внимание на то, что основной закон формальной логики—закон противоречий—двусмысленен в самой своей формулировке. Закон этот излагают то как норму последовательного мышления, свободного от внутренних противоречий, то как онтологический принцип, утверждающий невозможность объективных противоречий в действительности, то, наконец, и в том и в другом значении сразу.

Зигварт, автор одного из основных логических трактатов нового времени, чрезвычайно близко подошел к указанному различию. Сам он трактовал закон противоречия скорее как норму непротиворечивого мышления, отбросив онтологическую интерпретацию. Однако полной ясности в формулировках Зигварта нет. Поэтому некоторые из современных логиков, стремясь к устранению двусмысленности, свойственной закону противоречия, предложили, вместо закона противоречия, различать два закона: 1) чисто формальный закон мышления, запрещающий противоречие в мышлении,—«закон несампротиворечия»¹⁾ и материальный, онтологический или эмпирический «принцип противоречия», который «обращается к миру, к объектам и говорит, что в них не может осуществляться противоречия»²⁾.

Различение нормы несампротиворечия и закона невозможности противоречия—крайний предел «достижений» новейшей формальной логики. Различение это, несомненно, есть симптом жестокого кризиса современной формальной логики. Прогрессивное значение этого различия в том, что оно широко открывает двери критике метафизического принципа противоречия. Если закон противоречия есть закон материальный, эмпирический, то он не может быть абсолютным. Будучи законом действительности, он должен выражать ее действительные свойства. Будучи принципом, утверждающим невозможность сосуществования несовместных признаков, закон противоречия становится в явную зависимость от практики, от эмпирии, ибо только практика может разрешить вопрос о том, совместимы ли данные противоположные признаки в одном предмете и если совместимы, то в какой мере и при каких условиях.

И действительно: как только современные логики поставили закон противоречия в зависимость от практики, они вместе с тем должны были признать, что закон противоречия в его метафизическом смысле отнюдь не есть неустраняемый и непреложный принцип мыслимости бытия. Именно поэтому, что закон противоречия был провозглашен законом эмпирическим, должны были признать, что закон этот не абсолютен и легко может быть устранен из мышления без нарушения логических связей последнего.

Чрезвычайно поучительна эта эволюция формальной логики! При первой попытке уточнить формальную теорию противоречия, внести ясность

¹⁾ См. Н. Васильев, Логика и металогика (Логос, 1912—1913, кн. I и II), стр. 66. Тот же Н. Васильев в указанной статье предложил, кроме термина «закон несампротиворечия», термин «закон абсолютного различия истины и лжи» (там же, стр. 65).

²⁾ Там же, стр. 65.

и определенность в двусмысленное учение о противоречии пришлось отказать от абсолютного значения принципа противоречия. Наперекор вековой традиции пришлось признать, что противоречие в вещах может быть мыслимо, и что возможность эта отнюдь еще не означает разрушения или расстройтва логических связей мышления, как таковых. Парадоксальная судьба формальной логики состоит в том, что, чем строже и чем последовательнее пыталась эта логика провести свои собственные принципы, тем уже становилась сфера их применения, тем настоятельнее становилась необходимость допущения принципов, противоречащих основным устоям логического формализма.

Итак, формальная логика на последней стадии своего развития должна была признать, что противоречия в вещах, если не должно быть утверждаемо относительно наличной действительности, то, по крайней мере, может быть мыслимо гипотетически, относительно мира воображаемого. «Несомненно,—утверждает Н. Васильев, один из представителей рассматриваемого направления формальной логики,—несомненно, что мы можем мыслить противоречие»³⁾. Даже в тех случаях, «когда мы бракуем противоречие, мы мыслим его, иначе мы не могли бы его браковать»⁴⁾. А так как «мыслить можно только в суждениях», то для нас противоречие есть не всего лишь патологическое и внелогическое состояние мышления, но подлинная логическая «форма суждения, которую только мы бракуем, зная, что она невозможна для нашего мира»⁵⁾. Более того. Формальная логика на последнем этапе своего развития должна была признать, что устранение принципа противоречия ни в малейшей степени не ставит под угрозу возможность осуществления логической связи в суждении. Законы логической связи, например, законы вывода, силлогистика и т. д., остаются неприкосновенными даже в том случае, если онтологический принцип противоречия будет устранен. Возможна логика, не знающая принципа противоречия и, тем не менее, удовлетворяющая принципу имманентной внутренней связи, свободная от сампротиворечий. «Предположим,—говорит представитель современной формальной логики,—предположим, что в каком-нибудь мире не действителен закон противоречия. Чистогипотетически предположим мир, в котором вещи обладают тем свойством, что одни из них имеют один противоречащий предикат, суть А, другие имеют другой, противоречащий первому предикат, суть non-A, третьи же имеют и тот и другой, суть зараз А и non-A. Пусть одни предметы белы, другие не белы, третьи белы и не белы зараз. В этой третьей группе предметов осуществляется противоречие. Таким образом, при нашем предположении мы отбросили закон противоречия и допустили объективное существование противоречия (внешнее противоречие). Если мы, развивая это предположение, не впадем в противоречие с самими собой, избегнем субъективного, внутреннего противоречия, если мы сохраним возможность суждения и вывода, тогда мы сохраним логику»⁶⁾. Но именно так и обстоит дело! Современная формальная логика утверждает, что в «воображаемой логике» (т.-е. в логике, освобожденной от принципа противоречия) «устраняется закон противоречия, но не устраняется силлогистика, и этим доказывается независимость принципа силлогистики от закона противоречия»⁷⁾: для такой логики «остается в силе формальное правило нашей первой фигуры: большая посылка должна быть общей, малая—утвердительною»⁸⁾.

¹⁾ Там же, стр. 63.

²⁾ Там же.

³⁾ Там же.

⁴⁾ Там же, стр. 62—63.

⁵⁾ Там же, стр. 66.

⁶⁾ Там же, стр. 67.

Итак, современная логика стремится к известной эмансипации от закона противоречия. Она признает возможность опущения этого принципа без ущерба для формальной логики, как таковой.

Однако ни в коем случае не следует преувеличивать прогрессивное значение этих тенденций. Даже признавши гипотетическую возможность «внешнего», т. е., говоря нашими терминами, материального объективного противоречия, современная логика не желает расстаться со своими формалистическими учениями. Как раз напротив. Выдвигая различие формального «закона несампротиворечия» и материального «принципа противоречия», логика имеет целью именно последовательное проведение формалистического учения. Разделяя оба указанных значения закона противоречия, логика стремится не к утверждению реальности противоречия, но, напротив, к новому обоснованию и к новому перевооружению формализма, к распространению законов формальной логики на все без исключения связи мышления, независимо от предмета мышления и его эмпирических свойств. Более того. Именно изложенная дилекция формального и материального содержания закона противоречия должна, по замыслу ее авторов, доставить полное торжество логическому формализму, осуществить действительно строгое, точное и последовательное обоснование формальной логики. Такую логику, построенную независимо от эмпирического принципа противоречия, некоторые логики предложили назвать металогикой. «Металогика» не скрывает формалистической сущности своих задач. Представители «металогии» усиленно подчеркивают исключительно формальный характер ее построений. «Только металогика есть формальная наука логики, ибо только она отвлекается от всякого содержания мысли, от всего фактического, эмпирического...»¹⁾ «Металогика и есть логика, пригодная для каждого мира, как бы своеобразно ни было устройство объектов этого мира, ибо она заключает в себе только законы чистой мысли суждения и вывода вообще, отражает только природу познающего субъекта»²⁾.

Теперь не трудно оценить изложенное А. Варьяшем понимание логики. Предлагая различать в логике две основные функции: ограждение мышления от противоречий и методологическое руководство к изучению действительности в ее относительно стабильных состояниях, А. Варьяш, по существу, стоит целиком на точке зрения современных «металогистов». Предложенное им двойственное определение логики в точности воспроизводит дилекцию, на которой современный формализм надеется построить новую систему формальной логической науки. А. Варьяш целиком разделяет точку зрения, выдвинутую новейшим формализмом, не понимая, что эта точка зрения выдвинута не для ограничения прав формальной логики, но, наоборот, для империалистического расширения ее сферы, для победоносной экспансии формализма.

Поэтому развитие А. Варьяшем определение логики не только не может быть признано достижением диалектической логики, но, напротив, есть явный шаг назад. Скажем сильнее. Если по сути концепция А. Варьяша не подымается над уровнем современного логического формализма, то по форме она стоит значительно ниже. В то время как металогисты прекрасно понимают истинные цели своих логических тенденций и выражают их в ясной, отчетливой, недвусмысленной форме, А. Варьяш безна-

¹⁾ Там же. стр. 73.

²⁾ Там же.

дежно путает, не будучи в состоянии связать предметно-методологическую трактовку формальной логики с концепцией узко-формальной, согласно которой формальная логика есть лишь контрольная инстанция, удостоверяющая нас в отсутствии противоречий между посылками и выводами.

Нигде так ясно не обнаруживается антидиалектическая природа мышления А. Варьяша, как в этом органическом неумении связать предметную трактовку логики с трактовкой формальной. Взятые сами по себе, в отдельности, отвлеченно, сепаратно—определения логики, данные А. Варьяшем, — правильны. Верно, что даже формальная логика есть логика предмета, общее учение об объектах¹⁾. Также верно и то, что формальная логика есть критерий, определяющий наличие или отсутствия логической связи между посылками и выводами. Но как сочетать оба эти определения? В каком диалектическом отношении они находятся? Как следует себе представлять связь между предметно-методологической функцией логики и функцией формального контроля? В каком отношении стоит онтологический «закон противоречия» формальной логики к «закону несампротиворечия», гарантирующему связность и последовательность мышления? Каким образом возможно,—приняв оба определения логики, данные А. Варьяшем,—избежать учения о двух параллельных, самостоятельных и ничем между собой не связанных концепциях формальной логики? На все эти вопросы книга А. Варьяша не может дать ясного и удовлетворительного ответа. Указание диалектической связи—непосильная для А. Варьяша, чуждая для него задача.

А между тем связь эта легко может быть установлена и без гипотезы о двух системах логики. «Закон несампротиворечия» и «принцип противоречия» вовсе не суть два различных закона, принадлежащих двум системам формальной логики. Металогисты, — а вместе с ними и А. Варьяш,—совершают большую ошибку, когда они искусственно отрывают формальную функцию закона противоречия от его онтологического смысла. На самом деле формальная значимость «закона несампротиворечия» обусловлена предметным, онтологическим содержанием «принципа противоречия». Чисто-формальной, непредметной логики нет и быть не может. Такая логика есть неудачное изображение Канта и примакающих к нему формалистов. Проверка логической последовательности мышления, контроль над логической связью между посылками и выводами основаны на предметных категориях формальной логики. Все виды правильного силлогизма могут быть сведены к основной форме, которая состоит в том, что известный класс предметов включается в класс более обширный и все общие свойства предметов этого последнего переносятся на предметы первого. Относительно предметного происхождения и предметной значимости операций силлогизма не может быть никакого сомнения. Как бы ни были «формальны», общи и абстрактны правила, запрещающие делать выводы, не вытекающие с логической необходимостью из посылок,—однако правила эти все без исключения суть онтологические принципы, обусловленные определенным, хотя весьма общим онтологическим учением об объектах. Всякая мысль—предметна, есть мысль о некотором объекте, пусть даже самом фантастическом, мнимом, иллюзорном. Поэтому все правила, регулирующие связи между мыслями в рассуждении (а такими правилами и являются правила выводов), опираются на некоторое—весьма общее и абстрактное—учение об объектах, как об определенных, стабильных, устойчивых и тождественных комплексах свойств, качеств,

¹⁾ Впрочем, будучи правильным, определение это явно недостаточно и требует дополнительных исторических разъяснений, без наличия которых здесь возможны недоразумения.

признаков. Поэтому совершенно правы те логики, которые в так называемых «законах мышления формальной логики» видят не какие-то самобытные, чисто-логические правила связи между посылками и выводами, но прежде всего — онтологические принципы, выражающие учение об определенности бытия и его предметных свойств. Поэтому справедливо предлагали называть закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего не законами мышления, но «законами мыслимости», онтологическими «принципами определенности бытия» и т. п. В этом пункте формалист и металогист А. Варьяш стоит значительно ниже логических теорий современного онтологизма, идеал-реализма и подобных им течений буржуазной идеалистической логики.

Оторвав—в согласии с металогистами—нормативные функции формальной логики от их онтологического содержания, А. Варьяш закрыл себе доступ к правильному пониманию отношений формальной логики к логике диалектической. Если формальная логика—как в нормативном, так и в онтологическом содержании своих положений—есть логика предметов, рассматриваемых в их стабильности, тождественности, а диалектическая логика есть логика тех же предметов, рассматриваемых в их движении, становлении и развитии, в реальных противоречиях этого развития, то как следует представлять себе связь между этими обоими аспектами? При каких условиях, при каких обстоятельствах мы должны становиться на точку зрения формальной логики и при каких—на точку зрения логики диалектической? В чем следует полагать критерий, которым мы должны руководствоваться, переходя с позиции логики диалектической на позиции логики формальной и наоборот?

На эти вопросы, как и на предыдущие, книга А. Варьяша ответа не дает. Претенциозное обещание—«рассмотреть формальную логику в диалектическом развертывании ее категорий и выявить ее отношение к диалектике—автором не выполнено. Не имея возможности входить здесь во все подробности вопроса по существу, считая, однако, своим долгом отметить наиболее существенные проблемы концепции А. Варьяша. Из крайне сбивчивых, неясных и к тому же недостаточно обстоятельных рассуждений А. Варьяша об отношении формальной логики к диалектике можно заключить, что, по А. Варьяшу, формальная логика, во-первых, требует независимости своих основных законов (стр. 399), во-вторых, что ее принципы «представляют собой лишь выражение в положительной и отрицательной форме критерия формальной истинности» (стр. 399), и, наконец, в-третьих, «что формальные законы логики представляют собой предельный, абстрактный, в действительности нигде и никогда в точности не осуществимый случай других законов. Эти-то другие законы и являются основными законами диалектики» (стр. 399—400). Вот и все! Коротко, но неясно. В этих трех положениях попросту повторяется дуалистическое разграничение формальных нормативных и предметных функций логики и оставляется совершенно открытым основной, главный, принципиальный вопрос об условиях и о критерии перехода от категорий формальной логики к категориям диалектической.

Невыясненный А. Варьяшем переход от категорий диалектики к категориям формальной логики и обратно обусловлен предметной практикой, которая и включает в себе искомый критерий перехода. Заслуживает внимания, что А. Варьяш, который во множестве мест своего труда неустанно твердит о практике, эмпирии, забыл о ней именно здесь, в важнейшем вопросе об отношении логики формальной к диалектической!

В строгом теоретическом смысле истинна только логика диалектическая. Строго говоря, мышление о предметах всегда должно рассматривать эти предметы в их развитии, в движении через объективно принадлежащие им реальные противоречия. Строго говоря, отвлеченное тождество, стабиль-

ность, отсутствие противоречий нигде в бытии и в мышлении не могут быть усмотрены. Бытие диалектично, изменчиво, противоречиво. Так же диалектична, изменчива и противоречива мысль. Поэтому существует одна лишь логика—логика диалектическая. Более того. Даже в том случае, если бы можно было допустить, что тождество—в том содержании, в каком оно мыслит формальная логика—имеет место, то и тогда мышление об этом тождестве не могло бы осуществиться в границах одних формальных принципов. Нельзя мыслить тождества, не мысля в то же время и различия. Нельзя мыслить покоя, не мысля—в качестве его условия—движения. Поэтому многие современные логики совершенно основательно указывают, что формальная логика не в состоянии сформулировать свои принципы, не впадая при этом в противоречие с собственными же формулировками! Так, закон тождества—«А есть А»—в самой формуле своей отрицает тождество. Если первое А не тождественно второму, то закон этот, очевидно, нарушен. Если же одно А тождественно другому, то тогда не может быть двух А, между которыми устанавливается тождество. И в первом и во втором случае формула тождества—несостоятельна и противоречива. То же справедливо и о законе противоречия. Формула этого закона гласит: «А не есть поп-А». Положение это означает, что А не может быть совместимо с поп-А. Но эта формулировка также несостоятельна.

II¹⁾.

Итак, при строго-теоретическом анализе диалектической единственно истинной и допустимой формой логики является логика диалектическая. Однако, будучи неизменно диалектичным, бытие в своем движении и развитии не во всех точках, не на всех отрезках кривой своего движения представляет одинаковую степень напряжения диалектических противоречий. Будучи неизменно подвижным, изменчивым, противоречивым, бытие в целом ряде случаев обнаруживает относительную стабильность, относительную неизменность, относительную тождественность своих явлений. Так, климат северной части Европы в течение ближайших к нам по времени тысячелетий отличается сравнительно устойчивыми, постоянными свойствами, которые в своей совокупности дают основание отличать его от климата, напр., соответствующих широт Северной Америки. Темп изменения этого явления настолько медленный, что с известным правом, в известном отношении мы можем, не впадая в грубую погрешность, считать его—в границах ближайших тысячелетий—стабильным, а, следовательно, мыслить его в тождественном содержании его признаков, отбрасывать признаки, ему противоречащие и т. д. Но достаточно только расширить исторические рамки анализа, достаточно включить рассматриваемое явление в более широкую перспективу исторического изучения, включив в нее, напр., ледниковый период, и то, что мы условно принимали за стабильное, неизменное, тождественное, окажется подвижным, изменчивым, противоречивым.

Отсюда можно заключить, что различие между точками зрения формальной логики и диалектики не есть вовсе различие двух отдельных и самостоятельных наук, но прежде всего лишь различие двух масштабов диалектического исследования. Категории формальной логики могут и должны применяться там, где историческая перспектива, исторический

¹⁾ Редакция не согласна с некоторыми положениями (как, напр., об отношении формальной логики и практики и др.), развиваемыми автором в данной главе.

масштаб исследования настолько узок по отношению к совокупному развитию данного явления, что на данном отрезке кривой развития это явление можно условно, в известном смысле, рассматривать, как стабильное. Так называемая формальная логика есть логика частных, узких, ограниченных исторических перспектив—в отличие от диалектики, которая всегда охватывает весь процесс развития в целом, на всем протяжении его движения, во всех противоречивых тенденциях, которыми это движение направляется.

Однако сказанного недостаточно. Требуется еще выяснить—поскольку это возможно—в каких именно случаях исследование вынуждено сужать свои исторические горизонты, ограничивать свою историческую перспективу. Вот в этом-то пункте и выступает все значение практики, предметной деятельности, предметного опыта. Практика есть не только источник нашего знания, практика не только дает критерий достоверности и истинности знания. Практика также выдвигает и критерий, которым мы должны руководствоваться при решении вопроса об объеме исторических горизонтов, о границах исторического масштаба исследования, а следовательно, и о границах возможного применения формальной логики.

Уже из факта широкого распространения воззрений формальной логики можно вывести, что применение этой логики должно иметь какие-то опорные точки в практике, в предметном опыте человека. И действительно: с точки зрения практики далеко не всегда представляется необходимым учитывать изменчивость, подвижность, противоречивость явления. В огромном множестве случаев явление представляется для нас практический интерес не в тех своих связях, которые оказываются изменчивыми, но, напротив, в тех, которые являются относительно устойчивыми, тождественными, стабильными. Сюда относится прежде всего техническая практика, производственная, индустриальная деятельность. Человек есть животное, изготовляющее орудия. Но для того, чтобы быть пригодным к определенному действию, орудие должно обладать определенными свойствами, относительно тождественными, постоянными, устойчивыми. Так, топор может быть сделан из различных металлов, ружейка его также может быть сделана из дерева различных пород. Однако, как бы ни варирировались эти условия, существует известное относительно постоянное формы лезвия, рукоятки и т. д., необходимое для того, чтобы топор мог выполнять свое определенное назначение. Если бы топор был изготовлен из вещества текучего, гибкого, изменчивого, подвижного, то он не мог бы быть пригоден, как топор, т.-е. для рубки леса, для обтесывания деревьев и т. п. Конечно, и топор изменяется. Топор может быть сломан, его части могут изнашиваться и с течением времени выйти из употребления. Однако практическую ценность топор, как таковой¹⁾, представляет не в изношенном и не в разрушенном состоянии, но именно тогда, когда он пригоден к действию, т.-е. когда он имеет определенную, вытекающую из

¹⁾ Как совокупность материалов, вещь, машина, орудие представляют—в известных границах—практическую ценность и после того, как они вышли из употребления, перестали выполнять свое непосредственное назначение. Кладбище паровозов—место, где собраны, несомненно, полезные материалы в части машины: колеса, железо, сталь и т. п. Но с точки зрения технической пользы это уже—не паровозы, а лишь склад материалов. Как паровозы, эти предметы существуют и представляют практический интерес либо для историка техники, либо для поэта. См. прекрасное стихотворение Н. Ушакова «Кладбище паровозов» (Н. Ушаков, Весна республики, М. 1927 г., стр. 33—34).

его назначения и потому постоянную, устойчивую форму²⁾. Приведенный пример—типический. Значение его распространяется на все виды физического, материального труда. Наша логика в своей практической основе действительно есть «логика твердых тел». Метафизичность рассудка коренится не только в отвлеченном заблуждении мысли (подобный взгляд был бы попросту наивно-идеалистическим), но в условиях практической—технической—деятельности, которая, в свою очередь, есть непрерывное взаимодействие между материальной природой и производящим человеком. Поэтому метафизичность мысли неразрывно связана (конечно, не непосредственно, но через систему производственных отношений) с известными моментами материальной практики, представляет незаконное расширение всего лишь одной стороны, одной грани предметного опыта человека—той стороны, которая соответствует интересу, направленному на относительно стабильные связи вещей³⁾. По той же причине метафизичность мышления тесно связана с целесообразным характером производительного труда. По разъяснениям К. Маркса целесообразность труда выражается в том, что цель или задача, которую ставит перед собой работник, определяет весь способ его деятельности. Каждой трудовой задаче соответствуют не какие попола, но определенные, отграниченные от остальных и в этой отграниченности относительно постоянные, относительно устойчивые приемы, установки и способы осуществления. «В конце рабочего процесса,—говорит К. Маркс,—получается результат, который при начале этого процесса уже существовал в представлении работника, т.-е. в идеях». «В веществе, над которым он трудился, он осуществляет свою цель, которую он знает наперед, которая с принудительностью закона определяет способ его деятельности и которой он должен непрерывно подчинять свою волю»⁴⁾.

²⁾ Маркс в «Капитале» чрезвычайно выразительно подчеркивает консервативность, устойчивость, стабильность форм орудий производства. «До какой степени,—говорит Маркс,—старая форма производства господствует внешне над его новой формой, показывает, между прочим, даже самое поверхностное сравнение современного парового ткацкого станка со старым современным раздувальным инструментом на чугунолитейных заводах с первоначальным беспомощным механическим воспроизведением обыкновенного кузнечного меха, и, быть может, убедительнее, чем все остальное,—первая попытка построить локомотив, имевшая место до изобретения теперешних локомотивов: у него было в сущности две ноги, которые он попеременно поднимал, как лошадь. Только с дальнейшим развитием механики и с накоплением практического опыта форма машины начинает всецело определяться принципами механики и потому совершенно эмансипируется от старинной формы того орудия, которое теперь развивается в машину (Капитал, т. I, стр. 347). С другой стороны, Маркс отмечает, что технология котлыра не немногие группы основных форм движения, в которых неизменно движется вся производительная деятельность человеческого тела, как бы разнообразны ни были применяемые инструменты,—совершенно так же, как механика, несмотря на величайшую сложность машин, не обманывается на тот счет, что все они представляют постоянное повторение элементарных механических средств» (Маркс, Капитал, т. I, стр. 450).

³⁾ Достоин внимания, что эта стабилизация формы инструментов становится особенно характерной для техники производства с развитием мануфактуры. «Дифференцирование рабочих инструментов,—говорит Маркс,—благодаря которому инструменты одного и того же рода принимают прочные формы, особые для каждого особого их применения, их специализация, благодаря которой каждый такой обособленный инструмент в полной мере проявляет свою дееспособность лишь в руках специфического частичного работника,—таковы характерные особенности мануфактуры» (Капитал, т. I, стр. 306). Процесс, о котором говорит здесь Маркс, вполне соответствует образованию метафизического образа мышления и, несомненно, представляет одну из важнейших практических основ формально-логического воззрения.

⁴⁾ Подробнее эти мысли развиты мною в работе «Диалектический материализм и логика», Киев 1924 г., стр. 26—34. Превосходные рассуждения на ту же тему см. в книге Н. Перлина «Исторический материализм. Опыт методологического построения», Киев 1925 г., стр. 35—37.

Однако было бы ошибкой думать, будто относительная правомерность метафизической, т. е. формальной, логики имеет место только в деятельности технической, предметной в узком смысле слова. Правомерность эта распространяется на всю практическую деятельность человека, включая соды и практику социальную. Более того. Наиболее показательными примерами применения принципов и точек зрения формальной логики будут именно те случаи, когда логика эта применяется в опыте социальном, в практике социальной жизни. Именно здесь легче всего показать, что—при известных условиях и до известных границ—сама практика требует от нас рассуждения по законам и правилам формальной логики.

По общему справедливому признанию, социальная жизнь, как наиболее конкретная область бытия, насквозь диалектична. Ни в какой другой области развития: ни в развитии неорганической природы, ни в развитии природы органической—не выступает столь отчетливо диалектическая сущность бытия, как в области социальной жизни человека. Историческая изменчивость, развитие через реальные противоречия, единство и взаимопроникновение противоречий, взаимная связность всех сторон, революционные скачки, переходы качества в количество и количества в качество,—все эти и еще многие иные диалектические закономерности проявляются в социально-историческом процессе наиболее полно, с наибольшей степенью напряжения, с наибольшей дифференцированностью, в наибольшем богатстве и многообразии форм. Социальное—истинная сфера диалектики, наиболее широкое и глубокое поле ее применения. Никакой другой предмет не предъявляет исследователю таких высоких требований—диалектического мастерства, умения диалектически действовать и правильно вскрывать, анализировать и отображать в научных понятиях объективную диалектику социального процесса.

Но в то же время социальная жизнь—во всем ее составе и на всех этапах ее развития—есть область непрерывной практики, непрерывного действия. Диалектика общественно-исторической жизни есть диалектика социальной активности, социального поведения. История—не смена состояний, но последовательность действий. Люди сами делают свою историю, не «переживают» (хотя и переживают), не «созерцают» (хотя есть и такие, что «созерцают»), но именно делают. Но всякое действие, всякий акт требуют определенности, отличия и отграничения от всевозможных иных действий и актов. Не может быть «действия вообще», а только определенное, данное действие. Не может быть «классовой борьбы вообще», но лишь борьба определенных классов в данной, исторически сложившейся и определенной обстановке.

Вот на этой-то определенности, конкретности социального опыта, социальной практики и основана возможность и даже—в известных пределах—необходимость применения законов формальной логики: законов тождества, противоречия, исключенного третьего. Там, где мы должны принять практическое решение, осуществить практическое действие, часто не может и не должно быть места никаким колебаниям, никакой неопределенности. Нельзя одному человеку выйти из комнаты, в которой он находится, сразу через две двери. Здесь приходится действовать согласно формуле закона исключенного третьего: или—или. Третье решение здесь невозможно.

Сказанное справедливо не только в таких элементарных случаях, как только что приведенный. В социальной практике точку зрения формальной логики приходится применять на каждом шагу, даже в самых сложных случаях, выражающих наиболее обостренную и четко выявленную диалектику социальной классовой борьбы. Приведу один только пример,—замечательный,—из работ В. И. Ленина.

В начале 1906 г. в нашей революционной печати—в связи с опытом декабрьского восстания—усиленно обсуждался вопрос о дальнейшей тактике революционной борьбы. Подготавливался партийный съезд (Стокгольмский, в апреле 1906 г.), который должен был разработать тактическую платформу на ближайший период классовой борьбы. Основным вопросом, который предстояло решить, был вопрос о том, на какой стадии развития находится русская революция и каковы должны быть практические выводы из этого анализа. И вот, дебатировав этот вопрос в статье «Русская революция и задачи пролетариата» (в «Партийных Известиях», № 2 от 20 марта 1906 г.), Ленин настойчиво подчеркивает, что так как в данном случае обсуждается вопрос о будущей тактической платформе и так как основами этой платформы будет определяться вся практика ближайшей борьбы, то искомое решение должно быть совершенно определенным и последовательным. Предстоящий съезд,—говорит В. И. Ленин,—должен в первую голову решить этот вопрос самым ясным и недвусмысленным образом...¹⁾ «Тот или иной последовательный и цельный ответ на поставленный вопрос предрешает все частности социал-демократической тактической платформы»²⁾. И вслед за этими строками Ленин начинает замечательное рассуждение, цель которого—показать, что в данном вопросе может быть только два—взаимно друг друга исключаящих, во всем друг другу противоположных—решения:

«Или—или.

Или мы признаем, что в настоящее время «о действительной революции не может быть и речи». Тогда мы должны прямо и самым решительным образом во всеуслышание заявить это, чтобы не вводить в заблуждение ни самих себя, ни пролетариат, ни народ. Тогда мы должны безусловно отвергнуть, как непосредственную задачу пролетариата, доведение до конца демократической революции. Тогда мы обязаны совершенно снять с очереди вопрос о восстании, прекратить всякие работы по вооружению и организации боевых дружин, ибо играть в восстание недостойно рабочей партии. Тогда мы должны признать исчерпанными силы революционной демократии и поставить своей непосредственной задачей поддержку тех или иных слоев либеральной демократии как реальной оппозиционной силы при конституционном режиме. Тогда мы должны рассматривать Гос. Думу как парламент, хотя бы и худой, участвовать не только в выборах, но и в самой Думе. Тогда мы должны на первый план выдвинуть легализацию партии, соответственное изменение партийной программы, приспособление к «законным рамкам» всей работы или, по крайней мере, отведение нелегальной работе минимального и подчиненного места. Тогда задачу организации профессиональных союзов мы можем признать такой же первоочередной партийной задачей, какой было в предыдущий исторический период вооруженное восстание. Тогда мы должны также снять с очереди и революционные лозунги крестьянского движения (в роде конфискация помещичьих земель), ибо такие лозунги суть практические лозунги восстания, а звать к восстанию, не готовясь к нему серьезно военным образом, не веря в него, было бы недостойной игрой в восстание...

Или мы признаем,—продолжает В. И. Ленин,—что в настоящее время о действительной революции может и должна быть речь. Мы признаем новые и высшие формы непосредственно-революционной борьбы неизбежными или, по крайней мере, наиболее вероятными. Тогда главной политической задачей пролетариата, нервом всей его работы, душой всей его организационной классовой деятельности должно быть доведение до конца демократической революции. Всякие отговорки от этой задачи были бы

¹⁾ В. И. Ленин, Собр. соч., т. VII, ч. 1, стр. 78. Курсив мой. В. А.

²⁾ Там же, стр. 78—79. Курсив мой. В. А.

тогда лишь понижением понятий классовой борьбы до брентановского толкования ее, были бы превращением пролетариата в прихвостня либеральной монархической буржуазии. Тогда самой насущной и центральной политической задачей партии является подготовка сил и организации пролетариата к вооруженному восстанию, как высшей достигнутой движением формы борьбы. Тогда обязательно критически изучить, в самых непосредственных практических целях, весь опыт декабрьского восстания. Тогда надо удешевить усилия по организации боевых дружин и вооружению их. Тогда надо готовиться к восстанию и посредством партизанских боевых выступлений, ибо смешно было бы «готовиться» посредством одних только записей и регистраций. Тогда надо считать гражданскую войну объявленной и продолжающейся, при чем вся деятельность партии должна быть подчинена принципу: «война, то по-военному». Тогда восстание кадров пролетариата для наступательных военных действий безусловно необходимо. Тогда бросание революционных лозунгов в крестьянскую массу логично и последовательно¹⁾... «Думу мы признаем тогда не парламентом, а полицейской канцелярией, и отвергаем какое бы то ни было участие в комедиантских выборах, как развращающее и дезорганизующее пролетариат. В основу организации партии рабочего класса мы ставим тогда (как Маркс ставил в 1849 году) «сильную тайную организацию», которая должна иметь особый аппарат «открытых выступлений», просовывать особые шупальцы во все легальные общества и учреждения, начиная с профессиональных рабочих союзов и кончая подзаконной печатью»²⁾. В заключении этого анализа В. И. Ленин резюмирует все изложенное следующим образом: «Коротко говоря: Либо мы должны признать демократическую революцию оконченной, снять с очереди вопрос о восстании и стать на «конституционный» путь. Либо мы признаем демократическую революцию продолжающейся, ставим на первый план задачу завершения ее, развиваем и применяем на деле лозунг восстания, провозглашаем гражданскую войну и клеймим беспощадно всякие конституционные иллюзии»³⁾.

Приведенный пример как нельзя лучше подтверждает развиваемый взгляд на отношение формальной логики к диалектике, на условия и на пределы применения формально-логических точек зрения в социальной действительности. Совершенно очевидно, что в приведенном рассуждении о возможных тактических путях русской революции В. И. Ленин ведет свое рассуждение по всем правилам формальной логики, в частности—согласно закону исключенного третьего: или — или, либо — либо. Чем объясняется возможность и необходимость применения здесь точки зрения формальной логики? До каких пределов это применение простирается? Значит ли эта необходимость рассуждения по правилам формальной логики, что в данном рассуждении диалектике нет места?

Ответить на все эти вопросы не трудно, если учесть, что в данном случае обсуждается проблема практическая, проблема социальной практики, классового действия, классового поведения. Именно потому, что в данном случае речь идет о решении, которое необходимо принять, о действии, которое нужно выполнить,—требуется полная определенность а следовательно, и самое решение и все вытекающие из него последствия должны соответствовать нормам формальной логики: закону противоречия, закону исключенного третьего и т. д. Совершенно ясно, что было бы нелепостью и недопустимым тактическим промахом, если бы партия, приняв одно из двух возможных в данном вопросе

¹⁾ Там же, стр. 79—80.

²⁾ Там же, стр. 80.

³⁾ Там же, стр. 80—81.

в данном случае решений, стала бы в своей практике осуществлять, помимо тех мер, которые из него необходимо вытекают, одновременно также и противоположные меры, вытекающие из решений противоположного. Подобный образ действий отнюдь нельзя было бы назвать диалектическим, так как в данном случае, на данном этапе движения диалектика как раз в том и состоит, чтобы неуклонно и последовательно придерживаться всех выводов, следующих из принятого решения, отменяя все противоположные, с ним в разрез идущие действия и методы.

И, наоборот, ошибка позиции, занятой Л. Троцким, при Брестских переговорах о мире как раз и заключается в том, что Л. Троцкий предлагал противоречивое разрешение практической проблемы, которая—на данном историческом этапе и при данной конкретной обстановке—требовала, напротив, точного, определенного, недвусмысленного и непротиворечивого ответа. Решение, предложенное Л. Троцким, формально могло некоторым казаться более «диалектическим». Формула: «ни воевать, ни мира не заключать» при поверхностном подходе могла показаться более диалектичной, лучше выражающей диалектическое противоречие момента. Однако практика ближайших же недель показала, что мнимодиалектическое решение, предложенное Л. Троцким, было несостоятельно. Пролетарскому государству дорого стоили эти недели. Исторический опыт показал, что и в данном случае практическое решение проблемы должно было осуществляться по формуле «или—или».

Следует ли отсюда, что в социальной практике применению диалектики нет места?—Ни в малейшей степени. Подобное заключение было бы попросту чудовищным. Именно приведенные мною примеры, думается, проливают свет на вопрос об отношении формальной логики к диалектике в социальной практике. В обоих указанных случаях следует различать между определенным практическим решением и между основанием, из которого это решение—со всеми дальнейшими следствиями—вытекает. Поставив вопрос: считать ли революцию на данном историческом этапе (начало 1906 г.) законченной, В. И. Ленин мог выбрать только между двумя решениями, друг друга исключаящими. Отсюда—формально-логическое рассуждение: «или — или». Но для того, чтобы принять то или иное из двух возможных решений, надо было произвести диалектический анализ всей обстановки; учесть точнейшим образом общее положение в стране, соотношение борющихся классовых сил, тенденции дальнейшего развития борьбы, изучить все противоречивые факты этой борьбы, все ее наличные связи и перспективу дальнейшего движения. Точно то же справедливо и относительно Брестских переговоров. В конкретной обстановке того момента не могло быть третьего выхода: либо продолжение войны, либо немедленное заключение мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, выбирая последнее, Ленин руководился уже, конечно, не формально-логическими схемами: «война есть война», «мир есть мир», но точнейшим диалектическим учетом реальных противоречий, расшатывавших мощь германского империализма, анализом не только данного момента, но и тенденции его дальнейшего развития, предвидением близких по времени результатов всего процесса в целом. Короче говоря: формально-логическое—по отношению к практике ближайшего, непосредственно следующего исторического этапа—решение Ленина было диалектическим—по отношению ко всей практике в целом, по отношению к более широкому масштабу мировой борьбы пролетариата с буржуазией.

Из изложенного видно, что практика действительно дает критерий, которым следует руководствоваться при переходе от мышления диалектического к мышлению формально-логическому и обратно. Сказанное не значит, конечно, что диалектика есть точка зрения теории, а формальная логика—точка зрения практики. Сказанное значит только то, что практике принадлежит решающее значение как в том случае, когда мы должны рассматривать процессы под углом зрения диалектики, так и в том, когда мы должны применить точку зрения логики формальной. При этом в целом критерий практики всегда есть критерий диалектический и применение законов формальной логики обусловлено лишь диалектической необходимостью обеспечить—на известных временных этапах развития—определенность действия. Отсюда следует, что существует лишь одна логика—диалектическая, по отношению к которой формальная логика есть лишь частный случай ее применения. А именно: формальная логика есть логика узких горизонтов, малых масштабов практики, в то время как логика диалектическая есть логика, рассматривающая процесс развития в целом, на всем протяжении, во всех связях. Отсюда также следует, что формальная логика вовсе не есть, как это утверждает А. Варьяш, всего лишь контрольная инстанция, удовлетворяющая отсутствию противоречий между посылками и выводами. Определение А. Варьяша само по себе верно, но совершенно недостаточно, ибо в нем игнорируется предметное, онтологическое содержание формальной логики. На самом деле функции формального контроля, выполняемые формальной логикой,—не автономны, но опираются на ее онтологическое содержание, представляют частный, хотя и весьма абстрактный по форме, случай конкретности, определенности бытия, его относительной стабильности. Представлю совокупность точек зрения, которыми руководится мышление при изучении предметов в их относительно устойчивых, определенных свойствах, формальная логика неразрывно связана с диалектикой. Связь эта осуществляется и определяется практикой, всей совокупностью социального и технического опыта общественного человека. Именно практика—и только она одна—может указать, в каких случаях и до каких пределов мы должны применять правила мышления формальной логики.

Нет нужды раз'яснять, что, как критерий переходов с позиций диалектики на позиции формальной логики, практика есть критерий, достаточно гибкий, подвижный, в известном смысле и в известных пределах—неопределенный. Требовать здесь абсолютной точности и определенности было бы так же неосновательно, как требовать абсолютного критерия при испытании достоверности нашего знания. Наша методология—не аптека, изготавливающая потовые и неизменные рецепты, но руководство к действию, которое отражает всю конкретную сложность, гибкость и переменчивость ее условий и задач.

К сожалению, все эти вопросы не получили достаточно ясного и точного ответа в книге А. Варьяша¹⁾. Автор оказался не в силах связать примененные диалектики и формальной логики с практикой, с различием прак-

¹⁾ Обсуждая формальный закон противоречия, А. Варьяш замечает, что если этот закон «не выполняется, то результат не может быть верным, если же выполняется, то это еще не означает, что он верен. Об этом судят окончательно практика, эксперимент и наблюдение» (стр. 374. Курсив А. Варьяша). Хотя здесь А. Варьяш говорит о практике, однако лишь в том давно установленном и общеизвестном смысле, согласно которому практика есть критерий достоверности знания, последняя инстанция его проверки. А. Варьяш повторяет здесь заду. Но дело идет не только о критерии проверки. Речь идет о том, чтобы выдвинуть критерий, которым следует руководствоваться—в самом процессе исследования—при переходе от диалектической концепции к формальной и наоборот. Речь идет о том, чтобы получить руководящее значение практики именно при этих переходах. Но об этом А. Варьяш совершенно умалчивает.

тических установок, вопросов, масштабов и задач. Не подлежит сомнению, что этот пробел—не случайный и стоит в тесной связи с непреодоленным формализмом, столь характерным для всей логической концепции А. Варьяша.

III.

Одно из лучших доказательств логического формализма А. Варьяша представляет развитая им трактовка противоречия. Проблема противоречия всегда была оселком, на котором испытывается подлинность диалектических построений. Никакая диалектическая концепция не может быть ясной, если в ней нет ясного недвусмысленного учения о противоречии, и никакая диалектическая теория не может быть признана подлинно диалектической, если формализм не преодолен в ней именно в учении о противоречии. Но ни одному из этих условий логика А. Варьяша не удовлетворяет. Учение А. Варьяша о противоречии страдает одновременно и неясностью и формализмом. О неясности говорить не стану, так как неясностью отличается все вообще, что пишет А. Варьяш. А вот о формализме поговорить следует.

Формализм развитого А. Варьяшем учения о противоречии состоит в том, что А. Варьяш уничтожает категорию контрадикторного противоречия и провозглашает, что все противоречия сводятся к противоречиям контрарным. Взгляд этот развит А. Варьяшем в главе об отрицании отрицания. Под контрарным отношением А. Варьяш понимает «то отношение, в котором расположены крайние члены одного ряда» (стр. 452), напр, красный и фиолетовый цвет в спектре. Напротив, контрадикторное отношение есть то отношение, в котором члены его не стоят в одном ряду, но взаимно исключают друг друга, так что между ними не может быть перехода, например—понятия «А» и «не-А». «При контрарных противоположностях,—пишет А. Варьяш,—имеется закон перехода из одной крайности в другую, а между а и не-а такого перехода нет» (стр. 452). Основная мысль А. Варьяша состоит в утверждении, что все «крайности» суть в то же время и «противоположности». «Только узко-формальное мышление,—утверждает А. Варьяш,—может настаивать на том голом отрицательном отношении, по которому крайности не представляют собой противоположностей» (стр. 452). Если, например, по мнению формалистов, капитализм и коммунизм «относятся друг к другу как а и не-а, то, конечно, перехода нет. Однако,—продолжает А. Варьяш,—опыт опровергает их изо дня в день, подтверждая, что все действительные противоположности контрарны, а не контрадикторны» (стр. 452).

Нельзя не удивиться путанице понятий, которые нагромоздил здесь А. Варьяш! Во всем этом отрывке напрасно стали бы мы искать соблюдения самых элементарных правил логической сообразности. Из логических ошибок этого рассуждения укажем одну. Возражая формалистам, А. Варьяш отклоняет положение, будто «крайности не представляют собой противоположностей», а затем делает отсюда тот вывод, «что все действительные противоположности контрарны, а не контрадикторны». Но вывод этот оставляет совершенно открытым вопрос о противоположности контрадикторной! Совершенно очевидно, что, согласившись с тем, что крайности суть противоположности, мы, на основании этого положения, не в праве еще делать никаких заключений о контрадикторной противоположности. На самом деле здесь не с чем и соглашаться. Все это рассуждение А. Варьяша—чистейшая тавтология, пустое и бессодержательное повторение той беспспорной истины, что реальные противоположности суть реальные противоположности. Ничего больше тезис А. Варьяша не заключает. Вместо того, чтобы показать, как относится диалектика к традиционному учению о раз-

личии конрадикторной и конрарной противоположности, А. Варьяш доказывает, что все «крайности» суть в то же время «противоположности». Но доказывать это — значит просто ломиться в открытую дверь! Для того, чтобы доказывать это, вовсе не нужно быть диалектиком. Здесь мы попадаем в самое уязвимое место «логики» А. Варьяша. То обстоятельство, что вопрос о различии конрадикторной и конрарной противоположности Варьяш подменил простой тавтологией, бессодержательным отождествлением крайностей с противоположностями, чрезвычайно характерно для его логической концепции. Подмена эта равносильна отказу от диалектического разрешения вопроса о противоречии. Отказывается же от разрешения этого вопроса А. Варьяш по той простой причине, что он — только на словах диалектик, на деле же — механист и формалист метафизического уклона. По той же самой причине А. Варьяш так упорно топчется на одном месте, развивая теорию конрарных противоположностей, разъясняя, что «секущая и касательная, скорость и ускорение, энергия кинетическая и потенциальная — все они существуют и переходят друг в друга» (стр. 452. Курсив А. Варьяша), утверждая, что «при конрарных противоположностях имеется закон перехода из одной крайности в другую» (стр. 452) и т. д. Все эти положения — совершенно правильны, но не они одни характеризуют диалектическое понимание противоречия. Если мы ограничимся утверждением, что все действительные противоположности — конрарны, а не конрадикторны, то против этого тезиса не станет спорить ни один формалист, ни один механист, как бы отрицательно они ни относились к диалектике. Положение, что реальные противоположности конрарны, вполне приемлемо для всех формалистов, для механистов всех мастей и оттенков. Идея свести противоречие к одной лишь противоположности направленных друг против друга сил вполне отвечает интересам и нормам механистического мировоззрения, не заключает в себе никакого специфического для диалектики содержания.

Справедливость сказанного подтверждается всей историей учения о противоречии. На учении о конрарной противоположности построена вся натурфилософия Канта, натурфилософия, опиравшаяся на механистическую физику Ньютона и в основе своей тоже механистическая. Усиленно подчеркивая, что реальная противоположность возможна и имеет самое широкое распространение в природе: неорганической и органической, Кант, конечно, подрывал в известной мере авторитет формальной логики, вновь ставил на очередь проблему противоречия, позабытую, оставшуюся в тени со времени диалектических трактатов философов Возрождения. Однако не следует ни на минуту забывать, что, сужая в известной мере сферу применения формального закона противоречия, Кант в то же время стремился обеспечить ему неограниченное, абсолютное значение в сфере противоположностей конрадикторных. Именно к этой цели и направлены все усилия Канта в знаменитом «Опыте введения в философию понятия об отрицательных величинах», а также в «Критике чистого разума» и в лекциях по логике. И именно для достижения этой цели Кант и настаивал на тщательном различии двух видов противоположностей. Поэтому учение Канта о конрарной противоположности целиком отвечает формально-логическим тенденциям и предассудкам логики Канта и, само по себе взятое, не только не заключает в себе ничего диалектического, но прямо

враждебно всякой диалектике¹⁾. По той же причине и все после-кантовские формалисты всегда охотно признавали, что реальные противоположности — конрарны, а не конрадикторны, и на этом признании строили все свои возражения против диалектики. Так поступал Евгений Дюринг, так в наше время поступал Уильям Джемс. Так поступает и стыдливый (так ли уж стыдливый?) механист и формалист А. Варьяш. Действительно серьезный и важный для диалектики вопрос — об отношении конрарной противоположности к конрадикторной — А. Варьяш просто снимает с обсуждения, делая при этом вид, что вопрос этот обсуждается по существу, и выдавая свои тавтологические тирады о конрарной противоположности за подлинную диалектику.

Но подлинная диалектика не такова. Для истинно-диалектического разрешения недостаточно еще одного утверждения, что реальные противоположности переходят друг в друга. Подлинная диалектика имеет место только в том случае, если формализм преодолен в самой главной и в последней его твердыне — в сфере противоположностей конрадикторных. Подлинная диалектика требует, чтобы закон или, вернее, запрет противоречия был отменен именно в сфере конрадикторного противоречия. Только в том случае, если мы признаем, что один и тот же предмет, рассматриваемый в одно и то же время и в одном и том же отношении, может обладать конрадикторными определениями, быть сразу *a* и *не-а*, — только в этом последнем случае мы имеем дело с подлинной диалектикой, а не с ее формалистическим суррогатом. Поэтому борьба противоположных сил вовсе не единственная область, в которой имеет место противоречие. Диалектическое противоречие должно быть мыслимо не только там, где имеется борьба противоположных сил. Диалектичными должны быть все определения мысли, все понятия, независимо от того, имеют ли они предметом борьбу противоположных сил или покой, или какую-либо иную область бытия. То взаимопроникновение противоположностей, которое, по верным замечаниям Ленина, представляет основной закон диалектики, ни в коем случае не может быть отождествляемо с одной лишь механистической борьбой противоположных сил. Единство противоположностей не сводится к механической модели осмоса или диффузии газов через перегородку. Подобное сведение типично раз для механистичности и в корне антидиалектично. Оно предполагает, что противоположно направленные силы остаются внешними одна относительно другой. Оно антидиалектично, ибо, допуская возможность конрарной противоположности, не решает ее, допуская возможность противоположности конрадикторной.

А между тем в этом все дело. Задача диалектика не в том, чтобы показать, что все действительные противоположности конрарны, а не конрадикторны. Задача диалектика в том, чтобы показать, что и конрадикторная противоположность — вопреки учению формальной логики — может и должна быть мыслима. Когда диалектическое исследование утверждает, что движение — противоречиво, что о движущемся предмете приходится утверждать сразу, что он движется и не движется, то противоречие, которое здесь мыслится, конрадикторно и не сводится ни к превращению одной противоположности в другую, ни к внешней механической борьбе противоположностей. Чтобы мыслить движение, необходимо мыслить, что предмет одновременно покоится и не покоится, и движется и не движется. Иными словами, необходимо признать, что в диалектической сфере закон противоречия неприменим, не имеет места именно как закон, запрещающий мышление конрадикторной противоположности. В рассматриваемом случае противоречие состоит не в том, что одна «крайность» переходит в другую «противополож-

¹⁾ Это положение подробно развито мною в работе «Диалектика Канта», М. 1929 г., изд. Комм. Акад., стр. 163.

ную», не в том, что «сначала» покой, а «потом» движение, но именно в том, что относительно движущегося тела приходится одновременно, сразу, в одном и том же отношении утверждать как то, что оно — в каждой точке своего пути — движется, так и то, что оно — в каждой точке этого движения — покоится. Здесь, несомненно, противоречивое, но тем не менее необходимое, в диалектике самого бытия укорененное и потому неизбежное, подлинное диалектическое противоречие, о котором можно, словами Ленина, сказать: парадоксально, противоречиво, но факт!

Но это — единственно диалектическое — понимание противоречия абсолютно недоступно А. Варьяшу. Насколько далек А. Варьяш от действительно диалектической концепции противоречия, лучше всего видно из предложенной им «критики» парадоксов Зенона. Поистине замечательное зрелище представляет эта «критика»! Вместе с тем критика эта — хороший пример того качества А. Варьяша, которое я назвал бы «философской демагогией», искусством посыпать диалектической солью механические и формалистические блуды.

А. Варьяш не может и не решается открыто выступить против диалектики, против метода Энгельса, против логики Ленина. Философская дискуссия, непрерывная борьба, которую диалектики вот уже несколько лет ведут против наших лжемарксистских позитивистов, разоблачения истинной природы механистической философии, опубликование философских рукописей Ленина, — все эти факты давно уже сделали невозможным открытое, прямое выступление механистов против диалектики. Им осталось одно: с диалектическими формулами на устах протаскивать механистическое добро контрбандой.

К несчастью А. Варьяш контрабандист — не из особенно удачных. Данный им «анализ» противоречия блестяще это подтверждает. Тактическая осторожность заставляет А. Варьяша надеть диалектическую личину. «Тело, — заявляет А. Варьяш, — в своем движении и «находится» на месте а во время t , и не находится там» (стр. 380). Однако этим тезисом «диалектика» исчерпывается. Тотчас же вслед за этим положением А. Варьяш развивает «анализ», цель которого — уничтожить, устранить то противоречие, которое составляет диалектический нерв гениальных аргументов Зенона. Сущность «критики» А. Варьяша сводится к указанию, что аргумент «Ахиллес» основывается на ложном предположении нахождения движущегося тела в каждый момент времени в определенной точке пути, при чем момент времени понимается как малое, но конечное время. В действительности, — разъясняет А. Варьяш, — не точка соответствует времени Δ а путь ΔS . При постоянном убывании пройденного пути постоянно убывает и затраченное на него время, их отношение может быть вполне определенно и может стремиться к определенному конечному значению, когда как ΔS , так и Δt близятся к нулю. Зенон упустил из виду, что ΔS и Δt не независимы друг от друга.

Поэтому, — заявляет дальше А. Варьяш, — логическое положение, что два противоречащих предложения не могут быть одновременно верны, есть предельный случай тех положений, когда они оба верны. Именно отношение предела снимает их противоречие» (стр. 381. Курсив А. Варьяша).

Итак, А. Варьяш исправляет аргументы Зенона при помощи математического понятия о пределе, а также при помощи указания «ошибки» Зенона, который не заметил, что постоянно убывает не только пройденный телом путь, но и затраченное на этот путь время. Зенон делил путь, не замечая той простой истины, что длина пути не независима от промежутка времени и что время также делимо.

К сожалению, «поправки» А. Варьяша — не новы и отнюдь не представляют его оригинального изобретения. Критика аргументов Зенона, изложения А. Варьяшем, была в основе развита... Аристотелем! В своей «Физике» основатель формальной логики писал следующее: «...рассуждение Зенона принимает ложную посылку, будто невозможно в конечное время пройти бесконечное или овладеть каждой из бесконечного числа частей. Дело в том, что длина, время и вообще все непрерывное называется бесконечным в двух значениях: или в отношении деления, или относительно своих границ. И вот бесконечным по величине нельзя овладеть в конечное время, бесконечным же по делению можно. Ибо и самое время бесконечно в этом смысле. Таким образом оказывается, что бесконечное (пространство) проходит в бесконечное, а не в конечное (время) и бесконечным (числом частей пространства) овладевают в бесконечное, а не конечное (число частей времени)»¹⁾.

Однако, воспользовавшись возражением Аристотеля, Варьяш ни словом не обмолвился об истинной цели этого возражения. А между тем смысл замечаний Аристотеля, тенденция и целевая их задача — совершенно ясны. Состоит эта цель в стремлении Аристотеля ограждать формально-логический метафизический закон противоречия от тех ударов, которые ему наносили глубокие, по сути диалектические, аргументы Зенона. Вся аристотелевская критика аргументов Зенона основана на предпосылке абсолютной значимости формального принципа противоречия. Аристотелевские возражения Зенону преследуют интересы не диалектики, но, напротив, формальной логики, основанной на метафизической концепции противоречия.

Поэтому подлинно-диалектические мыслители, или хотя бы даже приближавшиеся к диалектике, никогда не могли удовлетвориться возражениями Аристотеля, никогда не могли признать их отвечающими существу проблемы. Уже знаменитый скептик Пьер Бейль считал критику Аристотеля несостоятельной, а рассуждения Зенона, напротив, — правильными²⁾. Не более состоятельна и ссылка на понятие предела, при помощи которой А. Варьяш «опровергает» Зенона. Ссылка эта — тоже не оригинальна и восходит к Декарту. Однако — как правильно замечает по этому поводу проф. А. Маковельский — уже Брошар доказал, что этот усвоенный математиками способ опровержения «заключает в себе логическую ошибку $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}\beta\alpha\sigma\iota\varsigma\ \epsilon\iota\varsigma\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\ \gamma\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$: решает иную проблему, а не та, которая поставлена»³⁾. А именно: «Спрашивается, каким образом бесконечный ряд $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ достигает конечной величины 1 и каким образом расстояние между черепахой и Ахиллесом становится равным нулю»⁴⁾.

Замечательно, что лучшие математики нашего времени вынуждены были признать, что критика Аристотеля несостоятельна, что она покоится на явном непонимании точного смысла аргументов Зенона, которые действи-

¹⁾ Arist. phys. Z 9. 239^a 9 (2.231^a21): «... διὸ καὶ ὁ Ζήνωνος λόγος ψεύδος λαμβάνει τὸ μὴ ἐδέχασθαι τὰ ἀπείρα διελθεῖν ἢ ἀφ᾽ αὐτῶν καθ' ἑκάστον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, διότι γὰρ λέγεται καὶ τὸ μικρὸν καὶ ὁ χρόνος ἀπείρων, καὶ ὅπως πάν τὸ συνε χῆς, ἤτοι κατὰ διαίρεσιν ἢ τοῖς ἐστίμοις. τῶν μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἀπείρων, οὐκ ἐδέχεται ἀφ᾽ αὐτῶν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, τῶν δὲ κατὰ διαίρεσιν ἐδέχεται καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ χρόνος οὕτως ἀπείρων. ὥστε ἐν τοῖς ἀπείροις καὶ οὐκ ἐν τοῖς πεπερασμένοις συμβαίνει διελθεῖν τὸ ἀπείρων, καὶ ἀπεῖσθαι τῶν ἀπείρων τοῖς ἀπείροις, οὐ τοῖς πεπερασμένοις».

²⁾ Pierre Bayle, Dictionnaire, IV, Sixième édition, 1741, p. 536—546.

³⁾ А. Маковельский, Дсократики, II, 1915 г., стр. 68.

⁴⁾ Там же.

тельно вскрывают неизбежную, в самом бытии укорененную противоречивость понятий движения, времени, пространства и множества. Так, Вейерштрасс доказал антитезу диалектического учения о движении: проанализировав аргумент Зенона, известный под названием «летающая стрела», Вейерштрасс устанавливает, что Зенон прав, и что летящая стрела в каждый момент своего движения действительно должна быть мыслима, как находящаяся в покое. И если только не делать из этого аргумента элейских выводов—о неподвижности и неизменяемости мира,—то рассуждения Вейерштрасса (и Зенона),—как антитезис положения о движении,—конечно, правильны. Поэтому и Рессель утверждает, что охаянные формалистами, объявленные «софизмами» аргументы Зенона оказались ферментами новейшего возрождения математики¹⁾. Замечательно, что даже Евгений Дюринг, которого так основательно разгромил Энгельс, понимает все же ошибочность аристотелевской критики. Даже он находит, что опровержение Аристотеля бьет не по цели и основано на отсутствии правильного представления о самом смысле аргументов Зенона²⁾.

И, наоборот: с возражениями Аристотеля всегда охотно соглашались представители формальной логики, механисты и позитивисты самых различных толков. Так, аргументацию Аристотеля поддерживал механистический материалист Гоббс. В XIX в. к аристотелевской критике примкнул виднейший лидер позитивизма—Дж. Ст. Милль. Рассуждения Милля представляют для нас огромный интерес, так как в них с поразительной ясностью обнаруживается прямая и неразрывная связь между критикой Аристотеля и формалистической сущностью его логики. Со свойственной ему ясностью и откровенностью (ни в какой степени не свойственными А. Варьяшу) Милль обсуждает аргументацию Зенона с точки зрения ее последствий для формалистического закона (запрета) противоречия. Милль потому и соглашается с критикой Аристотеля, что в противном случае, т.е. в случае, если бы он признал правильными аргументы Зенона, ему пришлось бы вместе с тем отказаться и от закона противоречия формальной логики, признать такую область, где этот закон недействителен. «Если движение,—рассуждает Милль,—включает в себе противоречие, то каким образом оно возможно? А если оно возможно и есть факт, каким мы его знаем, то каким образом оно может заключать в себе противоречие? Действительность противоречия необходимо должна быть обманчивой, даже если бы мы не были в состоянии указать на обманчивость³⁾. Однако, по Миллю, дело вовсе не обстоит так плохо! Заблуждение в аргументе Зенона,—говорит Милль,—неоднократно было указываемо, и противоречий, выражением которых считает этот аргумент сэра В. Гамильтон, не существует⁴⁾. В даль-

¹⁾ В. Russell, The principles of mathematics, v. 1, 1903, chapter XLII, p. 347: One of the most notable victims of posterity's lack of judgment is the Eleatic Zeno. Having invented four arguments, all immeasurably subtle and profound, the grossness of subsequent philosophers pronounced him to be a mere ingenious juggler, and his arguments to be one and all sophisms. After two thousand years of continual refutation, these sophisms were reinstated, and made the foundation of a mathematical renaissance, by a German professor, who probably never dreamed of any connection between himself and Zeno. Weierstrass, by strictly banishing all infinitesimals, has at last shown that we live in an unchanging world, and that the arrow, at every moment of its flight, is truly at rest.

²⁾ E. Düring, Kritische Geschichte der Philosophie, 1869, S. 45—46.

³⁾ Дж. Ст. Милль, Обзор философии сэра В. Гамильтона, 1889, chapter XXV, стр. 548: If then, motion involves a contradiction, how is it possible? and if it is possible, and a fact, as we know it to be, how can it involve a contradiction?

⁴⁾ Там же Курсив мой.—В.—А.: and the contradictions which Sir W. Hamilton regards it as an exposure of, do not exist.

нейшем Милль просто присоединяется к критике Аристотеля. Аргумент Зенона,—утверждает он,—«неправилен логически и не раскрывает противоречия в чем бы то ни было»¹⁾. Аргумент этот «всегда остается заблуждением»²⁾. Заблуждение это Милль—в согласии с Аристотелем, точно так же, как Варьяш в согласии с Миллем—усматривает в посылке, будто «для прохождения бесконечно делимого пространства требуется бесконечное время. Но бесконечная делимость пространства—возражает Милль—подразумевает бесконечную делимость конечного пространства; и только бесконечное пространство не может быть пройдено менее чем в бесконечное время: но бесконечно делимое время само может быть конечным; самое малое конечное время бесконечно делимо, а, следовательно, аргумент совместим с тем, что черепаха будет настигнута в самое малое конечное время»³⁾. «Легко можно изобрести,—рассуждает далее Милль,—параллельный приведенному софизм, поставив время вместо пространства. Можно было бы сказать, что захождение солнца невозможно, так как, если бы оно было возможно, оно должно было бы иметь место или когда солнце взошло, или когда село. Ответ очевиден: именно перемена от одного к другому и есть закат солнца. И точно так же перемена от одного положения в пространстве к другому и есть движение»⁴⁾.

Нет никакой нужды развивать дальше наше сопоставление. Полное тождество аргументации Варьяша с аргументацией формальной логики Аристотеля, с аргументацией позитивиста Милля совершенно очевидно. Все они—Милль открыто и прямодушно, Варьяш трусливо, под защитным цветом «диалектики»—отрицают действительность подлинно-диалектического противоречия, подменяя контрадикторное противоречие, т.е. необходимость одновременно мыслить противоречащие определения предмета, механической борьбой противоположных сил, последовательным переходом от одной противоположности к другой, от одного положения в пространстве к другому и т.п. Все они дружно направляют свои усилия к тому, чтобы «спасти» закон противоречия формальной логики, не допустить необходимости мыслить подлинное противоречие.

Скучно, утомительно, непродуктивно изобличение диалектического маскарада А. Варьяша! Можно было бы еще долго продолжать это дело, разбирать многочисленные выпады Варьяша против диалектики и современных диалектиков-марксистов: в учении о причинности, о случайности, о сведении, о качестве и т.п. Но мы ограничимся уже достигнутым. Мы подвергли анализу основную проблему логики: вопрос об отношении формальной логики к диалектике. Результаты нашего анализа, думается, совершенно ясны и убедительны. Пред нами—типичный механист, антидиалектический позитивист, защитник формально-логического понимания противоречия. Можно было бы не останавливаться так долго на анализе столь несвоеременно, далеко от диалектики и к тому же дурно написанного, тяжело, сбивчиво, часто небрежно изложенного

¹⁾ Там же, стр. 550. Курсив мой. В. А.

²⁾ Там же.

³⁾ Там же: But the infinite divisibility of space means the infinite divisibility of finite space: and it is only infinite space which cannot be passed over in less than infinite time. What the argument proves is, that to pass over the infinitely divisible space, requires an infinitely divisible time: but an infinitely divisible time may itself be finite; the smallest finite time is infinitely divisible; the argument therefore, is consistent with the tortoise's being overtaken in the smallest finite time. Cp. еще Дж. Ст. Милль, Система логики М. 1914 г., стр. 744: „Прохождение данного конечного пространства требует времени бесконечно делимого, а не бесконечного: в упущении из виду именно этого-то различия и видит сущность ошибки Гоббса“.

⁴⁾ Там же, стр. 447.

труда. Если мы, однако, уделили работе А. Варьяша столь много внимания, на которое она при других обстоятельствах не могла бы рассчитывать, то только потому, что мы учитываем большой вред, который подобная книга может принести. Вредное действие этой книги состоит в демагогических приемах, при помощи которых А. Варьяш стремится не только скрыть от читателя формалистический характер своей логики, но еще и внушить ему впечатление, будто вся книга разработана в духе диалектики и верна ее началом. При отсутствии у нас специальных работ по логике, при известной демагогической ловкости А. Варьяша, цель эта, несмотря на идейное убожество книги, редкую несамостоятельность и вопиющие недостатки изложения, в известной мере может все же быть достигнута. Если настоящая статья способствовала в какой-нибудь степени выяснению истинных философских и логических позиций А. Варьяша, то мы не будем считать свой труд потерянным.

Каутский и диалектический материализм

(Продолжение ¹)

М. Фурицк.

VI. Критика кантовского априоризма.

а) *Время и пространство.*

Кант считает время и пространство не объективной реальностью, а формами человеческого созерцания. Каутский решительно против этого положения Канта, находя его «выходом за границы опыта» в область поэзии. По его мнению, они «происходят из опыта».

С внешней стороны материализм борется тут с идеализмом, но стоит ближе присмотреться к аргументации Каутского, как снова обнаруживаешь сплошную подделку под материализм. Приводя известное положение Канта, по которому пространство не является свойством вещей в себе, а формой созерцания априори, Каутский «противоречит» Канту следующим образом:

«Это может иметь силу (das mag... gelten) по отношению к пространству в себе, но оно ни в коем случае не имеет силы по отношению к определенным пространственным «различиям» вещей и между вещами. Не принадлежит ли род протяженности какой-нибудь вещи к ее свойствам? (Каутский употребляет здесь понятие «свойство» вслед за Кантом. М. Ф.). Не принадлежит ли (hafet) форма бильярдного шара или звезды самим этим «предметам»? И нет ли пространственных отношений одной вещи к другим вещам, которые следует причислить к ее свойствам? Не есть ли свойство картофеля не расти высоко на деревьях и не есть ли свойство моих ног стоять тесно друг около друга? Если кантовское «пространство» не принадлежит (hafet) всем этим вещам, то Кант этим лишь показывает, что он здесь употребляет слово, не имеющее ничего общего с нашим опытом, а вовсе не то, что пространственные различия вещей, которые нас только и интересуют, являются продуктами нашей головы» ²).

Это рассуждение — не что иное, как материалистическая мина при идеалистической игре. Разберемся. Кантовское «пространство вообще», как необходимую форму созерцания а priori, Каутский склонен перенести в объективный мир, именуя его пространством в себе. Не будем спорить насчет термина «пространство в себе», поскольку мысль Каутского ясна: он допускает, что пространство, протяженность объективна, существует вне нас. Это — трусливый материализм. Но, Каутский, на ряду с этим допускает, что это «пространство в себе» не представляет собою свойства вещей в себе, соглашаясь в этом пункте с Кантом. Это — чистейший идеализм. В итоге, пута-

¹) См. «Под Знам. Маркс.» № 9—10, 1928 г.

²) К. Kautsky, Materialist. Geschichtsauffassung, B. I, S. 70—71 (Курсив большей частью наш).

ница, крошка из идеализма и материализма. На ряду с вещью в себе есть якобы пространство в себе, но они друг друга не касаются, вещь в себе—сама по себе, а «пространство в себе»—само по себе. Есть вещь в себе и есть пространство в себе, но пространство не имеет отношения к вещи в себе, и наоборот. Иначе чем крошкой из идеализма и материализма это исключительно путаное рассуждение никак назвать нельзя. И Кант прав, и объективность пространства спасена, но вещь осталась вне пространства, а пространство вне вещи. Ну и горе-философия!

Так обстоит с «пространством в себе». Посмотрим теперь, как обстоит с «пространственными различиями» вещей. Тут пространство неотъемлемое свойство вещей,—говорит Каутский,—тут Кант не прав, грешит против опыта, из которого мы знаем, что пространство (hafet) принадлежит вещам. Пространственные различия, которые нас только и интересуют, не являются «продуктами нашей головы». В опыте дан предмет в месте сего «родом протяженности», каждый предмет в опыте непременно связан со своим «пространственным различием». Предмет, как явление, имеет форму пространства,—вот что говорит тут Каутский по существу, маскируя свой агностицизм аргументом, что пространственные различия не продукты нашей головы. Как будто для материалиста вопрос этим исчерпывается, как будто быть материалистом означает рассматривать пространство, как форму явления, как будто материализм может согласиться с таким ограниченным пониманием пространства, сведенного к «пространственным различиям», данным в «опыте». Каутский уродует вещи, свои их к явлениям, и уродует основную форму существования вещей—протяженность,—сводя ее к «пространственным различиям», данным в «опыте».

Для сравнения приведем два действительных возражения кантианству в этом вопросе, принадлежащие Фейербаху и Энгельсу. «Пространство и время,—говорит Фейербах,—не являются только формами явлений, они суть основные условия... законы как бытия, так и мышления»¹⁾. «Основные формы всякого бытия,—говорит Энгельс в Анти-Дюринге,—суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства»²⁾. Основные формы, условия, законы бытия и мышления—таковы пространство и время в понимании материалистов Фейербаха и Энгельса; они являются формами самого бытия, самого объективного мира, а не только формами явлений. Каутский в вопросе пространства имеет по существу общую с Кантом точку зрения агностицизма.

По существу Каутский спорит с Кантом не по вопросу о том, действительны ли самим вещам, объективному миру пространство и время—тут он согласен с Кантом целиком и полностью,—он спорит по вопросу об «опыте». Опыт по Канту складывается из взаимодействий чувственности и рассудка, между которыми стоит созерцание с его формами пространства и времени, а по Каутскому опыт складывается в процессе ощущения, ощущение и есть опыт. Каутский считает, что пространство и время даны в ощущении непосредственно, то-есть «происходят из опыта». Его борьба против кантовского априоризма времени и пространства есть борьба с кантовским пониманием опыта за эмпирико-критическое понимание опыта в применении к пространству и времени. Не больше.

Вот как Каутский обосновывает свой взгляд на пространство. Пространство субъективно,—говорит он,—в том смысле, что человеку врождена априори «способность упорядочения» (ordnungsvermögen). Человек отличает правое от левого, близкое от отдаленного исходя из своего

¹⁾ Л. Фейербах, т. I, стр. 129.

²⁾ Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, 1928, стр. 46.

своего собственного положения. «Совокупность этих различных образует человеческое представление о пространстве. Способность делать такие различия несомненно должна иметься априори в моем мозгу. И порядок различий несомненно субъективной природы, он не принадлежит (hafet) вещам вне познающего субъекта. В природе, т.-е. во внешнем мире, нет ни правого ни левого, ни верха, ни низа и т. д. Субъективность нашего представления о пространстве видна еще из того, что «Я» ощущает себя всегда центром пространства. Наша зрительная способность достигает одинаково далеко во всех направлениях. Пространство располагается во все стороны одинаково далеко от меня. Но это приведение вещей в порядок вне нас под субъективным углом зрения ни в коем случае не говорит за то, что ему ничто не соответствует вне меня и что он не происходит из опыта. Если естественный разделитель разделяет животных и растения на определенные группы, то разделение идет несомненно от него, является продуктом его мозга. Но этим ведь не сказано, что признаки, на которых разделение основывается, имеет место (vorgäben) только в его мозгу и не существуют во внешнем мире. Если раньше считали китов рыбами, летучих мышей — птицами, а теперь их причисляют к млекопитающим, то несомненно, что только человек производит и производит это разделение. Но плавание китов, летание летучих мышей, кормление грудью детенышей — это факты вне нас, наблюдение которых — не только устройство нашего мозга — определило способы разделения. Независимо от того, как возникает наше представление о пространстве, пространственные различия и изменения (движения) вещей, которые мы наблюдаем, вызываются различиями и изменениями во внешнем мире, они нам не даны априори в нашем мозгу»¹⁾.

Гвоздем этого рассуждения является мысль, что существует внешний мир, которого мы по существу не знаем, так как на нем лежит печать нашей познавательной способности, данной нам априори, и которая представляет нам мир не таким, каким он есть на самом деле. Посмотрите, что остается во «внешнем мире» Каутского, как таковом: порядка в нем самом нет никакого, различных видовых групп животных и растений в нем, как таковом, нет. Все это привнесено нами, нашим познавательным аппаратом—остаются некие различия, изменения, признаки, действительные которых вызывает в нашем мозгу картину мира. Весь материализм Каутского исчерпывается тем, что нашим представлениям что-то соответствует вне нас. Не может быть, чтобы вне нас ничего не было,—нет, там что-то есть—таково остроумное рассуждение Каутского. Но это «что-то» назвать ему приходится так трудно, что он никак не прищипит подходящих слов. То какие-то «различия», «изменения», то некие «признаки», то даже «факты» вне нас; то оно действует» на нас, «вызывает» в нас, то мы это даже «наблюдаем». Каутский в большом смятении ходит по темным коридорам и шуплет, шуплет, не нащупывая ничего определенного.

Восприимчивые нами «пространственные различия» «вызываются различиями и изменениями во внешнем мире»—заметьте, не пространственными различиями и изменениями во внешнем мире. Это означает: мы об объективном пространстве ровнехонько ничего не знаем, мы имеем пространство лишь в опыте, т.-е. в ощущении, которое не отражает объективной реальности. «Различия» и «изменения», на которых Каутский настаивает, считая себя на этом основании материалистом и, надо полагать, «высшей формы», совершаются вне пространства. Каутский мыслит, таким образом, бытие вне пространства, т.-е. мыслит бессмыслицу, как говорил Энгельс в связи с ошибкой Дюринга.

¹⁾ K. Kautsky, Mater. Geschichtsauffassung, V, I, S. 71—72.

От этого вывода Каутскому не отвернуться никак. Он его сам сделать не хочет, прибегая к ухищрениям. Он хочет слыть материалистом, тем более необходимо его разоблачить. Но перейдем к времени и посмотрим, как тут обстоит с материализмом Каутского.

Время по Каутскому есть раньше всего представление, складывающееся из «сознания прошлого», т. е. прошлых «впечатлений, одно за другим вступающих в память», и из будущего, которое «лежит в нашей познавательной душевной жизни». Прошлое основано на памяти, а будущее — на инстинкте самосохранения, продления жизни. «Оно (будущее), — говорит Каутский, — живет в нас в виде инстинкта самосохранения, продления жизни... Так объединяются оба противоположных представления прошлого и будущего в единое представление времени». Вслед за этим анализом понятия времени Каутский восклицает по адресу Канта: «И это представление находится в нас априори! Верно, что все эти процессы (Vorgänge), ведущие к образованию представления времени — воспоминание, приведение воспоминаний в порядок, стремление к продлению жизни, продолжение представления времени за пределы настоящей — являются только духовными процессами, совершаются только внутри нас, определяются нашей врожденной духовной природой. На это указывает и Кант... Но материал, с которым «внутреннее чувство» работает, идет от внешнего мира, как пространственное представление. Разница та, что последнее возникает непосредственно из чувств зрения и осязания, тогда как представление о времени образуется от ощущений, вызванных раздражениями внешнего мира и накопленных в памяти. Без опыта, однако, последнее так же не может появиться (kommt ebensovorneig zustande), как и представление о времени»¹⁾.

Комментарии излишни. Яснее и яснее становится, что Каутский понимает под «опытом». Опыт — это ощущение, содержание которого составляет некий «материал» извне, принимающий определенную форму и вид в результате обработки его нашей способностью априори. Материализм Каутского в вопросе о времени исчерпывается заявлением, что наше представление о времени строится на основе «материала», идущего извне. От внешнего мира идут раздражения, вызывающие ощущения, из которых образуется время. Без опыта, — говорит Каутский, — т. е. без ощущений нет времени и нет пространства. Ни слова при этом о том, существует ли время объективно, ни слова о существовании мира во времени до появления человека и человеческого опыта, т. е. ни слова о самом главном, самом существенном для материалиста, опирающегося в этом своем взгляде на все существование. Каутский борется с Кантом, доказывая происхождение понятия времени из опыта. Но, поскольку его «опыт» есть ощущение, не отражающее объективной реальности, борьба с кантовским априори не может быть успешной. Общая почва агностицизма обрекает эту борьбу на бесплодность, превращая ее в борьбу оттенков в пределах одного идеалистического лагеря. В деле получается, что Каутский на место кантовского априори ставит другое априори, не больше. Каутскианское априори от кантовского априори отличается только тем, что первое физико-психическое, а второе трансцендентальное. Общее между ними то, что оба не видят во времени и пространстве объективной формы бытия, оба не доверяют показаниям чувств в одинаковой мере, оба считают время и пространство субъективными формами созерцания мира.

Каутский по большому недоразумению принимает свое физико-психическое априори за материализм. Материалистическое понимание времени и про-

¹⁾ K. Kautsky, Material. Geschichtsauffassung, B. I, S. 77 (курсив наш).

странства исходит из закона единства человека с природой, исходит из того, что наша познавательная способность верно и приблизительно верно изображает объективную реальность и в этом смысле отвергает всякое априори. Ибо материализм не терпит, не допускает принципиального разрыва между человеческим мозгом и его функцией мышления, с одной стороны, и между человеческим миром, с другой стороны. Каутский же под видом физико-психического априори протаскивает идеализм в теорию познания. Он не верит нашему мозгу, что он отражает мир, как он есть, и поэтому, сколько бы он ни толковал об опытно, о «естественном» происхождении представлений о времени и пространстве, он тем не менее остается идеалистом.

Шопенгауэр также считает мир «мозговым феноменом» (Gehirnphänomen), но это не мешает ему, как известно, быть матерым субъективным идеалистом. Впрочем, последовательный кантианец Виндельбанд в своей «Истории философии» мягко журит его за эту, как он говорит, «опасно противоречивую небрежность выражения»¹⁾. Последовательному идеализму «опасен» мозг с его функцией мышления. Для последовательного материалиста мозг — орган мышления, при чем такой орган мышления, который безусловно отражает внешний мир. Но последовательный материалист не станет Каутского «журить», так как у Каутского идеализм состоит не в том или ином неудачном выражении, а составляет сущность его философии. Журить будут его последовательные идеалисты за некоторые остатки реализма, за «позитивистское» недоговаривание и в частности за его психофизическое объяснение времени и пространства, как они мягко поругивают махистов за их половинчатость и непоследовательность в вопросе об опыте и в вопросе о времени и пространстве в частности.

Из уловок, ухищрений, вывертов, предпринимаемых Каутским в целях заматания следов, мы остановимся только на главных и характерных.

Каутский возражает Канту, по которому знание из одного лишь опыта может быть только «случайным». Свое априори Кант, как известно, считает необходимым условием достоверного знания — априори несет с собой необходимость и объективность, лишает знание характера индивидуального и случайного. Каутский как сторонник «опытного» познания возражает: «Но в мире вне нас может быть и есть (es kan doch geben) порядок и закон и нет никакой случайности; тогда ведь не случайно, что тот же порядок и закономерность проявляются и в нашем опыте»²⁾. Каутский, стало быть знает, как нужно возражать Канту; что необходимо указать на принципиальную согласованность между нашим познанием внешнего мира и последним, как таковым, что наше познание отражает объективную реальность. Но он так возражать не хочет, соглашаясь целиком с Кантом, что порядка и закона во внешнем мире нет, и лишь в целях полемики и заматания следов он готов на материалистический жест: «может быть и есть в мире вне нас порядок и закон». Каутскому нехватает не только философского гения Канта, но и кантовской научной добросовестности. Кант открыто высказывает свою точку зрения. Каутский дипломатничает.

Мы уже знаем, что Каутский объективного порядка и закона не признает. В природе нет, — говорит он, — ни правого ни левого, ни верха ни низа, как нет разнородностей и видов животных и растений. Не вправе ли мы автору «Материалистического понимания истории» поставить один очень элементарный вопрос? А северный и южный полюс есть или нет? При этом мы не будем настаивать на том или ином обозначении полюсов; названия условны. Есть ли у земного шара полюсы или нет? Каутский на этот вопрос

¹⁾ H. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 1916, S. 494.

²⁾ K. Kautsky, Mater. Gesch., B. I, S. 69 (курсив наш).

согласно своей теории должен ответить: они даны нам в опыте, т.е. мы о них самих равнехонько ничего не знаем, но они находимы в ощущении, в сознании, которое составило себе представление, именуемое северным и южным полюсами, на основании некоего «материала» извне. Полюсы — творение человека. Выходит, что итальянская экспедиция на северный полюс летом 1928 г. потерпела крушение не в объективных пространствах Северного Ледовитого океана, и советский ледокол «Красин» спасал неудачливую экспедицию не в объективно-реальных широтах северных ледяных вод, а в соответствующих пространственных представлениях, полученных на основании некоего материала. От этого вывода никак не отвернуться.

Материализм вместе с естествознанием, считает, что у земного шара есть действительные, реальные полюсы. Материализм считает понятия, названия: северный, южный, левое, правое, переднее и заднее и т. д. условными и относительными, но он считает вместе с тем, что эти обозначения и понятия отражают объективные реальности пространства. Левое, правое и т. д. — человеческие обозначения человеческих понятий о пространстве — это несомненно так. Но этим понятиям соответствуют определенные места, положения, точки в пространстве, как объективной реальности. Материализм различает между относительным и абсолютным, условным и безусловным, но он не теряет в этих противоположностях, рассматривая их как относительные. А Каутский теряет в них, как метафизик, когда он мыслит по дилемме: либо в природе должно быть правое, левое и т. д., либо этим понятиям ничего пространственного в действительности не соответствует, и склоняется, как идеалист, к последнему, т.е. к идеалистическому разрешению вопроса. Материалист рассуждает иначе: условны, относительно человеческие понятия левое, правое и т. д., но они в своей относительности отражают объективное, абсолютное пространство.

Свою теорию психо-физического априори времени и пространства Каутский в основном позаимствовал у релятивиста Маха. Приведем несколько соответствующих выдержек из сводного труда Маха «Познание и заблуждение»:

«В настоящее время вряд ли можно сомневаться, что воззрение времени, как и воззрение пространства обусловлены наследственной нашей телесной организацией. Тщетна была бы попытка освободиться от этих воззрений» (стр. 423). В основе пространственных ощущений — объективного пространства Мах не признает — лежит биологическая потребность ориентироваться. Отсюда понятия левое, правое и т. д., точь-в-точь как мы читали у Каутского: «Чтобы удовлетворить биологической потребности, пространственные ощущения должны быть соотносительны членам тела и ориентированы по ним. Для нас важно различать верх и низ, переднее и заднее, правое и левое, близь и даль, — одним словом, отношение к нашему телу» (стр. 349). Эти понятия стало быть только человеческие, и не обязательно, чтобы им во внешнем мире соответствовали места в пространстве. Пространство — понятие только относительное, служащее определенной потребности и цели. «Точки пространства мы физиологически знаем как цели различных движений, хватательных, направленных взгляда и локомоций» (стр. 351—352). В целях приспособления и ориентировки человек создает представление о пространстве. Во всем т. н. «физиологическом обосновании» пространства у Маха не найдешь ни единой ссылки на объективный мир. Мах — агностик и об объективном мире ничего не знает. Пространство переносится им всецело в субъект. Он соглашается с Джемсом, что «каждое ощущение имеет некоторую пространственность», что «в известном смысле можно говорить и об объективных ощущениях» (стр. 333—334). Мы далеки от мысли разбирать здесь специальные

вопросы физиологии пространства, которой материализм и не думает отрицать — мы привели это место для характеристики маховской установки, состоящей в замене, подстановке, отождествлении физиологических условий понятия пространства с пространством как объективной реальностью. Вот настоящий образчик такой подстановки. Мах говорит: «То, что мы пытаемся здесь дать, есть, правда, не настоящая теория пространственного восприятия, а только физиологическое описание психологически наблюдаемых фактов. Но... отсюда открывается опять... надежда на то, что будет достигнуто филогенетическое и онтогенетическое объяснение восприятия пространства и — раз будут выяснены соответствующие условия — также и принципиальное физиофизиологическое его объяснение» (стр. 348—349). Мах надеется на почве «чистой» физиологии принципиально объяснить пространство, ибо принципиально пространство есть ощущение. «Физиологическое пространство есть система степеней ощущений органов» которая «остаётся в виде постоянной скалы, в которой размещаются все изменчивые чувственные ощущения» (стр. 348). «Ряд ощущений времени становится скалой, в которой располагаются остальные качества переживаемых нами ощущений» (стр. 430).

В вопросе о происхождении времени Каутский снова почти точь-в-точь повторяет Маха, его физико-психическое объяснение, выдаваемое за объективное время. Мах говорит: «Мы непосредственно ощущаем время или положение во времени» (стр. 421); «уже в элементарных органах заложена основа для ощущения времени» (стр. 422). Представление о настоящем «дополняется воспоминанием о прошедшем и отражающимся в нашей фантазии будущим» (стр. 423). Каутский вместо фантазии ставит инстинкт в шопенгауэровском значении этого слова. В целом ряде других вопросов симпатии к Шопенгауэру, близость и родственность точек зрения у Каутского более ярко выражены, чем у Маха. Но на это нам придется еще указывать.

Мах отличает физическое пространство и время от физиологического. Но и в физическом пространстве и времени отсутствует физический мир материалистического естествознания. Физическое время и пространство по Маху то же переживание, что и физиологическое, но взятое с другой стороны. «В физиологическом отношении, — говорит Мах, — время и пространство суть системы ориентирующих ощущений, определяющих вместе с чувственными ощущениями возбуждение биологически целесообразных реакций приспособления. В отношении физическом время и пространство суть особые зависимости физических элементов друг от друга» (стр. 432). Что такое эти «особые зависимости», Мах поясняет рядом математических уравнений. В математических уравнениях величины находятся в однозначной определенности, т.е. с изменением одной соответственно изменяется другая. Что эта математическая однозначность есть абстрактное выражение, отражение взаимной зависимости, взаимной связи самих вещей, их относительности, процессов — до этого Маху дела нет. На то он «позитивист», чтобы фиксировать «факты», и только. Как физиологическое приспособление оторвано у него от объекта приспособления, так и математика оторвана от отражаемых ею тел, процессов и т. д. Как идеолог в энгельсовском смысле, ставящий вещи на голову, Мах от математики идет к опыту, а не наоборот. «Потребность в однозначной определенности, — говорит он, — заставляет нас обратить внимание на факты опыта». В опыте он, разумеется, находит эту однозначность: одновременные изменения температуры двух тел обратно пропорциональны теплоемкостям, так что общая средняя температура устанавливается в обоих телах одновременно и т. п.

Но эта однозначность в опыте по Маху не является обусловленной самой действительностью, в которой вещи находятся во взаимной зависимости, относительны, а результатом нашего опроса действительности, нашего к ней определенного требования, на которое она чудесным образом отвечает. На основании такой софистики, извращения действительного отношения между математикой и жизнью, Мах выводит: «Мы можем сказать, что во временной зависимости выражаются простейшие непосредственные, физические отношения» (стр. 437). «В пространственных соотношениях находит свое выражение непосредственная физическая зависимость» (стр. 437—438).

Эти выводы добыты фокусом: сначала к математическим величинам примыслились действительные тела, находящиеся во времени, пространстве и во взаимной зависимости, а затем от них абстрагируют и идут опрашивать опыт, который, оказывается, солидарен с математикой; сначала выбрасывают время и пространство и затем «находят» его в «опыте». Выигрыш от этой превратности тот, что «опыт», данные опыта превращаются в психические величины, время и пространство в «особые» зависимости физических элементов друг от друга». Превращение опыта в фикцию ведет к превращению самих вещей, тел, в фикцию. «Наивному наблюдателю бросается в глаза прежде всего,—говорит Мах,—тесная и сильная связь чувственных элементов в данной части времени и пространства... мы называем такую связь телом. Поскольку мы можем делить в наблюдении эту часть времени и пространства на меньшие части, мы находим в этих меньших частях пространства и времени связь чувственных элементов еще более тесно. Части тела суть тоже тела» (стр. 441). Выигрыш, значит, от таких превратностей еще тот, что вместе с временем и пространством, в сознание переводятся и тела. Мир есть комплекс ощущений¹⁾ пространство и время суть упорядоченные системы рядов ощущений. («Механика», 3-е нем. изд., стр. 498). В «наивные» наблюдатели попадают Аристотель и Ньютон за то, что они стояли в этой вопросе на материалистической точке зрения. Зато Герbart, примыкающий к Лейбницу в его конструкции умопостигаемого пространства, являются теми мыслителями, к которым тяготеет его теория, по собственному признанию Маха, но как естествоиспытатель-«позитивист» он в этом умопостигаемом пространстве хотел бы видеть «некоторый физический смысл» в виде «многообразия физиологически-химического» («Познание и заблуждение», стр. 445—446). Естествознание на службе идеализма герbartовского толка—идеал Маха. Это означает: время и пространство свести к акту сознания, сознания, не отражающего внешнего объективного мира ни в какой степени. Научный идеал Маха в вопросе о времени и пространстве лучше всего показывает цену всякому психо-физическому априори, всякому нативизму, отражающему человеческую телесную организацию от породившей ее природы материи, желающему конструировать мир, исходя из психо-физического субъекта. Недоверие к показаниям чувств неизбежно ведет к Маху, Герbartу и Лейбницу, как бы этого Каутский субъективно ни хотел и как он ни старается укрыться за словечком «опыт».

К ввертам, приемам маскировки принадлежит также возражение Каутского Канта в вопросе о пустом пространстве. В своих «Прелегоменах» Кант говорит о «соприкосновении наполненного пространства (опыта) с пустым (о чем мы ничего не можем знать, о ноуменах)». И вот как Каутский на это возражает: «Согласно этому имелось бы в мире вещей в себе пространство, но пространство «пустое», т.-е. без различий и различий вещей в пространстве. Такое представление о пространстве слова для нас «ровно ничего» не значит (bedeutet wieder gar nichts). С этим пустым пространством Канта нельзя смешивать пустоту физиков. Между ними идет спор насчет промежуточных пространств между воспринимаемыми нами те-

лами—не заполнены ли они ни чем, образуя «пустоту», или мы должны предположить наличие особого рода вещества между телами, эфир. Это—вопрос, ответ на который должны дать физики на основании выводов из опыта, а не философы на основании теоретико-познавательных умозрений (Spekulationen). Эти возможные пустые промежуточные пространства между протяженными телами, естественно, нечто другое, нежели предположение пространства, в котором нет ничего протяженного. О таком пространстве мы вправе сказать: оно ничто»¹⁾.

Каутский принимает теорию пустого пространства, проповедуемой «физическим идеализмом» и Махом, в частности, но делает он это робко и украдкой. Мах более решителен, противопоставляя точке зрения Ньютона свои и говоря, что взгляд на время и пространство как на «самостоятельные и бестелесные сущности» связан с признанием пустоты. Пустота освобождает пространство от тела, от материи, служит крепкой подпоркой крайнему субъективизму. Мах говорит: «связь представления пространства с представлением тела естественно приводит к идее немыслимости пустоты», и, наоборот, «доказательство существования пустоты несомненно весьма содействовало тому, что представление пространства стало более самостоятельным»²⁾. Мах считает пустоту «доказанной» и ликует, что можно избавиться от реальности, от тела, от материи и от пространства и времени. Каутский этой точке зрения сочувствует, но проявляет нерешительность, шатается, играет в нейтральность и неправильно при этом освещает роль философии.

В этой связи полезно привести мнение Энгельса по вопросу об эфире и отношении философии к естествознанию. «От эфира нельзя отказаться из-за света,—говорит Энгельс.—Материален ли эфир? Если он вообще есть, то он должен быть материальным, должен подходить под понятие материи»³⁾. Энгельс смотрит на эфирную теорию, как на относительно верную, но что для него несомненно, так это то, что свет и электричество проходят через материальную среду. Он допускает, что эфирная теория электричества может быть «вытеснена какой-нибудь совершенно новой теорией»⁴⁾, но материальная среда в мировом пространстве Энгельсом, разумеется, сомнению не подвергается. Энгельс из относительности отдельных теорий не делает вывода, что относительна сама материя, как объективная реальность. Он язвительно высмеивает людей наподобие Каутского, которые последним словом человеческого познания считают ту или иную скверную модную философию.

Об отношении философии к естествознанию Энгельс также другого мнения, нежели Каутский. «Как бы ни упирались естествоиспытатели, но ими управляют философы (beherrscht vom),—говорит Энгельс,—вопрос лишь в том, желают ли они, чтобы ими управлял какой-нибудь скверный модный философ, или же они желают руководствоваться разновидностью теоретического мышления, основывающейся на знакомстве с историей мышления и его завоеваний. Физика, берегись метафизики! Это совершенно верно, но в другом смысле»⁵⁾ Мах—физик, но философски им управляют Герbart и Шопенгауэр, а Каутский не физик, но внимает философии Маха. Все дело, значит, в том, кто кем управляет. В вопросе о пространстве Каутским управляет Мах. Управлением Маха и объясняется возражение Каутского Канта в вопросе о пустом

¹⁾ К. Каутский, Mat. Gesch., В. I, стр. 73.

²⁾ Мах, Познание и заблуждение, стр. 438—441.

³⁾ Фр. Энгельс, Диалектика природы, стр. 201.

⁴⁾ Там же, стр. 209.

⁵⁾ Там же, стр. 191.

пространстве. Сам Каутский, как мы видели, принимает, допускает «пространство само по себе», которое не имеет отношения к вещам в себе; пространство само по себе и вещи в себе сами по себе. Зачем же Каутский на стр. 73 возражает Канту, с которым он на стр. 70 соглашается? А по той простой причине, что Кант говорит о «соприкосновении» наполненного пространства с пустыми и, следовательно, открывает окошко к познанию пространства, как объективной реальности. Это еле заметное окошко в реальное пространство, которое Кант вынужденно открывает, вызывает сильное возражение со стороны Каутского. Он восклицает: такое пространство ничто. Каутский более строгий феноменалист в вопросе пространства, нежели Кант, так как он здесь махист, сторонник «чистого опыта», т. е. того опыта, который очищен не только от материализма, но и от реализма в той дозе, какую иногда компромиссная философия Канта допускает. Разница, проводимая им между физической пустотой и кантовским пустым пространством, выдает его с головой. Одно, мол, дело пустота «между воспринимаемыми телами» и совсем другое дело пустота вообще—первая в «опыте», читай в ощущении, в представлении в то время, как вторая вне «опыта» и, стало-быть, «ничто». Пространство есть только представление, получаемое, правда, на основании некоего материала извне, но этот материал совершенно неизвестной природы. Пространство—продукт нашей психофизической организации. Вывод: Каутский идет за модной реакционной философией. Желая, однако, слыть материалистом, он старательно, всеми силами и через силу маскируется. Его критика Канта—это широко задуманный маневр с целью придать своей философии вид материализма. Но этот маневр в состоянии ввести в заблуждение только философских дурачков. На деле вся его критика Канта является шопенгауэровской критикой Канта, поданной под махистским соусом.

Этот вывод ни капли не может быть поколеблен указаниями на то, что Каутский ищет во внешнем мире «материал», «различия», вызывающие наши представления о временных, пространственных различиях, так как с точки зрения материалистической гносеологии от этого дело не меняется ни в какой мере. Гносеологически вопрос стоит не о том, есть ли во внешнем мире различия вообще, вызывающие представления о пространстве и времени, а о том, являются ли наши представления о времени и пространстве относительно отражением объективного времени и пространства. На этот основной вопрос гносеологии Каутский отвечает отрицательно и этим относит себя к лагерю тех агностиков, относительно которых следует сказать, что они больше идеалисты, чем трусливые материалисты. Каутский хочет быть материалистом на том только основании, что он считает, что нашим понятиям о времени и пространстве соответствуют какие-то различия во внешнем мире, он должен был бы сказать, что в наших пространственных и временных различиях соответствуют действительные пространственные и временные различия, а не только «различия» вообще, не только «материал» вообще; различия вообще, материал вообще признают и Мах и Шопенгауэр. В главе «К психологии и естественному развитию геометрии» уже цитированного нами «Познания и заблуждения» Мах говорит: «Тело возбуждает наш интерес и есть цель нашей деятельности. Но род этой деятельности определяется, между прочим, и тем, где это тело находится, близко или вдали, наверху или внизу и т. д., т. е. пространственными ощущениями, которые его характеризуют. Этим определяется, как, через какую реакцию тело может быть достигнуто: нужно ли для этого протянуть руку, сделать большее или меньшее число шагов, бросить что-нибудь и т. д. Количе-

ство ощущаемых элементов, которые возбуждаются внешним телом, количество мест, которые накрываются им, о б'ем тела соответствует, при прочих равных условиях, степени удовлетворения органической потребности и имеет поэтому биологическое значение» (стр. 355—356).

«Ощущение», которое доставляет какой-нибудь элементарный орган, зависит отчасти от рода (качества) раздражения (стр. 347—348). И еще «Животное, которому приходится защищаться только от непосредственно соприкасающихся раздражений,—механических или химических,—или к ним приспособляется, справляется с этой задачей при помощи одновременных реакций, соответствующих этим раздражениям... Но когда воздействие на органы чувств с некоторого расстояния становится все больше, действие на органы чувств с приближающейся добычей сначала обнаруживается своим запахом, шумом или каким-нибудь издали видным знаком, тогда является уже и потребность в сознательном воспроизведении таких процессов приспособления в их естественном временном порядке... таким образом, ощущение времени и представление времени развиваются лишь в приспособлениях к временным и пространственным особенностям среды» (стр. 423—424. Курсив наш).

Бывает, что и Мах невольно, стихийно заговаривает языком материализма: о воздействии среды на органы чувств и даже о «временных и пространственных особенностях среды». Он, однако, не материалист не только потому, что такие рассуждения у него случайны и нехарактерны, а потому, главным образом, что для него среда есть синоним неких различий, воздействие понимается им лишь как внешний, механический толчок возбуждающий работу нервной системы, мозга, составляющего картину мира согласно собственной природе, картину действительного мира не отражающую, но почему-то чудом отвечающую биологической потребности. «Временные и пространственные особенности среды» у Маха не что иное, как те различия вообще в среде, которые в нашем восприятии характеризуются как пространственные ощущения. Тела возбуждают наш интерес и являются целью нашей деятельности, но род этой деятельности определяется пространственными и временными ощущениями, которыми мы характеризуем различные тела на основании рода и качества их воздействия на нас, т. е. воздействия со стороны неких различий, присущих внешнему миру, среде. Процесс познания представляется следующим образом: различные механические толчки извне, психо-физическое оформление этих толчков в виде системы ощущений, среди которых временные и пространственные имеют своей биологической функцией представлять, характеризовать тела. Действительные пространственные и временные различия тел подменяются соответственными ощущениями, созданными на основании различных воздействий,—толчков извне, где нет ни пространства, ни времени, ни тел. Всевозможные реакции на тела, на внешний мир, как протягивание руки, шагание и т. д., определяются пространственными и временными ощущениями, созданными на основе возбуждений, толчков, идущих от внешних тел, но объем этих тел соответствует степени удовлетворения биологической потребности, т. е. является только представлением, необходимым, полезным для ориентировки, и т. д.

Несколько проще, с меньшими выкрутасами и значительно яснее, эта точка зрения представлена у Шопенгауэра. Воздействие извне на наше тело вызывает ощущение, но это ощущение не отражает объекта ни в какой степени, оно исключительно субъективно и отвечает биологической цели, воле к жизни. «Нужно быть оставленным всеми богами,—говорит Шопенгауэр,—чтобы думать, что созерцаемый вне нас мир, наполняющий пространство в его трех измерениях... объективно реален и существует без нашего прибавления (Zutun) и затем через одну чув-

ственность вступает (hineingelangen) в нашу голову, где он еще раз появляется таким, каким он вне нас, так как ощущение всех родов есть и остается событием в самом организме... оно может быть приятным и неприятным,—обстоятельство, говорящее об его отношении к нашей воле, — но чего-либо объективного нет ни в каком ощущении... В том-то и дело, что чувственность доставляет не более, как сырой материал, который, прежде всего, рассудок при посредстве упомянутых простых форм пространства, времени и причинности перерабатывает в объективное представление о закономерном телесном мире»¹⁾. Или: «Оно (созерцание) никогда не состоялось бы, если бы не было непосредственно познано какое-либо действие, которое и служит исходным пунктом. Это—действие на животных тела. Последние постылку и являются непосредственными объектами для субъекта: созерцание всех других объектов опосредовано ими. Изменения, испытываемые каждым животным организмом, познаются непосредственно, т.-е. ощущаются, и созерцание объекта возникает благодаря тому, что это действие немедленно приводится в отношение к его причине. Это отношение... есть способ познания чистого рассудка... что глаз, ухо, рука ощущает—это не созерцание: это только даты (blosse Data). Рассудок... объединяет время и пространство в представление материи, т.-е. действительность»²⁾ (Курсив наш).

Волюнтарист Шопенгауэр рассматривает материю, как действительность, волю и человеческое тело, как «условие познания» этой воли, воля мыслится им, как вещь в себе, лежащая в основе человеческого познания в частности. Человек познает окружающее, мир, поскольку ему необходимо в нем ориентироваться, жить, сохранить себя и род. Априорные рассудок, время и пространства служат ту службу, что при их помощи человек получаеваемые извне слепые, ничего не отражающие, действия, воздействия на его организм конструирует в представление о мире. «Познание вообще, разумное, равно как и чисто-созерцательное, первоначально вытекает из самой воли, принадлежит к сущности высших стадий его объективации, как... средство к сохранению индивидуума и рода точно так же, как каждый орган тела»³⁾. Чем отличаются эти рассуждения Шопенгауэра от таковых у Маха? Ничем, если не считать того, что Мах менее открытый волюнтарист, чем Шопенгауэр. Общая почва одна: агностицизм, лишение чувственности самомаleastей способности отражения объективного мира, об'явление времени и пространства субъективными формами созерцания, признание внешнего «материала» чувственности лишь «исходным пунктом», толчком к работе рассудка (Шопенгауэр), к работе ассоциации, внимания и памяти (Мах). Отделяют их оттенки, объединяет основная гносеологическая установка. Та же гносеологическая установка и позиция и у Каутского. «Материал» и «различия» вообще признают на ряду с Каутским Шопенгауэр и Мах. «Высшие стадии объективации воли» у Шопенгауэра тем и отличаются от низших, что там больше «различий», т.-е. что на долю более сложного организованного индивидуума приходится более многообразное поле и более разнообразные объекты борьбы за существование⁴⁾.

Вывод: апелляция Каутского к материалу чувственности, к различиям вообще, будучи аргументом (непоследовательным) против кантовского

¹⁾ A. Schopenhauer, Ueber den Satz vom Grunde, S. 65-67 (Reclam).

²⁾ A. Schopenhauer, Welt als Wille u. Vorstellung, B. I, S. 43-44 (Reclam).

³⁾ Там же, S. 214 (Reclam).

⁴⁾ A. Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, B. I, S. 211 и далее (Reclam).

априори времени и пространства, не содержит в себе, однако, ни грана материализма, так как Каутский насчет этого материала и различий нигде не говорит, ни одним словом не обмолвился, что он отражается в наших понятиях о времени и пространстве. Наоборот, вся его аргументация, весь ход его рассуждений говорит о том, что этот «материал» сам по себе не имеет ничего общего с временем и пространством, являющимися понятиями, представлениями чисто-субъективного порядка.

Чтобы пояснить, иллюстрировать свою мысль о различиях, о материале, идущих извне, как помнит читатель, Каутский приводит пример с видами, где классификация принадлежит человеку, а признаки—внешнему миру. Каутский заверяет при этом, что кит действительно плавает, летучая мышь действительно летает, и что оба они действительно кормят своих детенышей. Нас интересует теперь это заверение. Мы должны сказать ему: не имеет никакого теоретического права на такое заявление-заверение! Вы не имеете ничего об этом не знаете, поскольку вы нигде не обмолвились ни одним словом о том, что наша чувственность отражает внешний мир. Эти заверения Каутского — пустая декларация, бессодержательная фраза, дымовая завеса, выверт в целях заметания следов. Шопенгауэр посвящает десятки страниц доказательству своего положения, что «сырой материал» чувственности не заключает в себе ничего из тела, времени и пространства, что ощущение ничего объективного не содержит, а Мах на и меньшем количестве страниц старается показать, как наш аппарат создает представление о пространстве и времени в «опыте». Оба друг друга дополняют, стремясь к одному и тому же. И оба критикуют кантовскую теорию времени и пространства—один с точки зрения волюнтаризма, другой с точки зрения «опыта». И вот вместо того, чтобы отмежеваться от такой критики Канта и выступить против Канта и кантианства аргументами материалистическими, Каутский дает шопенгауэровски-махистскую критику Канта, прикрываясь ее материалистической декларацией, в которую поверить так же трудно, как трудно поверить в то, что Каутский еще вернется к марксизму.

Откладывая обсуждение вопроса о законности отделения признаков от вида до специального рассмотрения каутскианской теории видов, мы должны в интересах полного уяснения всей смехотворности претензии Каутского на звание материалиста привести заключительное рассуждение Каутского по тому же вопросу о времени и пространстве.

«Как относительно пространства, так и в отношении времени,—говорит он,—мы приходим к выводу, что если оно представление априори, тогда все изменения и движения мира, которые мы считаем воспринимаемыми (wahrzunehmen glauben), лишь продукты нашей головы, что, стало быть, либо весь мир существует лишь в нашей голове, либо наша познавательная способность есть утонченное средство превращения внешнего мира в грубую ложь и обман. И это называется «опыт» и средство познания¹⁾. Перед нами снова декларация, по поводу которой ее автору следует сказать: ни Мах, ни Шопенгауэр не считают мир только продуктом нашей головы,—они вместе с вами признают мир только продуктом нашей головы, — они «столько» не признают, и опять-таки вместе с Каутским, так это того, что этот материал отражается в нашей голове таким, каким он есть. Что они «столько» не признают, так это того, что время и пространство объективные реальности, но этого не признает и Каутский. Вот почему Каутский не в состоянии последовательно бороться с Кантом, как не в состоянии сделать это Шопенгауэр и Мах, также критикующие Канта. У критикуемого и критикующих одна и та же основная позиция агностицизма. Как ни вертись, а по Каутскому выходит, что изменения и движения совершаются вне времени

¹⁾ K. Kautsky, Materialistische Gesch., B. I, S. 78.

и пространства. Как ни вертись, а Каутский мыслит бытие вне времени и пространства, т.-е. мыслит бессмыслицу. Критикуя Канта, он стоит на его же позиции.

По поводу маховского спора с Кантом по вопросу о пространстве Ленин справедливо и метко замечает: «Сопrotивляясь против неизбежных идеалистических выводов из своих посылок, Мах спорит против Канта, отстаивая происхождение пространства из опыта. Но если в опыте нам не дана объективная реальность (как учит Мах), то подобное возражение Канту ни капельки не устраняет общей позиции агностицизма и у Канта и у Маха. Если понятие пространства берется нами из опыта, не будучи отражением объективной реальности вне нас, то теория Маха остается идеалистической. Существование природы во времени, измеряемом миллионами лет, до появления человека и человеческого опыта, показывает нелепость этой идеалистической теории»¹⁾. Эта меткая характеристика маховской критики Канта целиком относится и к Каутскому. Каутский старается вывести время и пространство из опыта, но так как в его опыте не дана объективная реальность, то вся его критика Канта не устраняет общей почвы агностицизма у Канта и Каутского.

Нелепость этой своей идеалистической теории, опровергаемой фактом существования природы во времени, измеряемом миллионами лет до появления человека и человеческого опыта, Каутский пытается в заключительных строках устранить за отсутствием аргументов словесным потоком. Вот как он «опровергает» утверждение А. Ланге, что в природе все совершается одновременно: «Таким образом все в природе одновременно. Не мой опыт, а существующая до опыта организация моего мышления делает то, что моя старость для меня позже является, чем моя молодость; она навязывает мне то, чтобы моих умерших предков переносить во-время до меня. В природе же все одновременно: неандертальский человек, Тутанхамис, Цезарь и Сталин или лучше сказать вещи в себе, лежащие в основе этих явлений. Ибо Кант нас утешает: пространство и время имеют «объективную» реальность только в мире явлений, они не существуют в мире вещей в себе. Там все одновременно и одинаково близко или одинаково далеко, там нет становления и исчезновения. Но как обстоит со смертью? Явление умирает, но вещь в себе, стоящая за ним, не исчезает, как и не родилась. Рождение и смерть не есть что-то такое, что действительно совершается, а воображение нашей странной познавательной способности, устроенное априори для химер, чтобы этим превосходным путем собирать познания»²⁾.

В этом поистине «превосходном» возражении Канту и Ланге печальное и смешное так перемешано, что трудно решить, чего в них больше. В этом возражении нет ни одного аргумента.—это сплошная жалоба по поводу нелепости и тупика, куда неизбежно заводит идеалистическая теория пространства и времени. Да, поистине печально, что Цезарь и Сталин называются сверстниками неандертальского человека, и верно, что это печальное обстоятельство не становится менее печальным от того, что вместо Цезаря, Сталина и неандертальского человека будут фигурировать их лютосторонние двойники — вещи в себе. Но печаль не аргумент для теории. Каутский этим нелепым выводом ничего не может противопоставить, кроме словечка «мой опыт». Но «мой опыт» относительно неандертальского человека и Цезаря имеет своей предпосылкой существование человека во времени задолго до меня. «Мой опыт» вовсе не гарантирует, что старость действительно наступает во времени за молодостью, так как само время—

¹⁾ Ленин, *Материализм и эмпириокритицизм*, стр. 177.

²⁾ K. Kautsky, *Mater. Gesch.*, V, I, S. 78.

категория субъективного порядка. И то же с рождением и смертью: они могут оказаться воображениями не только по вине Канта, но в равной мере по вине его «критика» Каутского. Ибо разве можно считать гарантией действительности рождения и смерти то, что наша чувственность принимает какой-то «материал» извне, если этот материал поступает на обработку заранее данному, априорному познавательному аппарату, объективной реальности не отражающему? Каутский, зная неизбежность этих выводов, от них просто-напросто отговаривается тем, что кивает на Петра—Канта. Но как жалоба, так и кивание на Петра не аргументы суть. Они свидетельствуют о нелепости теории и безысходного тупика, в который попадают ее авторы и сторонники.

Чувствуя, что он скатился к идеализму, Каутский пытается «сопротивляться» этому, делая оговорки, прибегая к вывертам, нападая с азартом на Канта и делая при всем этом вид, что стоит на материалистической позиции в вопросе о времени и пространстве. Но это его не спасает и спасти не может. Преодолеть идеализм в этом вопросе можно исключительно, признав объективную реальность времени и пространства, а не одних только «изменений». Если объективно реальны одни изменения, то время и пространство неизбежно превращаются в одни понятия.

Дюринг, имевший несравненно большее право на звание материалиста, чем Каутский, докатился до идеализма в вопросе о времени и пространстве именно благодаря тому, что он не решился ясно и отчетливо признать объективную реальность времени и пространства. И Энгельс вскрывает его идеалистическую позицию как раз в том месте, где он время объявляет принципиально зависимым от изменений во внешнем мире, объявляя его «частным понятием». «Дело идет,—говорит Энгельс,—не о понятии времени, а о действительном времени, от которого господин Дюринг так дешево отделяется... Согласно господину Дюрингу, время существует только благодаря изменению, а не изменение существует во времени и посредством его. Именно благодаря тому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять благодаря изменению, ибо для измерения необходимо иметь нечто, отличное от измеряемой вещи. И время, в течение которого не происходит никаких доступных познанию изменений, далеко от того, чтобы не быть временем, оно скорее представляет чистое, не затронутое никакими посторонними примесями и, следовательно, истинное время, время как таковое»¹⁾. Энгельс признает время, как таковое, т.-е. как объективно реальное, в котором и посредством которого существует изменение. Это противоположно тому, что говорит Дюринг, ставящий существование времени в зависимости от изменений, не признавая за временем независимого, отличного от изменения существования. Этот взгляд Энгельса диаметрально противоположен взгляду Каутского, идущего дальше Дюринга, отрицающего за временем всякое объективное существование, мышлящего время и пространство, как исключительно субъективные категории, создаваемые нами на основании изменений, фигурирующих как «материал». Ленин рассматривает Дюринга, как «путаного материалиста», который в вопросе о времени и пространстве «спутал и шатался». Этим путанием и шатанием и объясняется его известное допущение начального, неизменного состояния мира, в котором частное понятие времени превращается в более общую идею бытия. За одно такое допущение со стороны Дюринга Энгельс обрушивается на него, заявляя: «Нам нет дела вовсе до того, какие понятия превращаются в голове Дюринга. Дело идет не о понятии времени, а о действительном времени, от которого господин Дюринг так дешево не отделяется». Не

¹⁾ Энгельс, *Анти-Дюринг*, 1928 г., стр. 45—46.

трудно себе представить, как обрушился бы Энгельс на Каутского, у которого мысль о субъективной природе времени и пространства высказана не в связи с одной натурфилософской гипотезой, а сознательно положена с самого начала в основу его гносеологии. Дюринговское несоборное понимание отношения изменения к времени—детская игра по сравнению с каутскианским пониманием этого отношения. Первое характеризует непосредственного материалиста, второе—непоследовательного идеалиста.

Но обратимся еще раз к Энгельсу. Энгельс различает между изменениями, доступными познанию, и изменениями, познанию не доступными. Он отвергает дюринговскую гипотезу о неизменном состоянии, ведущую к «первому толчку», т.-е. к богу. Изменения, движение материи происходит всегда, и совершается оно во времени и пространстве всегда и неизменно. Время остается и тогда, когда не происходит доступного познанию изменений, — оно тогда «чистое», «истинное время», «время как таковое». «Действительно,—продолжает Энгельс,—когда мы хотим представить себе понятие времени во всей его чистоте, свободным от всех чуждых, посторонних примесей, мы вынуждены оставить в стороне, как не относящиеся к делу, все различные события, происходящие во времени рядом друг с другом и после друг друга, и представить себе, таким образом, время, в котором ничего не происходит. Поступая так, мы совсем не растворяем понятие времени в общей идее бытия, а получаем как раз чистое понятие времени» (Там же, стр. 46).

Энгельс оперирует здесь понятием времени и даже чистым понятием времени, но в отличие от дюринговского, каутскианского понятия энгельсовское чистое понятие времени есть не что иное, как отражение действительного времени, истинного времени, отражение, получаемое путем абстрагирования от отдельных, доступных познанию, изменений материи, совершающихся во времени. Энгельсовское чистое понятие времени, как отражение действительного времени, прямо противоположно идеалистическому «понятию», чистому в совершенно другом смысле, т.-е. чистому от всякой реальности.

Как Энгельс смотрит на наши «чистые понятия» вообще и на чистые понятия о времени и пространстве в частности, мы можем, впрочем, узнать от него самого. В «Диалектике природы» в связи с критикой агностического эмпиризма Негели мы находим следующее замечательное рассуждение, которое необходимо привести целиком. Энгельс пишет: «...мы способны познавать только конечное, преходящее, изменяющееся и в различных степенях относительное...; мы не знаем, что такое время, пространство, сила и материя, движение и покой, причина и следствие. Это старая история. Сперва создают из чувственных вещей абстрактные понятия, а затем желают познавать их чувственно, желают видеть время и обонять пространство. Эмпирик до того втягивается в привычный ему эмпирический опыт, что воображает себя все еще в области чувственного опыта, когда он имеет дело с абстракциями. Мы знаем, что такое час, метр, но не знаем, что такое время и пространство! Как будто время что-то другое, нежели сплошь часы (lauter Stunden), а пространство что-то другое, нежели сплошь кубические метры (lauter Kubikmeter)! Разумеется, обе формы существования материи (bei dieser Materie) ничто, бессодержательное представление (leere Vorstellung), абстракция, существующая только в нашей голове. Но мы ведь также не знаем, что такое материя и движение! Конечно, нет, так как материя, как таковую, и движение, как таковое, никто еще не видел иным путем, не испытал, а только различные, действительно существующие формы вещества и движения. Вещество, материя—не что иное, как совокупность веществ, из которых это понятие абстрагировано, движение как таковое—не что иное,

как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения; слова в роде материя и движения—только сокращения, в которых мы соединяем (zusammenfassen) много различных чувственно воспринимаемых вещей по их общим свойствам. Материя и движение не могут поэтому быть познаны иначе, как путем изучения отдельных веществ и форм движения; познавая последние, мы pro tanto познаем также материю и движение, как таковую. Поэтому, когда Негели говорит, что мы не знаем, что такое время, пространство, причина и следствие, то он этим лишь утверждает, что мы при помощи нашей головы сперва создаем себе абстрактные понятия (Abstraktionen) о действительном мире, а затем не можем познать этой нами же созданной абстракции, так как они умственные, а не чувственные вещи, а всякое познание состоит в чувственном измерении! Точь в точь как затруднение у Гегеля, что мы можем есть вишни и сливы, но не плод, так как никто еще не ел плода, как такового»¹⁾.

«Чистое понятие» в «Анти-Дюринге» и «абстрактное понятие» в «Диалектике природы» одно и то же. Понятия материи, движения, времени и пространства, причины и следствия созданы при помощи нашей головы, являясь сокращенными выражениями совокупностей различных чувственно-воспринимаемых вещей по их общим свойствам. Мы объединяем в них различные вещи, имеющие общие свойства. Эти понятия не выдуманы нами ни в какой степени,—они только абстрактны, т.-е. они представляют работу нашей головы, отвлекшей от вещей различие их свойства и фиксирующей общие их свойства в целях объединения их в одно целое. Понятия материи, движения, пространства и времени, причины и следствия являются отражениями объективной реальности, но такими, которые отражают лишь общее в вещах. Чистыми, абстрактными они называются не потому, что они не отражают объективной реальности, а потому, что они отражают лишь о общее в вещах, представляя совокупность предметов по их общим свойствам»²⁾.

Об абстрактных понятиях времени и пространства Энгельс говорит, что они без материи ничто, бессодержательное представление, существующее лишь в нашей голове. Время и пространство, как абстрактные понятия, от-

¹⁾ Энгельс, Диалектика природы, стр. 151—153. Имеющийся русский перевод «Диалектики природы» в этом месте не точен. Мы, поэтому, позволим себе дать собственный перевод, по нашему мнению, более точный.

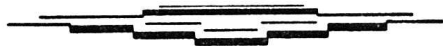
²⁾ Рассуждая таким образом, мы рискуем навлечь на себя гнев «призванного» защитника диалектического материализма Л. И. Аксельрод-Ортодокс.

В ее последней книге под названием «В защиту диалектического материализма» она защищает явно не марксистский и не диалектический тезис, согласно которому отвлеченное общее понятие не есть отражение того, что есть в самих вещах. При этом она ссылается на «Диалектику природы» и на «Святое семейство», где прямо и непосредственно высмеивается взгляд на отвлеченное понятие, как на отражение подлинной реальности. Вот это действительно значит слышать звон, да не знать где он. Мы видели, что Энгельс высмеивает Негели, но вовсе не за то, что Негели считает общие понятия отражением реальности, а за то, что он отказывает им в реальности на том основании, что он их не может видеть и обонять. Агностический эмпирик считает реальным лишь то, что поддается чувственному измерению, а общие понятия, как время и пространство, материя, движение, пад и т. д., для него не реальны потому, что их нельзя воспринимать непосредственно чувствами. Энгельс высмеивает Негели за то, что он хочет видеть время и обонять пространство, за то, что он хочет «умственными вещами» познать чувственным образом. В противовес этому взгляду Энгельс считает общие понятия не выдумками, а отражениями подлинной реальности. «Материя,—заявляет Энгельс,—не что иное, как совокупность веществ, из которой это понятие абстрагировано»; «слова в роде материя и движения—только сокращения, в которых мы соединяем много различных чувственно воспринимаемых вещей по их общим свойствам». Мы спрашиваем Аксельрод: что, совокупность многих различных чувственно воспринимаемых вещей, совокупность веществ реальность или нет? Если она на этот вопрос ответит утвердительно, тогда она должна взять свой тезис

влекаются от отдельных форм материи. Время — не что иное, как сплошь часы, пространство, не что иное, как сплошь кубические метры, — говорит Энгельс, — т. е. те же часы и метры, которыми мы оперируем при чувственном измерении, но отвлеченные от отдельных измерений отдельных вещей.

Агностики в вопросе материи, как Негели и Каутский, не могут, естественно, не быть агностиками и в вопросах времени и пространства, движения и причинности. Отрицание об'ективной реальности материи неизбежно ведет к об'явлению форм существования и движения материи исключительными продуктами нашей головы.

(Продолжение следует).



назад. Если же она ответит отрицательно, тогда она отрицает об'ективную реальность материи.

В «Святом семействе» Маркс и Энгельс высмеивают, вовсе не то, что думает Аксельрод. Они высмеивают положение, согласно которому груши, яблоки, сливы являются модусами субстанции «плод». Они высмеивают насаживание мира субстанциями, метафизическими сущностями, так как с этой точки зрения все действительное, живое, разнообразие мира превращается в призрак. Маркс и Энгельс считают груши, сливы, все разнообразные предметы не призраками, а реальностями, понятие плод не сущностью груши и сливы, а отвлеченным от них. Плод не существует вне меня как сущность груши и сливы, но плод существует вне меня как совокупность груш, яблок, слив, миндалей и т. д. Маркс и Энгельс высмеивают преобразование отвлеченного общего понятия в вещь, это не значит, что они считают его не отражающим того общего, что есть в вещах.

Понятия плод и животное, — формулирует Аксельрод, — «представляют собой абстракцию, полученную на основании общих свойств плодов и общих свойств индивидов животного царства. Отвлеченному понятию соответствует, таким образом, об'ективно существующие свойства, но не сущность» (стр. 232). Тут что-то не ясно и даже не ладно. Если общему понятию соответствует общее свойство, то против чего Аксельрод спорит? Очевидно, аксельродовский «секрет» в словечке «соответствие». Общее понятие не отражает общих свойств, а ему соответствует общее свойство. Аксельрод, очевидно, гносеологически плывает в каутских водах. Нашим понятиям об'ективно соответствуют некие тождества и некие различия, но они не отражают об'ективной реальности. Даваемый ею бой по поводу абстракции есть стратегический бой — цель лежит глубже. Цель: отрицание сознания способности отражать об'ективным мир таким, каким он есть в действительности.



Диалектическое развитие категорий в экономической системе Маркса¹⁾.

И. Рубин.

1. Предмет политической экономии.

Я не ставлю себе целью дать исчерпывающее или хотя бы полное изложение избранной мною темы. Полная разработка вопроса о диалектическом развитии категорий у Маркса требует соединенных усилий многих товарищей, как экономистов, так и философов. Я ограничиваю свою тему двояко: во-первых, я не буду касаться философских основ диалектического метода — это дело философов. Мы, экономисты, берем основные положения диалектического метода в той общей форме, как они изложены у Маркса и Энгельса, и наша задача заключается в том, чтобы показать применение Марксом в «Капитале» к различным экономическим категориям основных положений диалектического метода. Второе ограничение следующее: диалектическая логика обладает таким богатством форм мышления, что попытка исчерпать их в одном докладе является делом непосильным. Поэтому я поставил себе задачей проследить, как Маркс применяет к экономическим категориям трех томов «Капитала» основной закон диалектики, — закон единства противоположностей, — в соединении с законом отрицания.

Раз мы говорим о диалектическом развитии категорий, то мы предполагаем, что вся система экономических категорий Маркса представляет собою единую, стройную систему, проникнутую внутренним единством, внутренней согласованностью всех своих частей. Иначе говоря, мы предполагаем единую стройную систему экономических категорий, отражающую единую, хотя и исполненную величайших противоречий, систему производственных отношений людей.

Тут перед нами встает следующий вопрос: если мы берем систему производственных отношений, как целое, не отрываем ли мы тем самым эту систему от развития материальных производительных сил. Не правы ли те критики, которые говорят, что мы отрываем производственные отношения от производительных сил? Не правы ли те критики, которые говорят, что предмет политической экономии является в одинаковой мере, на равноправных началах, как производственные отношения людей в капиталистическом обществе, так и производительные силы? Иначе говоря, мы должны начать с вопроса о предмете политической экономии. По этому вопросу сейчас разгорелись и разгораются оживленные прения, при чем намечилось два течения: одни экономисты придерживаются старого марксистского учения, согласно которому политическая экономия есть наука о производственных отношениях

¹⁾ Исправленная и дополненная стенограмма доклада, прочитанного 30 марта 1929 г. на диспуте в Институте Красной Профессуры. Материалы диспута будут полностью изданы в виде отдельной книжки.

людей в капиталистическом обществе; другие экономисты, не имея мужества прямо опровергнуть это старое марксистское определение, хотя бы сформулировать острое, притупить это резкое и яркое марксистское определение. Они требуют включения производительных сил в непосредственный предмет исследования политической экономии.

Как же обстоит дело с этим вопросом, который сейчас разделяет экономистов-марксистов? С. Бессонов в своей статье¹⁾ дал следующую формулировку: политическая экономия изучает «связь и противоречия между производительными силами и производственными отношениями». Он забывает, что изучить связь и противоречия между производительными силами и производственными отношениями мы можем с двух сторон — и со стороны производственных отношений, и со стороны производительных сил.

В теоретической политической экономии мы берем предметом своего изучения непосредственно производственные отношения людей в капиталистическом хозяйстве и ставим себе целью открыть все закономерности в этой сфере явлений. Но ведь производственные отношения развиваются в зависимости от изменения производительных сил, и, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на развитие производительных сил. Поэтому для объяснения развития производственных отношений мы должны постоянно апеллировать к развитию производительных сил. Как мы апеллируем к развитию производительных сил? Во-первых, прежде, чем начать исследование всей системы производственных отношений капиталистического хозяйства, мы должны выяснить, какое именно развитие производительных сил вызвало к жизни данную систему производственных отношений. Но этого мало. На всем протяжении нашего исследования мы должны искать причины изменения экономических форм и производственных отношений людей в сфере развития материальных производительных сил. При переходе от одних форм к другим, при переходе от стоимости к капиталу, при объяснении того, почему капитал разделяется на промышленный, торговый и денежный, — мы должны искать в сфере материальных производительных сил те движущие причины, которые вызывают изменения производственных отношений людей. Не всегда мы можем указать точно эти причины, исходящие из сферы материального производства, не всегда Маркс указывал нам, какие именно изменения производительных сил вызвали то или иное изменение производственных отношений. Но принципиальный наш долг, наша обязанность — искать причины изменения производственных отношений в сфере развития материальных производительных сил.

Мы должны вместе с тем изучить и обратное воздействие производственных отношений на производительные силы. Но это никоим образом не значит, что мы производительные силы делаем непосредственным объектом нашего исследования, — и всякий человек, знакомый с элементарными принципами классификации наук, поймет это без труда. Различные науки изучают различные стороны единой реальной действительности. Различные общественные науки изучают различные стороны жизни общества. При неразрывной связи и взаимодействии различных сторон жизни общества, каждая наука, изучающая одну сторону жизни общества, должна постоянно включать в свое исследование для объяснения своего объекта явления соседней области, те явления, которые служат непосредственным предметом исследования других, соседних наук. Например, наука, изучающая право, не может понять развитие права, не апеллируя к развитию хозяйства и в частности к развитию материальных производительных сил. В про-

тивном случае такая наука о праве не была бы марксистской наукой. Но тем не менее эта наука о праве не делает предметом своего исследования хозяйство. Политическая экономия для объяснения производственных отношений людей и их изменений должна апеллировать к развитию материальных производительных сил, но мы при этом в политической экономии не ставим себе целью изучить все закономерности, имеющие место в сфере развития материальных производительных сил. Мы привлекаем их в наше исследование лишь постольку, поскольку это нам необходимо для объяснения закономерностей изменения производственных отношений людей. И даже в этом случае, привлекая материал из области производительных сил, мы не столько сами специально занимаемся анализом и исследованием этого материала, сколько пользуемся данными, уже добытыми в соседних науках. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наука об общественной технике получила достаточное развитие и могла бы дать нам достаточно материала о развитии производительных сил при капитализме с тем, чтобы мы эти материалы использовали для объяснения развития производственных отношений людей. А это и значит, что для нас в политической экономии непосредственным объектом исследования являются производственные отношения людей. Предпосылкой же нашего исследования являются материальные производительные силы.

Часто приходится слышать такой упрек: раз вы отводите производительным силам роль предпосылки, значит, вы отводите им какое-то скромное место в развитии общества, вы отрицаете их роль движущей причины всего общественного развития. Это возражение основано на грубом недоразумении. Слово «предпосылка» не противопоставляется нами слову «движущая причина». Всякий марксист обязан признать, что движущей причиной всего общественного развития является именно развитие материальных производительных сил. Но эта движущая причина всего общественного развития не изучается нами в теоретической политической экономии. Мы постоянно прибегаем к развитию производительных сил для объяснения производственных отношений людей, а это и значит, что материальные производительные силы являются предпосылкой нашего исследования. Слово «предпосылка» не противопоставляется «движущей причине». Это слово противопоставляется «объекту» исследования. Каждая наука имеет свой непосредственный объект исследования. Все соседние явления, которые привлекаются нами в данную науку постольку, поскольку они необходимы для объяснения непосредственного объекта нашего исследования, называются в науке предпосылкой исследования. Всякий, кто не понимает этого деления, не понимает азбуки классификации наук, азбуки деления труда между различными науками.

Прибегнем к примеру для иллюстрации этой мысли. Всякому понятно, что существует неразрывная связь между ростом технического состава капитала и ростом органического состава капитала. Но вместе с тем всякий изучающий «Капитал» знает, что непосредственным предметом своего исследования Маркс делает рост органического состава капитала, т.е. рост стоимостных отношений частей капитала, поскольку эти стоимостные отношения отражают изменения пропорции между мертвыми средствами производства и живым трудом, т.е. поскольку они отражают изменения, происходящие в сфере техники, в сфере материальных производительных сил. Значит ли это, что Маркс сделал непосредственным предметом своего исследования рост технического состава капитала? Всякий, читавший «Капитал», знает, что Маркс этого не делал. Маркс дал нам основную формулу роста технического состава капитала для того, чтобы объяснить рост органического состава капитала, а после этого он подробно исследует влияние роста органического состава капитала на

¹⁾ См. журнал «Проблемы Экономики» 1929 г., № 1, стр. 129. Ответ на эту статью Бессонова будет помещен в № 3 журнала «Проблемы Экономики».

концентрацию производства, на рост резервной рабочей армии и т. д. Словом, он исследует производственные отношения между людьми, находящие свое выражение в целом ряде экономических явлений, между тем как рост технического состава капитала является для Маркса основой, предпосылкой, но не непосредственным объектом его исследования. Если бы Маркс захотел исследовать непосредственно рост технического состава капитала, он должен был бы собрать огромный материал, рисующий рост мертвых средств производства по сравнению с живым трудом. Он должен был бы дать огромный материал, рисующий развитие и состояние техники в капиталистическом обществе. Маркс этого не делал, потому что такого рода специальное исследование изменений в сфере техники между мертвыми средствами производства и живым трудом,—исследование, весьма необходимое и могущее пролить много света на развитие экономических явлений,—не может войти непосредственно в ту экономическую систему, которую дает Маркс.

Бессонов возражает против существования двух наук, из которых одна изучает производительные силы, а другая—производственные отношения капиталистического общества. Повидимому, он думает, что существование двух наук создаст разрыв между производительными силами и производственными отношениями. Но ведь было бы в высшей степени наивно думать, что для сохранения связи между двумя явлениями мы должны непременно изучать их в одной науке. Неужели связь между производительными силами и производственными отношениями будет гарантирована тем, что мы будем изучать их в одной науке? Такого рода соединение различных сторон хозяйственной жизни, отличающихся по своей природе и закономерностям своего развития, в одну науку ни в малейшей мере не гарантирует вас от разрыва между этими двумя сторонами; и, наоборот, вы можете изучать эти две стороны в двух разных науках, но заранее изучайте каждую сторону как часть единого хозяйственного процесса, часть, предполагающую другую его сторону и находящуюся с нею в неразрывной связи. Только этим вы предохраните себя от разрыва, но никоим образом не тем, что вы соедините несоединимое, что вы произведете насилие над теоретической политической экономией, что вы захотите разорвать весь строй экономической системы, изложенной в «Капитале» Маркса.

Бессонов говорит, что я «выдумываю» новые науки: науку об общественной технике и науку о производственных отношениях людей. С гораздо большим правом я мог бы утверждать, что Бессонов хочет выдумать единую науку, которая изучает и производственные отношения людей, и производительные силы. Ведь мы, марксисты, всегда гордимся тем, что, как только мы начинаем рассуждать о производстве, о хозяйстве, мы проводим точное различие между отношением человека к природе и между отношением людей к людям. Мы считали это всегда преимуществом марксистской науки по сравнению с буржуазной. Мы всегда смеялись над буржуазными учеными, которые рассуждают на протяжении многих томов о производстве, не давая себе труда выяснить, идет ли речь о материально-технической стороне производства или о производственных отношениях людей. Как я дальше покажу, все марксисты, и Ленин в том числе, как только начинали говорить о производстве, проводили ясное различие между материально-техническим процессом производства и производственными отношениями людей. Маркс всегда говорил, что политическая экономия изучает производственные отношения людей, в то время как материально-технический процесс производства относится к сфере технологии. Маркс подчеркивает необходимость разработки особой науки, «критической истории технологии», которая должна исследовать «материальный базис каждой особой общественной организации» («Капитал», т. I, гл. 13, прим. 89). Поэтому я и указал в «Очерках», что материальные, производительные силы изучаются специаль-

ной наукой об общественной технике, наукой, которая должна получить огромное развитие.

Конечно, материальные производительные силы суть явление социальное. Они изменяются в ходе исторического развития и вызывают изменения производственных отношений людей. Значит, материальные производительные силы суть также явление историческое и социальное, как и производственные отношения людей. Но ведь мы не обязаны в одну науку включать все социальные явления. То обстоятельство, что производительные силы представляют собой социальное явление, никоим образом не обязывает нас включать их в непосредственный предмет нашего изучения. Те экономисты, которые хотят выдумать новую единую науку о хозяйстве, забывают, что каждая наука есть продукт долгого исторического развития, и что мы, марксисты, обязаны и к самой науке подойти с исторической точки зрения. Мы не можем представлять себе нашу задачу таким образом, будто мы можем сейчас сесть за стол и заново составить классификацию наук. Такой взгляд был бы неисторическим, немарксистским взглядом.

О чем мы спорим? О том ли, какой объект нам нужно избрать для науки, которую мы в будущем выдумаем и создадим, или мы спорим о том, что является на деле объектом той политической экономии, которая развивалась в течение двух столетий и нашла свое завершение в системе Маркса? Мы спорим сейчас именно о последнем. Политическая экономия, которая в «Капитале» Маркса получила стройную, законченную форму, есть наука о производственных отношениях людей. Можно даже объяснить, почему в силу исторической необходимости она стала наукой о производственных отношениях людей. С чего началась политическая экономия? Она началась с рассуждений и споров меркантилистов XVII в. о заработной плате, о прибыли, о ренте, т.-е. она началась с вопросов, относящихся к распределению совокупной стоимости между различными общественными классами. Она отражала борьбу общественных классов за их позиции в данной системе производственных отношений людей. Политическая экономия сложилась в результате ожесточенной борьбы разных классов и групп. Она сложилась, как наука о заработной плате, прибыли, ренте, словом, как наука о системе стоимостей, или о производственных отношениях людей. Различные буржуазные школы боролись за укрепление своих позиций в рамках данной, капиталистической системы производственных отношений людей. Маркс поставил вопрос на недосягаемую высоту тем, что он заговорил о самой смене производственных отношений людей, о разрушении всей системы производственных отношений капиталистического хозяйства и замене их новой системой,—социалистическим хозяйством. Именно эта грандиозная задача, вставшая перед Марксом, как идеологом рабочего класса, и побудила Маркса определить политическую экономию как науку о производственных отношениях людей.

В чем же заключалась та жестокая критика, которую Маркс направил против буржуазной экономии? Она заключалась в следующем: буржуазные экономисты доказывали, что основные явления капитализма—прибыль, заработная плата, процент, рента—необходимо вытекают из самой природы процесса производства и не могут быть изменены при изменении социальной формы хозяйства. Маркс же говорил буржуазным экономистам: все те явления, которые вы приписываете процессу производства как таковому, являющиеся результатом капиталистической формы процесса производства, все эти явления носят исторический, преходящий характер, связанный с данной социальной системой производственных отношений людей. Следовательно,—говорил Маркс,—когда развитие производительных сил вызовет необходимость ломки старой системы производственных отно-

шений людей, все экономические законы приобретут иной вид, все экономические явления будут иными. Вот каково было наиболее острое критическое оружие, при помощи которого Маркс боролся с вульгарной политической экономией. Этим острым критическим оружием было учение о том, что все экономические явления представляют собой выражение производственных отношений людей. Всякий, кто хочет выбросить это определение политической экономии как науки о производственных отношениях людей, легкомысленно отказывается от наиболее острого оружия, при помощи которого марксистская наука достигла огромных успехов. Наши критики должны отдать себе отчет в том, что они отказываются от того определения, которое разделялось всеми без исключения марксистами и которое неоднократно повторялось в трудах Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Гильфердинга, Р. Люксембург и др.

В следующих выражениях Плеханов характеризует революционный переворот в науке, произведенный Марксом: «Экономические категории сами выражают собой не что иное, как взаимные отношения людей, или целых классов общества, в общественном процессе производства. Экономическая наука только тогда и встала на правильную точку зрения, когда поняла это и занялась исследованием тех взаимных отношений, которые скрываются за мнимыми качествами вещей и за таинственными свойствами экономических категорий» (т. VI, стр. 170). Маркс не устал повторять на каждом шагу, что все экономические категории суть выражение производственных отношений людей. Стоимость есть выражение производственных отношений людей, деньги есть выражение производственных отношений людей, капитал есть выражение производственных отношений людей. Маркс произвел революцию в науке, в частности в учении о капитале, благодаря тому, что он увидел в капитале выражение производственных отношений людей. И в «Нищете философии» (1928 г., стр. 105) Маркс говорит, что «экономические категории представляют собой лишь теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства». Эту мысль повторяет и Энгельс: «В политической экономии речь идет не о вещах, а об отношениях между лицами, в последней же инстанции между классами; но эти отношения всегда связаны с вещами и проявляются как вещи» («Под Знаменем Марксизма», 1923 г., № 2—3, стр. 56). Это же определение неоднократно повторялось Лениным в самых различных его сочинениях и в самых различных комбинациях. Он писал, что предметом политической экономии является «вовсе не «производство материальных ценностей», как часто говорят (это—предмет технологии), а общественные отношения людей по производству» (Ленин, К характеристике экономического романтизма, гл. XI). Ленин так дорожил этим старым марксистским различием двух сторон процесса производства, что повторял его почти во всех своих работах. Он об этом говорит и в книге о Сисмонди, и в работе «Что такое «друзья народа»?», и в рецензии на книгу Богданова; всюду вы найдете подчеркивание той мысли, что политическая экономия изучает общественные отношения людей. Мы требуем от наших критиков прямого и ясного ответа—согласны ли они с этим старым марксистским определением предмета политической экономии или нет?

...Если они согласны, что предметом политической экономии являются производственные отношения людей, если они только подчеркивают, что при изучении производственных отношений людей мы должны постоянно апеллировать к развитию производительных сил, как той движущей причине, которая вызывает изменение производственных отношений людей, — тогда может быть найдена почва для взаимного сближения точек зрения на предмет политической экономии. Если же они идут по пути отказа от старого марксистского определения политической экономии, как науки о про-

изводственных отношений людей, если они говорят, как сегодня Бессонов пишет в своих тезисах, что и производственные отношения и производительные силы представляют собой «равноправный» предмет изучения политической экономии, то этим они отказываются от определения, которое всегда разделялось всеми без исключения марксистами. Этим они вносят всегдашнюю путаницу в определение предмета политической экономии. Они запутывают вопрос, разрешенный благодаря гениальным усилиям Маркса. Они стирают основную грань между марксистской и буржуазной политической экономией.

Я не хочу затруднять вас цитатами, но я могу вам показать на примере Касселя, одного из властителей дум современной буржуазной политической экономии, что все старания Касселя направлены именно на то, чтобы показать, что основные экономические явления, в частности прибыль и процент, вытекают необходимо из материальных особенностей процесса производства. Именно для борьбы с этим основным направлением буржуазной мысли мы должны сохранить острое оружие критики, данное нам Марксом и заключающееся в том, что мы все экономические явления рассматриваем, как выражение производственных отношений людей. Более того, я скажу даже, что те товарищи, которые так объясняют в любви к производительным силам, на самом деле все исследование производительных сил хотят свести к тем немногим главам, тем отдельным замечаниям, которыми мы можем уделить место в сфере нашей науки, в сфере теоретической политической экономии. Они игнорируют тот факт, что для изучения закономерностей развития производительных сил при капитализме нужно собрать обширнейший материал, нужно подвергнуть его тщательному анализу и исследованию, нужна специальная наука, которая отчасти и создается. Те товарищи, которые требуют включения производительных сил в предмет политической экономии, в сущности говоря, могут только тормозить развитие науки о производительных силах, в том числе развитие науки, специально изучающей производительные силы капиталистического хозяйства.

Для предотвращения разрыва между производительными силами и производственными отношениями нам не надо соединять обе эти стороны непременно в одной науке, а мы должны определить производственные отношения так, чтобы они были неразрывно связаны с производительными силами, и должны на каждом этапе нашего исследования апеллировать к развитию материальных производительных сил. Во избежание недоразумений повторяю опять, что каждый марксист должен быть горячим сторонником объяснения всех изменений производственных отношений изменениями материальных производительных сил. Если бы вы могли доказать, что функция платяжного средства развилась из функции средства обращения непосредственно под влиянием материального процесса производства, это была бы большая победа марксистской политической экономии. Пока мы этого еще не сделали. Пока мы еще не всегда можем указать те причины, которые вызвали, например, появление данной функции денег, мы еще не можем на каждом этапе исследования указать точно все причины изменения экономических форм, заключающиеся в развитии материальных производительных сил. Но в общем и целом мы можем и должны это делать, однако не смешивая различия между различными сторонами процесса производства и оставаясь всецело на почве старого марксистского определения политической экономии, как науки о производственных отношениях людей.

Многие товарищи говорят: а зачем Маркс в «Капитале» уделит такое большое внимание вопросам технологии, вопросам развития техники? Но,

товарищи, читайте Маркса, не выхватывая отдельные страницы, а беря его во всей связи его идей. Возьмем пример. Маркс пишет о развитии машин. В большой 13-й главе, занимающей 115 страниц, Маркс первые 12 страниц уделяет развитию машин для того, чтобы получить базис для своего дальнейшего исследования, и после этого первого пункта о развитии машин вы видите еще девять пунктов, в которых изучается влияние развития машин на производственные отношения людей. Второй пункт говорит о стоимости, о переносе стоимости машин на продукты, третий о действиях машин на рабочих, четвертый о фабриках, пятый о борьбе рабочих с машинами, дальнейшие пункты говорят о теории компенсации, об отталкивании и притяжении рабочих, влиянии машин на ремесло и, наконец, о фабричном законодательстве. Целый ряд экономических явлений выведен Марксом из факта развития машин. Более того, если вы прочтете эти 12 страниц, посвященные развитию машин, то увидите, что Маркс начинает с введения машин, как способа производства прибавочной стоимости, и кончает опять-таки изучением машин, как специфического способа повышения прибавочной стоимости. Со времени написания «Капитала» прошло 60 лет. С этих пор история техники, в частности история машин, сделала огромные успехи. Теперь экономисту уже не приходится, как Марксу, добывать из отдельных разбросанных замечаний сведения об истории машин, и я спрашиваю: можно ли включить десятки и сотни сочинений по истории техники в ту теоретическую систему, которая нам дана Марксом? Достаточно конкретно поставить вопрос о той действительной классификации наук, которая создалась в результате их двухсотлетней истории развития, достаточно посмотреть открытыми глазами на то действительное разделение труда, которое установилось между науками, и вы увидите, что всякий разговор о равноправном включении производительных сил и производственных отношений в сферу политической экономии представляет собою пустую фразу, за которой невозможно вскрыть никакого действительного содержания. В вопросе о предмете политической экономии мы обязаны остаться на старой позиции Маркса, мы обязаны сохранить определение политической экономии, как науки о производственных отношениях людей. Мы должны постоянно подчеркивать, что производственные отношения являются только одной стороной процесса производства, и развитие их всецело обусловлено движением материальных производительных сил. Для объяснения изменений производственных отношений людей мы должны искать соответствующую причину в материальном процессе производства. Но непосредственным предметом нашего исследования в теоретической политической экономии остаются производственные отношения людей.

2. Диалектическое единство системы производственных отношений

Перехожу ко второму пункту доклада—к вопросу о диалектическом единстве системы производственных отношений людей. Мы пришли к выводу, что производственные отношения изменяются в зависимости от развития материальных производительных сил, но тут перед нами встает следующий вопрос: если производственные отношения изменяются под влиянием изменения материальных производительных сил, сохраняется ли единство всей системы производственных отношений, свойственных данной формации хозяйства? Правда, некоторые критики отрицают самое существование этой единой системы производственных отношений людей. Бессонов в своих тезисах пишет: «Политическая экономия изучает не «систему» производственных отношений, потому что «система» есть нечто застывшее и законченное, а, наоборот, «производственные отношения данного исторически определен-

ного общества в их возникновении, развитии и упадке». (Последние слова взяты из сочинений Ленина). Словом, предметом исследования политической экономии Бессонов признает не систему производственных отношений, а наоборот, их развитие. Но как можно противопоставлять «систему» ее «развитию»? Почему не можем мы изучать систему производственных отношений в ее возникновении, развитии и упадке? Предположим, что мы примем всерьез тезис Бессонова, что политическая экономия изучает не систему производственных отношений. В таком случае, что мы сделаем с тем положением Маркса, которое говорит, что мы изучаем «экономическую структуру»? Ведь величайшая заслуга Маркса заключалась именно в том, что он нашел разные экономические структуры, разные социальные формации. Ленин в своей старой работе «Что такое «друзья народа»? много раз указывал, что в этом заключалась величайшая заслуга Маркса. Маркс сумел из множества разрозненных, запутанных общественных отношений выделить экономическую структуру, как единство производственных отношений данного общества. Разве экономическая структура не есть система? Разве экономическая формация не есть система? И у Ленина в «Что такое «друзья народа»?» вы найдете следующую фразу: Маркс «берет одну из общественно-экономических формаций—систему товарного хозяйства» (Ленин, т. I, стр. 72). «Система товарного хозяйства», «система капиталистического хозяйства»,—повидимому, Бессонов, считает, что так выражаться нельзя, ибо система означает, по его мнению, нечто застывшее.

Маркс всегда считал, что производственные отношения представляют собой известную единую, связанную в своих частях систему. В «Ницете философии» (1928 г., стр. 106). Маркс пишет: «В каждом обществе производственные отношения образуют одно целое». Что это означает? Это означает, что они составляют систему. Правда, Маркс не говорит, что эта система застывшая и неизменная, как пишет Бессонов, но ведь бывают системы,—и даже все системы в мире, скажу ему по секрету,—которые возникают, развиваются и гибнут. В конце «Критики политической экономии» Маркс пишет о Туке. Он говорит, что Тук изучал не одностронне ту или иную функцию денег, а изучал различные функции денег, но, говорит Маркс, он сделал это «без органической связи этих моментов, как друг с другом, так и с совокупной системой экономических категорий». Как видите, Маркс говорит о «системе экономических категорий». Как можно отрицать, что производственные отношения представляют собой единую систему?

Энгельс в своей статье о «Критике» считал нужным подчеркнуть, что «со времени смерти Гегеля вряд ли были попытки развить науку в ее собственной внутренней связи». Он считал, что «Критика» Маркса есть попытка рассмотреть эту внутреннюю связь всех частей данной науки, т. е. рассмотреть в целом данную систему экономических категорий и выражаемых ими экономических отношений людей.

Еще резче вы найдете об этом у Ленина в его записках о Логике Гегеля, недавно изданных. Там Ленин дает следующую резкую формулировку: «Как простая форма стоимости, отдельный акт обмена одного, данного товара на другой, уже включает в себе в неразвернутой форме в се главные противоречия капитализма» (Ленинский сборник IX, стр. 192). Если у вас нет системы экономических категорий, как же эта форма стоимости может заключать в себе в неразвернутой форме главные противоречия капитализма?

Итак, производственные отношения капиталистического хозяйства и соответствующие им экономические категории составляют определенную, единую, связанную в своих частях, систему, в которой одна форма исторически возникает из другой формы и действует на основе другой формы. Но вместе с тем мы только что говорили, что производственные отношения изменяются в зависимости от изменения материальных производительных

сил. Как нам разрешить это кажущееся противоречие? С одной стороны, все производственные отношения связаны между собой и образуют известную систему, а, с другой стороны, производственные отношения изменяются в зависимости от изменения материальных производительных сил.

Система категорий политической экономии представляет собой разноразличную и усложняющуюся систему различных производственных отношений, выраженных в различных социальных формах, — в социальной форме стоимости, капитала и т. д. Возникает ли социальная форма капитала из социальной формы стоимости или из развития материальных производительных сил? Я нарочно ставлю вопрос в такой нелепой форме: или — или, чтобы показать вам невозможность постановки вопроса в этой недиалектической форме. Мы знаем, как возникла эта социальная форма капитала. Мы знаем, что раньше существовало, хотя и не было достаточно развито, простое товарное хозяйство, представляющее собой единство производительных сил и их общественной формы. В частности, в простом товарном хозяйстве существовали, хотя и в недостаточно развитом виде, социальная форма стоимости. Мы знаем, что, под давлением именно развития материальных производительных сил производственные отношения между простыми товаропроизводителями перерастали в производственные отношения капиталистического типа. Мы знаем, что это не было перерастанием только количественным, это было перерастанием качественное, это был целый исторический переворот, скачок. Бессонов обвиняет меня в том, что у меня не получается скачка между различными общественными формациями. Я прямо написал в «Очерках», (стр. 102), что «для превращения денег в капитал необходим был огромный исторический переворот, описанный Марксом в главе о первоначальном капиталистическом накоплении». Одна социальная форма возникает из другой более простой социальной формы под влиянием изменения материальных производительных сил. Но она возникает не в пустом безвоздушном пространстве, она не возникает непосредственно как пассивный рефлекс данного состояния производительных сил, вне связи с другими социальными формами, другими производственными отношениями людей.

Итак, на поставленный выше вопрос правильно будет ответить таким образом: в пределах данной системы хозяйства каждая сложная форма производственных отношений людей возникает из более простой формы производственных отношений под давлением изменения производительных сил. Переводя эту формулировку с языка производственных отношений на язык экономических категорий или форм, мы получаем такой вывод: в пределах данной системы хозяйства каждая экономическая категория или форма возникает из развития предыдущей, более простой экономической категории или формы под давлением развития производительных сил.

Вы видите теперь всю необоснованность упрека, брошенного мне некоторыми критиками. «Вывести форму из формы — вот замкнутый круг схоластической мысли Рубина. Вывести социальную форму из отличного от нее содержания — таков действительный ход мысли Маркса». (Рецензия С. Бессонова в «Изв. ЦИК», 30 ноября 1928 г.). Это именно та ложная, недиалектическая постановка вопроса «или — или», о которой я говорил выше. Сложная социальная форма возникает или из более простой социальной формы, или из отличного от нее содержания, — так ставит вопрос критик. Сложная социальная форма возникает из более простой социальной формы под давлением определенного развития содержания, т. е. материальных производительных сил, — так отвечаем мы в полном согласии с Марксом. Критик приписывает нам мысль о непорочном зачатии одной социальной формы из другой, без вмешательства греховной материи производительных сил. Но этот упрек лишен малейшего основания. Критик забывает, что под каждой социальной формой скрываются производственные отношения

многих миллионов людей, ежедневно повторяющиеся и представляющие собой огромное многообразие. Это — постоянное море движения, в котором безостановочно происходит процесс изменения производственных отношений под влиянием развития производительных сил и появляются новые типы производственных отношений людей. Когда вы мыслите на языке категорий или социальных форм, вам кажется странным это рождение новой, более сложной формы из предыдущей, более простой, потому что социальная форма рассматривается вами как нечто статическое и застывшее. Но если вы вспомните, что под каждой социальной формой скрываются повседневно повторяющиеся отношения множества людей, то вы уже найдете здесь элемент динамический, наличие огромного многообразия, которое дает возможность постоянного развития, — разумеется, под влиянием развития производительных сил.

Мы должны остерегаться двух крайностей. Первая крайность могла бы заключаться в следующем. Мы берем определенную социальную форму (напр., стоимость) и путем диалектического развития данного понятия пытаемся вывести из него целый ряд других социальных форм (деньги, капитал и т. д.), не прибегая для объяснения этого развития к процессу движения материальных производительных сил. Это значило бы заменить диалектику предмета или реальных явлений диалектикою понятий. Но именно против этого я всегда возражал. В «Очерках» (3-е изд., стр. 102) я писал: «Одно понятие превращается у Маркса в другое не в силу имманентного логического развития, а при наличии целого ряда приходящих социально-экономических условий». Недаром некоторые критики, склоняющиеся к диалектике понятий, упрекали меня в замене «абстрактного» метода «конкретно-описательным».

Изложенное показывает всю неосновательность выдвинутого против меня С. Бессоновым обвинения в склонности к «саморазвитию понятий». Но из-за законной боязни саморазвития понятий мы не должны впадать в противоположную крайность и разрывать диалектическую связь между разными социальными формами. Если вы будете каждую экономическую форму рассматривать, как непосредственный пассивный рефлекс изменения в материальном процессе производства, тогда вся схема общественного развития приобретает следующий неправильный вид. Существует данное состояние материального процесса производства и соответствующее ему производственное отношение людей, или социальная форма. После этого изменился материальный процесс производства, он приобрел новый вид, и мы, забыв о нашей прежней социальной форме, которая уже существовала и действовала, рассматриваем новую социальную форму, как пассивный рефлекс нового состояния производительных сил, который возникает на пустом месте, вне всякой связи с уже существовавшими социальными формами. Это значит разрывать диалектическую связь всех социальных форм. Ваша новая, более сложная социальная форма возникла не непосредственно из производительных сил, а из предыдущей, более простой социальной формы. Новое производственное отношение людей возникло из прежних производственных отношений под давлением развития материальных производительных сил. Только при таком понимании вы можете сохранить внутреннее единство и диалектическую стройность всей марксовской экономической теории, в которой все социальные формы (стоимость, деньги, капитал и т. д.) неразрывно связаны между собою, как в своем историческом возникновении, так и в своем одновременном действии.

Если бы Бессонов довел свою мысль до конца, то у него получилась бы такого рода картина. Существует определенное состояние производительных сил; ему соответствуют определенные производственные отношения. Изменилось (в пределах данной экономической формации) состояние производительных сил, ему соответствуют новые производственные отношения, не имеющие с предыдущими ничего общего. Так сказать, дружбажные домики, в нижнем этаже производительные силы, в верхнем

производственные отношения. рядом с данным домиком, вне всякой связи с ним, стоит другой домик. Бессонов согласен допустить проходы в нижних этажах, но верхние этажи не должны никоим образом между собой сообщаться. Более сложная форма производственных отношений людей не имеет ничего общего с предыдущей, более простой формой производственных отношений, а является непосредственным пассивным рефлексом производственных сил. Словом, настоящая система английских, или, если вам не нравится это название, система шотландских коттеджей, которые стоят рядом друг с другом и не сообщаются. И я ставлю критикам следующий вопрос: при вашем понимании зависимости производственных отношений от производственных сил как можете вы себе мыслить диалектическое единство всех экономических категорий? Как можете вы объяснить слова Ленина, что в простой форме стоимости заключаются в неразвернутой форме все противоречия капитализма? Как можете вы сохранить единство всей системы производственных отношений и единство всей системы экономических категорий, которые у Маркса составляют содержание трех томов «Капитала»? Бессонов в тезисах очень последовательно отрицает существование «системы» производственных отношений людей. Можно думать, что он будет и далее последовательно и будет отрицать диалектическое единство всей системы экономических категорий, которые составляют содержание трех томов «Капитала» Маркса.

Сознавая, что в вопросе о предмете политической экономии мы стоим на ортодоксальной марксистской точке зрения, наши критики делают поворот и бросают нам другое обвинение. Они обвиняют нас в том, что мы изучаем не производственные отношения людей, а лишь вещную форму их проявления. Они говорят, что за вещной формой проявления у нас исчезают производственные отношения людей. Итак, раньше нас обвиняли в том, что мы изучаем производственные отношения, а не производительные силы, теперь нас обвиняют в том, что мы изучаем не производственные отношения, а вещную форму их проявления. Отсюда наши критики делают следующий вывод: раз, по их мнению, в «Очерках» вещная форма проявления закрывает собой тип производственных отношений людей, то стирается всякое различие между разными социальными формациями хозяйства, стирается различие между простым товарным хозяйством, капиталистическим хозяйством и советским хозяйством. Различие типов производственных отношений людей стирается благодаря тому, что имеется одинаковая внешняя форма их проявления, например, в виде стоимости и денег. Это обвинение у Бессонова зиждется на следующих трех аргументах. Первый аргумент: «Категории капиталистического хозяйства расценены им (Рубиным) как простое усложнение категорий товарного хозяйства. Излишне доказывать, насколько не похожа подобная точка зрения на марксистскую концепцию. Капиталистическое общество, по Марксу, это—не простое «усложнение» товарного хозяйства, это принципиально иной тип общества, хотя и на той же товарной основе, появившийся в результате катаклизма, скачка, а вовсе не в результате простого «усложнения». Этому «скачку», этому катаклизму нет места в «теории» Рубина, для которого все общества, в которых отношения людей прикрыты вещной оболочкой, по сути дела ничем, кроме большей или меньшей сложности, не отличаются друг от друга» (Рецензия Бессонова в «Изв. ЦИИ», 30 ноября 1928 г.).

Второй аргумент: Рубин отбрасывает все вопросы о распределении средств производства между разными классами и группами населения и с этой точки зрения опять-таки он стирает, затушевывает различие между простым товарным, капиталистическим и советским хозяйствами.

Третий аргумент: Рубин, придавая преувеличенное значение вещной форме проявления,—стоимости и деньгам, тем самым затушевывает различие производственных отношений людей.

Даже не разбирая этих аргументов, можно заранее сказать, что в данном пункте критики приписывают мне мысли, которые прямо противоречат всему тому, что вытекает из постановки вопроса в «Очерках». Ведь вся постановка «Очерков» направлена к тому, чтобы взять за исходный пункт изучения данную систему производственных отношений людей, данный социальный тип хозяйства, данную экономическую структуру. Я прямо утверждаю, что все экономические явления, изучаемые нашей наукой, связаны именно с данной, капиталистической, системой хозяйства и при другой системе хозяйства не могут иметь места. После того, как я провозгласил такое резкое различие между разными системами хозяйства, между разными системами производственных отношений, мне бросают упрек, что у меня получаются одинаковые законы для разных социальных форм, для разных экономических структур, для простого товарного хозяйства, для капиталистического и для советского хозяйства.

Разберем последовательно эти аргументы. Первый: Рубин рассматривает капитализм только как усложнение простого товарного хозяйства, а не как скачок. В «Очерках» (стр. 42) я писал: «Экономическая система Маркса изучает ряд усложняющихся типов производственных отношений между людьми, выраженных в ряде усложняющихся социальных форм, приобретаемых вещами». Но на той же 42 странице я написал примечание, которое Бессонов или не читал, или не приводит: «Мы имеем в виду различные виды или типы производственных отношений людей в капиталистическом обществе, а не различные типы производственных отношений, характеризующие различные общественные формации». Вы видите, как в «Очерках» поставлен вопрос. Я беру данный тип хозяйства—капиталистическое хозяйство—и в пределах данной системы изучаю отношение различных, постепенно усложняющихся социальных форм или производственных отношений, как в их историческом возникновении, так и в их одновременном действии. Я подчеркиваю, что речь идет об усложнении типов производственных отношений в пределах капиталистического общества, и тут же критик приписывает мне мысль, что простое усложнение, без качественного скачка, является переходом от одной системы производственных отношений к другой.

Второе обвинение: Рубин интересуется вещной формой социальных явлений, их внешней формой проявления, и эта внешняя форма проявления закрывает от него разные типы производственных отношений людей. Говорить так—значит исказить центральную мысль «Очерков». Ведь центральная мысль их заключается в следующем: за каждой социальной формой вещи скрывается определенный тип производственных отношений людей. Если за одной и той же формой внешнего проявления скрываются различные типы производственных отношений людей, мы не должны смешивать эти различные типы производственных отношений, мы должны их разграничить, разделить. Я писал, что «мы объединяем экономические явления в группы и строим экономические понятия по признаку тождества выражаемых ими производственных отношений людей, а не по признаку совпадения их вещного выражения» (Очерки, стр. 56). Можно ли смешивать форму цены в простом товарном хозяйстве, в капиталистическом хозяйстве, в советском хозяйстве? Можно ли смешивать эту форму цены, когда за нею скрыты совершенно различные производственные отношения людей, основанные на различном распределении средств производства между разными классами? Не будем уже говорить о том, что даже внешняя форма проявления здесь не одна и та же. Даже внешний, поверхностный наблюдатель знает, что цена, которая устанавливается плановыми органами, или органами кооперации, даже с внешней стороны коренным образом отличается от цены, которая устанавливается на основании закона стоимости и стихийного действия рынка. Даже внешняя

форма проявления этих экономических явлений бросается в глаза именно своим различием. Но, независимо от этого, даже если вы иногда не вскрываете различия внешней формы проявления, вы все же обязаны прежде всего рассмотреть тип производственных отношений, скрытый за этой внешней формой проявления. Только при полном извращении основной идеи, положенной в основу «Очерков», можно сказать, что для меня внешняя форма проявления скрывает и затушевывает различие производственных отношений людей. Наоборот, методологическое правило, которое я повторял на каждой странице «Очерков», таково: ищите всюду особенности производственных отношений людей, вскрывайте различие между ними там, где они скрыты за одинаковыми внешними формами проявления. Рассматривайте всюду социальную форму вещей лишь как выражение производственных отношений людей. Мы в политической экономии изучаем социальные формы вещей (стоимость, деньги, капитал, прибыль, зарплату), ибо производственные отношения в капиталистическом хозяйстве овеществлены; но при изучении каждой из этих форм мы должны постоянно обращаться к производственным отношениям людей, скрытым за ними, мы должны рассмотреть роль данных форм, как выражения отношений людей. Вот та основная мысль, которую я старался подчеркнуть в своих «Очерках», а отнюдь не направить ваше внимание от производственных отношений к социальным формам вещей. Я старался вскрыть роль социальных форм вещей, как выражения производственных отношений людей и как регулятора общественного процесса производства.

Третий аргумент Бессонова: Рубин затушевывает различие разных форм хозяйства, потому что он совершенно не интересуется вопросом о распределении средств производства между разными классами населения. В доказательство этого утверждения Бессонов приводит одно, по его словам, «поразительное» место из моих «Очерков». Посмотрим, кого это поразительное место поражает. Это поразительное место—примечание на стр. 40 «Очерков». В этом примечании я пишу, что мы должны отличать друг от друга две проблемы. Одна проблема касается влияния распределения средств производства между классами населения на характер производственных отношений. Эта проблема существует для каждого общества, для феодального так же, как для капиталистического. Другая проблема касается «срачивания» производственных отношений с элементами материального производства, это—проблема товарного фетишизма в узком смысле этого слова. Эта проблема существует только для капиталистического хозяйства. Отсюда Бессонов делает вывод: так как я пишу в примечании, что здесь, где мы изучаем товарный фетишизм, нас интересует именно последняя проблема, значит Рубин совершенно отмежевывается от такой кардинальной проблемы, как зависимость производственных отношений от состояния и распределения производительных сил. А раз так, то Рубин смешивает распределение средств производства между разными классами в простом товарном, капиталистическом и советском хозяйстве. Для него этот вопрос о распределении средств производства не существует.

Приведенный аргумент очень ярко иллюстрирует методы полемики Бессонова. Всякий из нас согласится, что для того, чтобы понять примечание, не вредно читать также и текст. Обычно примечание относится к какому-нибудь тексту, а в тексте (стр. 39—40) я пишу, что закон зависимости производственных отношений от распределения средств производства между разными классами есть «общесоциологический закон, имеющий силу для всех общественных формаций», потому что и «в феодальном обществе производственные отношения между людьми устанавливаются на основе распределения между ними вещей и по поводу вещей, но не через посред-

ство вещей». Значит, для феодального хозяйства существует проблема зависимости производственных отношений от распределения средств производства между разными классами, но не существует проблемы товарного фетишизма. «Особенность же товарно-капиталистического хозяйства заключается в том, что производственные отношения между людьми устанавливаются не только по поводу вещей, но и через посредство вещей» (стр. 40). Что же отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что для товарно-капиталистического хозяйства существуют две проблемы: одна проблема—зависимости производственных отношений от распределения средств производства, и другая проблема, специфически новая проблема, проблема товарного фетишизма. В примечании на той же 40 странице я прямо писал, что первая проблема имеет силу «в экономической сфере различных общественных формаций». Проблема же товарного фетишизма имеет силу только для капиталистического хозяйства. Итак, смотрите, как умудрились критики извратить мою мысль. Я говорил, что проблема зависимости производственных отношений от распределения средств производства имеет силу для всех формаций, в том числе и для капитализма, я пишу, что для капитализма существует не только эта проблема зависимости производственных отношений от распределения средств производства, но также проблема товарного фетишизма. Бессонов же пишет: для Рубина существует только проблема товарного фетишизма, для него проблема зависимости производственных отношений от распределения средств производства не существует. Там, где я пишу «не только, но и», критики пишут слово «только». Маленькая перемена, но текст от этого значительно меняется. Как видим, прием полемики довольно однообразный. Разница заключается только в следующем: один раз читается текст и не читается примечание, а другой раз читается примечание, но не читается текст.

Итак, первый прием критиков заключается в следующем: там, где автор пишет «не только, но и», критики пишут «только». Второй прием заключается в следующем: критики пишут «только» там, где у автора нет этого слова. На стр. 139 своей статьи Бессонов пишет: Рубин «говорит, что только обмен соединяет в себе неразрывно моменты социально-экономический и материально-вещный».

Возьмем 26-ю страницу «Очерков», на которую ссылается Бессонов, и увидим, что со слова «обмен» начинается новый абзац. Слово «только» приставлено Бессоновым. Нигде я не утверждаю, что «только» обмен соединяет в себе моменты вещно-технический и социально-экономический. Наоборот, в десятках мест я пишу, что процесс производства имеет тоже две стороны: материально-техническую и социально-экономическую. В данном случае, очевидно, Бессонов не догадывается, что, когда я пишу, что обмен соединяет в себе моменты социально-экономический и вещный, я повторяю фразу, сказанную Марксом десятки раз. Маркс говорит, что обмен заключает в себе «обмен веществ» и «перемену форм».

Третий прием полемики—закрывать в кавычки слова и приписывать их мне тогда, как эти слова мною никогда не произносились. На той же странице 139 Бессонов говорит: «Рубин на согно ладов раз'ясняет нам, что технология... есть нечто, относящееся к «естественным отношениям предметов»». Я знал, что таких слов «естественным отношениям предметов» у меня нет, и после поисков обнаружил в статье Бессонова большую цитату из книги Амонна, из которой видно, что эти слова принадлежат Амонну, хотя приписаны мне. Приведенных примеров достаточно для характеристики полемических приемов наших критиков.

Кончая эту часть доклада, я ставлю своим критикам следующие два основных вопроса. По первому пункту о предмете политической экономии

я ставлю вопрос: признают ли они старое марксистское определение предмета политической экономики, признают ли они, что политическая экономика изучает производственные отношения людей, или у них хватит мужества от этого определения прямо отказаться? По второму пункту я спрашиваю их: если они отрицают существование «системы» производственных отношений людей, если они отрицают, что одни социальные формы возникают из других социальных форм под давлением развития производственных сил, если они разрывают связь между разными социальными формами и экономическими категориями, то как сохраняется диалектическое единство всей системы Маркса?

Отказ от старого марксистского определения предмета политической экономики, отказ от диалектического единства всей системы Маркса,—во то истинно «ортодоксальное» учение, которое несут нам Бессонов и другие критики.

Перехожу к вопросу о диалектическом развитии категорий в «Капитале» Маркса. В первую очередь нас будет интересовать, как Маркс применяет закон единства противоположностей, в связи с законом отрицания. Иначе говоря, я не только не отрицаю скачков при переходе от одной системы производственных отношений к другой, но я считаю, что даже внутри данной системы производственных отношений, внутри системы капитализма,—как показывает нам Маркс, переходя от одной категории к другой,—каждая следующая категория является не только дальнейшим развитием предыдущей, но и ее отрицанием. Здесь мы имеем изменение качества производственных отношений внутри данной системы, данной экономической структуры. С точки зрения Маркса, данная группа явлений, в силу присущих ей внутренних противоречий, принимает другую форму, противоположную первой форме, более развитую и усложненную форму. Явления, постепенно усложняясь, принимают новую форму, противоположную первым, исходным формам. Эта идея составляет центральное положение диалектического метода Маркса. Маркс показывает, что в каждой группе явлений, образующих известное единство, в силу внутренних противоречий необходимо происходит дифференциация, поляризация, разделение различных качеств, появление противоположных элементов. Иначе говоря, необходимо появление противоположностей в группе явлений, образующих известное единство. Такова первая сторона закона единства противоположностей.

Из этого положения вытекает и обратное положение: если в каждой группе явлений, образующих известное единство, необходимо появление противоположностей, то, и наоборот, мы можем сказать, что группы явлений, обособившихся друг от друга, противоположных друг другу, образуют известное единство, в пределах которого они и являются этими противоположностями. Такова двудеиная сторона закона единства противоположностей: появление противоположностей в группе явлений, образующих известное единство, и сохранение единства в группе явлений, образующих противоположности. Эти две стороны закона Маркс подчеркнул в первом томе «Капитала» (стр. 64—65), где он пишет: «Если процессы, противостоящие друг другу как самостоятельные, образуют известное внутреннее единство, то это как раз и означает, что их внутреннее единство осуществляется в движении внешних противоположностей». Если процессы, как будто бы независимые друг от друга, образуют единство, то с другой стороны, это есть расколотоое единство, единство с внутренними противоречиями, которые движутся внутри этого единства и заставляют двигаться весь процесс. Если с этой точки зрения вы вспомните метод Маркса, применяемый им в политической экономике, то вы увидите, что этот метод отображает особенности его диалектического метода вообще.

Мы знаем, что Маркс под всеми вещными категориями увидел производственные отношения людей. На внешний взгляд вся хозяйственная жизнь в капиталистическом обществе представляется в виде движения и изменении свойств вещей. Мы видим движение цен, товаров, курса денег, уровня заработной платы и т. д. Все эти явления овеществлены, они на внешний взгляд представляют собой как бы отдельные явления, друг другу противостоящие, расположенные рядом друг с другом в пространстве общественной жизни (понимая, конечно, пространство в иносказательном смысле). Мы видим, что эти явления действуют друг на друга, но они действуют извне, как чуждые друг другу, как самостоятельные, обособленные, и поэтому мы не всегда можем открыть истинную причину их движения. Например, мы видим, что изменение цен товаров, входящих в средства существования рабочих, изменяет уровень заработной платы. Стоимость продуктов влияет на уровень заработной платы. Но мы видим в капиталистическом хозяйстве и обратное явление,—уровень заработной платы вызывает изменение цен товаров, по крайней мере частично. Когда мы наблюдаем внешнюю сторону этого ряда овеществленных и рядом расположенных друг с другом явлений, мы можем притти к самым противоположным и ошибочным выводам. Например, наблюдая эту внешнюю сторону явлений, Смит приходит к двум противоположным выводам о взаимоотношении между стоимостью и доходами. Смит говорит, что стоимость продуктов разлагается на доходы, на зарплату, прибыль и ренту, значит стоимость есть нечто первичное, и изменение стоимости обуславливает движение доходов. Но Смит впадает и в противоположный взгляд и говорит, что изменение величины доходов (заработной платы, прибыли и ренты) изменяет величину стоимости продукта. До сих пор этот спор о том, что является первичным—стоимость ли или доход, нужно ли принять за первичное стоимость и ее разложить на доходы, или надо принять за первичное доходы и из них составить стоимость,—до сих пор этот спор в буржуазной политической экономике не разрешен. Маркс вслед за Рикардо стал на точку зрения, что стоимость есть первичное. Но современная буржуазная политическая экономика делает подчас попытки взять за исходный пункт величину доходов.

Я беру этот пример только для того, чтобы показать, что, рассматривая явления с их внешней стороны, мы часто запутываемся при объяснении их взаимной связи. Мы замечаем, что одно явление действует на другое, но и второе действует на первое, и мы не знаем, откуда исходит движущая причина всей данной системы явлений. Марксу удалось заменить это изучение внешней стороны явлений изучением внутренних законов, скрытых за ними, и ему это удалось именно потому, что он за вещной формой вскрыл движение производственных отношений людей.

Уже в этом перевороте, произведенном Марксом, т.-е. в замене вещественных категорий производственными отношениями людей, сказывается особенность диалектического метода. Диалектический метод требует от нас, чтобы мы заменили исследование застывших вещей, изолированных друг от друга, изучением текучих, динамических, объединенных друг с другом процессов. Вот первая методологическая директива, которую многократно повторял Энгельс. И метод Маркса в политической экономике действительно выполняет эту директиву и сводит все застывшие формы вещей, расположенные рядом, обособленные друг от друга, как бы неподвижные, к вечно изменчивым, текучим, полным динамики процессам, изменению производственных отношений людей,—процессу, который в свою очередь вызывает изменение материальных производительных сил.

Далее, Маркс показывает нам, каким образом определенные производственные отношения людей, в частности отношения товаропроизводителей в силу внутренних противоречий усложняются и порождают новые формы

отношений людей, противоположные первым, отличающиеся от них. Маркс показывает нам постепенное усложнение производственных отношений людей, генезис новых, качественно иных форм и появление противоположных форм в группе явлений, составлявших раньше единство. Этим самым Маркс раскрывает нам систему производственных отношений, постепенно усложняющихся, принимающих новую форму, противоположную первой и вместе с тем составляющую с ней единство, внутри которого они взаимодействуют. Он опять-таки полностью применяет в политической экономии закон отрицания, т.-е. закон появления новых форм, противоположных первым, и вместе с тем показывает единство всех этих форм, показывает нам единство противоположностей. Маркс, таким образом, осуществляет основное требование диалектического метода, требование закона единства противоположностей, требование, чтобы мы познавали противоположности в явлениях и вместе с тем познавали бы их в их единстве. Я постараюсь в краткой форме показать, как закон единства противоположностей проводится Марксом на протяжении трех томов «Капитала».

3. Раздвоение товара на товар и деньги.

Начнем с вопроса о раздвоении товара на товар и деньги, или учении о разных формах стоимости. Это учение о распадении товара на товар и деньги есть вместе с тем учение о двойственной природе товара. Двойственная природа товара по Марксу является выражением двойственной природы труда как конкретного и абстрактного. Двойственная же природа труда показывает в свою очередь противоречие, скрытое в самой структуре товарного хозяйства, которое, с одной стороны, является совокупностью трудовых деятельностей, дополняющих друг друга и составляющих известное материальное единство, а, с другой стороны, носит стихийный характер и покоится на дроблении средств производства между отдельными лицами, которые производят продукты в качестве товаров и эти товары продают друг другу. Это противоречие структуры товарного хозяйства находит свое проявление в двойственной природе труда. Двойственная природа труда отражается в двойственной природе товара. Двойственная же природа товара находит свое выражение в появлении товара и денег.

Остановимся на учении Маркса о двойственной природе товара. Это один из важнейших и вместе с тем труднейших пунктов теории Маркса. Критики Маркса часто его упрекали, что в своем учении о двойственной природе товара он занимается метафизическими рассуждениями, которые не имеют основы в реальных явлениях хозяйства. Для того, чтобы показать, что Маркс здесь отнюдь не занимался чисто логическим расщеплением понятий, не соответствующих реальным явлениям, я предлагаю вам сперва этот вопрос рассмотреть аналитически, т.-е., начиная не с противоречивой природы труда и товара, а обратно, начиная с более сложных, уже развитых форм, которые имеются на поверхности хозяйственной жизни.

Что мы видим на поверхности хозяйственной жизни? Мы видим товар и деньги, противостоящие друг другу в пространстве общественной жизни, замещающие друг друга и передвигающиеся из одного места на другое. Маркс в «Критике» говорит, что, если вы посмотрите с внешней стороны на явление обмена, то вам покажется, что, перед вами целый ряд действий, друг с другом не связанных. Вы видите, как данный рубль сегодня покупает предмет А и, следовательно, меняется местами с предметом А. После этого тот же самый рубль передвигается дальше и заступает место товара В, затем С и т. д. Здесь, говорит Маркс, «исчезла определенность форм процесса» (Kritik, стр. 83). Мы не знаем социального процесса, он

скрыт за этим передвижением денег и товаров. Но, говорит Маркс, давайте посмотрим на этот процесс иначе, а именно, вспомним, что товар и деньги, которые на первый взгляд как будто противопоставлены друг другу в пространстве, на самом деле представляют собой две последовательных фазы движения одного и того же товара. Вместо того, чтобы сказать, что холст противопоставлен определенной сумме денег, вместо рассмотрения этих вещей, меняющихся местами, обратим внимание на ту перемену социальных форм, которая здесь происходит. Тогда мы увидим, что, в сущности говоря, переход холста на место денег, превращение его в известную сумму денег представляет собой не что иное, как движение самого холста, а в результате этого и стоимости холста через две противоположные фазы. Превращение товара в деньги есть не что иное, как движение товара через две противоположные фазы.

Таким образом, вы здесь видите первый прием Маркса, заключающийся в следующем: две вещи, противостоящие друг другу в пространстве, рассматриваются им, как выражение двух фаз одного и того же процесса, как прохождение одного и того же товара через две фазы. В результате этого и стоимость непременно должна пройти через эти две фазы, являясь сначала стоимостью, прикрепленную к ограниченной потребительной стоимости, и принимая затем другую форму стоимости, денежную форму.

После того, как Маркс свел товар и деньги к двум последовательным фазам движения одного и того же товара, возникает вопрос—почему же товар должен непременно пройти через две фазы: через фазу товарную и через фазу денежную? Маркс отвечает: это происходит потому, что товар обладает двумя противоположными свойствами, которые должны найти свое обнаружение в движении и поэтому не могут обнаружиться иначе, как прохождением этого товара через две противоположные фазы процесса. Иначе говоря, именно потому, что Маркс в замене товара деньгами увидел две фазы движения одного и того же товара, он пришел к мысли, что самый товар должен непременно отличаться внутренним противоречием. Эту двойственную, противоречивую природу товара Маркс, в свою очередь, свел к двойственной, противоречивой природе труда, создающего товар. Приведу одну характерную фразу Маркса из первого издания первого тома «Капитала», которая вводит нас в самую суть учения о двойственной природе труда: «Так как частный труд не есть непосредственно общественный труд, то, во-первых, общественная форма есть отличная от натуральной формы реального полезного труда, чуждая ему и абстрактная форма, и, во-вторых, все виды частного труда приобретают свой общественный характер лишь в форме противоположности (gegenständiglich), так как все они приравниваются к одному выделенному виду частного труда» (Kapital, I, 1867, стр. 33). Что Маркс говорит в этой фразе о двойственной природе труда? Он говорит: так как труд в своей натуральной форме не является непосредственно общественным трудом, то общественная форма этого труда есть чуждая ему, абстрактная форма, противоположная натуральной форме данного труда. Появляется противоположность двух форм труда: натуральной формы труда и общественной формы труда. Общественный характер труда отделен, отчужден от самого этого труда и ему противопоставлен как абстрактная форма труда. Иначе говоря, труд каждого товаропроизводителя для того, чтобы обнаружить свой общественный характер, должен непременно принять эту форму абстрактной всеобщности, или труд товаропроизводителя должен обладать двойственной формой для того, чтобы проявить свою общественную природу. Он должен обладать натуральной формой и вместе с тем он должен быть приравнен к труду абстрактному, отчужденному, от него. Это значит, что труд каждого товаропроизводителя должен проходить через две противоположные фазы движения. Он должен из той на-

туральной формы, в которой он сейчас находится, перейти в абстрактную форму, в форму, которая противостоит этой натуральной форме труда. Это не значит, что в первой фазе движения труд является только натуральным. Уже один тот факт, что этот труд должен непременно перейти в следующую фазу, накладывает на него с самого начала двойственный характер. Поэтому труд в каждой из фаз движения носит двойственный характер: в первой фазе труд является непосредственно натуральным трудом, а идеалью или потенциально он является трудом противоположного типа, трудом абстрактным. Только во второй фазе окончательно обнаруживается и реализуется этот общественный характер труда.

То же самое движение через две фазы для полного обнаружения своей общественной природы должен проделать и товар, который является продуктом этого самого труда. Тут мы подходим к основному учению о противоречивой природе товара, о том, что товар заключает в себе противоречие, которое должно быть разрешено в движении, в прохождении товара через две противоположные фазы. В чем заключается это противоречие? Оно заключается в том же, в чем заключалось противоречие труда, и Маркс об этом в «Критике» очень подробно говорит. С одной стороны, товар есть стоимостное свойство, будучи прикреплено к ограниченной потребительной стоимости товарами, свойство, которое делает возможным для его владельца обмен его на любой другой товар. Он имеет признанную общественную природу. С другой стороны, этот же товар представляет собою потребительную стоимость, натуральный продукт, к которому прикреплена стоимость, как известное общественное свойство. Пока это свойство прикреплено к данному товару в натуре, пока стоимость прикреплена к холсту, этот холст представляет собою, как Маркс говорит, — продукт индивидуального труда, его общественный характер еще не признан обществом, еще не удостоверен. Как Маркс в одном месте говорит: «товары, с одной стороны, должны вступить в процесс обмена как овеществленного всеобщего рабочего времени; с другой стороны, само овеществление рабочего времени индивидов как всеобщего есть лишь продукт процесса обмена» (Kritik, стр. 24—25). С одной стороны, труд, создающий товар, должен быть уже общественным трудом до процесса обмена, с другой стороны, только через процесс обмена его общественный характер обнаруживается. А это значит, что товар для того, чтобы обнаружить свою общественную природу, должен непременно перейти из той формы, в которой его общественная природа еще скована, благодаря той ограниченной потребительной стоимости, к которой она прикреплена, в форму непосредственно общественного продукта, т. е. в форму такого продукта, который может быть обменян на любой другой продукт, который представляет собою непосредственное воплощение общественного труда и дает его владельцу возможность приобрести такое же количество общественного труда в форме любого другого продукта. Итак, сейчас мы с вами находимся на следующей стадии наших рассуждений. Мы говорим, что существуют товары. Каждый товар есть единство стоимости и потребительной стоимости. В каждом товаре имеется то противоречие, что, с одной стороны, он имеет общественную природу стоимости, но, с другой стороны, это его общественное свойство, будучи прикреплено к ограниченной потребительской стоимости еще не получило возможности непосредственного обнаружения и не дает еще владельцу данного товара возможности получить в свое распоряжение известное количество общественного труда в форме любого продукта в натуре.

После этого учения о двойственной природе товара или учения о стоимости вообще. Маркс переходит к учению о простой форме стоимости или к учению о меновой стоимости. В чем сущность этого учения о меновой стоимости? Она заключается в следующем. Если мы возьмем группу товаров,

которые по своей природе все друг на друга похожи, — ибо каждый из них представляет собою единство стоимости и потребительной стоимости, — если мы возьмем эту группу товаров, однородных по своей общественной природе, но внутренне противоречивых, то как только эти товары вступают в отношения обмена друг с другом, необходимо должна появиться дифференциация функций между ними, необходимо должно появиться различие природы этих товаров. Тут мы подходим к учению Маркса о простой форме стоимости или к учению о дифференциации, о появлении полярно-противоположных функций обоих товаров и необходимости в результате этого появления двух форм стоимости — относительной формы стоимости и эквивалентной формы стоимости. Иначе говоря, речь идет о распадении всего мира товаров на две группы, на группу простых товаров и на всеобщий эквивалент — деньги. В этом учении мы имеем крайне яркий пример применения закона единства противоположностей, согласно которому группа предметов однородной природы, в силу внутренне присущего ей противоречия, раскалывается на две противоположные части. Социальная форма товара, которая раньше была однородна, но вместе с тем внутренне противоречива, раскалывается на две противоположные формы, на формы простого товара и денег. В «Критике политэкономии» Маркс нам развития этого процесса еще не показал. В «Критике политэкономии» Маркс показывает нам двойственную природу труда; этой двойственной природе труда соответствует двойственная природа товара, которая находит свое выражение в разделении товара на товар и деньги. Это разделение товара на товар и деньги является в «Критике», так сказать, коррелятом к двойственной природе товара и двойственной природе труда, создающего товар. Но Маркс не показывает нам, каким образом товар как единство потребительной стоимости и стоимости раскалывается на эти две противоположные формы. Эта работа проделана им только в «Капитале», в его учении о формах стоимости, одной из важнейших частей учения Маркса.

Каким образом Маркс показывает нам, что два товара, вступающие между собою в обмен, должны непременно выполнять в этом обмене различные функции? Можно сказать, что учение о простой форме стоимости есть учение о появлении первичной дифференциации в отношениях товаропроизводителей, о появлении первичной противоположности в группе товаров, которые до сих пор обладали совершенно одинаковой общественной природой, хотя и внутренне противоречивой. И именно потому, что здесь перед нами появление первичной дифференциации производственных отношений людей и социальных форм вещей (в пределах товарного хозяйства), именно поэтому простая форма стоимости имеет значение той клеточки, которая, по словам Ленина, в скрытом виде содержит в себе все противоречия капиталистического хозяйства.

Почему непременно должна начаться дифференциация функций между товаром А и товаром В, которые обмениваются друг на друга? Энгельс в статье о «Критике полит. экон.» объясняет кратко: раз мы имеем отношение двух товаров, мы имеем две стороны этого отношения. Раз имеем две стороны отношения, то они друг от друга отличаются и друг другу противоположны. Если эти общие указания применить к данному случаю, то мы должны представить себе учение Маркса о простой форме стоимости приблизительно в следующем виде. Два товара А и В вступают между собою в обмен, при этом природа обоих товаров совершенно однородна, но каждый товар внутренне противоречив. В каком смысле каждый товар внутренне противоречив? В том смысле, что, с одной стороны, он обнаруживает свою общественную природу, свою природу стоимости лишь через свое уравнение с другим продуктом. Продукт А обнаруживает свою общественную природу через уравнение с продуктом В. Но одновременно с этим продукт В обнаруживает свою общественную природу только через этот же самый обмен с продук-

том А. В этом акте обмена каждый товар должен выполнить две совершенно противоположные роли. Каждый товар должен обнаружить свою общественную природу через обмен на другой продукт, и вместе с тем должен послужить материалом для обнаружения общественной природы другого продукта. Невозможность выполнения одним товаром этих двух функций в одно и то же время ясна сама собой. Как Маркс говорит, «форма всеобщей непосредственной обмениваемости есть противоречивая (gegenseitliche) товарная форма, так же неразрывно связанная с формой не непосредственной обмениваемости, как положительный полюс магнита с его отрицательным полюсом» (Капитал, т. I, гл. 1, прим. 24). Форма всеобщей непосредственной обмениваемости, форма непосредственно общественной, присущая одному продукту, исключает такую же непосредственную общественную форму всякого другого продукта, вступающего в обмен с первым.

Действительно, предположим, что продукт В находится в непосредственной общественной форме, т. е. является продуктом признанного общественного труда и может быть обменен на продукт любого другого общественного труда. Но если товар В имеет значение продукта непосредственного общественного труда и поэтому может занять место любого другого продукта (напр., продукта А), то тем самым в этом самом акте другой продукт не может играть такую же роль непосредственного общественного продукта, обладающего формой непосредственной всеобщей обмениваемости. В данном акте обмена оба товара выполняют различные функции: товар А выступает как продукт частного труда, товар В — как продукт непосредственного общественного труда. Но ведь каждый товар по своей природе противоречив, будучи продуктом и частного и общественного труда. Следовательно, оба товара не только выполняют различные функции в данной фазе обмена, но каждый из них должен в другой фазе обмена выполнить функцию, противоположную выполняемой им в данной фазе обмена. А это и значит, что двойственная природа товара не может выразиться иначе, как в том, что каждый товар в процессе обмена должен пройти через две фазы. Первая фаза заключается в том, что товар А посредством обмена на натуральную форму другого товара В обнаруживает свою общественную природу и получает форму непосредственной всеобщей обмениваемости. Он приобретает эту форму только в результате данного акта обмена. Во второй фазе этот товар уже вступает в процесс обмена как товар непосредственно-общественный, освобожденный от своей связи с ограниченной натуральной формой данного продукта. Иначе говоря, ни один товар не может выразить свою общественную природу иначе, как посредством обмена на натуральную форму другого продукта. Таким образом мы получаем, что стоимость продукта А равна потребительной стоимости продукта В в его натуральной форме. Мы имеем здесь дифференциацию функций, ролей двух товаров, которые вступают в обмен. Один товар выражает свою стоимость через натуральную форму другого товара, а другой товар в своем натуральном виде служит выражением стоимости первого товара. Появление этой дифференциации в однообразном до сих пор мире товаров было развито Марксом в его учении о простой форме стоимости.

Было бы очень долго проследивать все тончайшие диалектические переходы, при помощи которых Маркс показывает нам, каким образом два товара, вполне равные друг другу, начинают в акте обмена играть неравную, неодинаковую, дифференцированную роль. Очень интересно проследить, как Маркс от равенства обоих товаров А и В приходит к мысли о необходимости поляризации функций, необходимости выполнения ими двух противоположных функций. Вначале Маркс употреблял термин — отношение стоимостей двух товаров, т. е. отношение, в котором оба они выполняют одинаковую роль. Потом Маркс делает шаг дальше и говорит: если вы имеете отношение стоимостей двух товаров А и В, то из этого «отношения стоимостей» (Wert-

verhältniss) двух товаров можно получить и выражение стоимости» (Wertausdruck) для одного из этих товаров. Можно выразить стоимость товара А в товаре В. Как Маркс говорит, в отношении стоимости двух товаров заключается выражение стоимости одного из этих товаров в другом товаре, или в «Wertverhältniss» заключается «Wertausdruck». Если вы почитаете первую главу «Капитала» Маркса, то увидите, что Маркс делает различие между «отношением стоимостей» двух товаров и «выражением стоимости» одного товара в другом товаре.

В чем заключается это различие? Когда вы говорите об «отношении стоимости» А к стоимости В, то ваша мысль такова: стоимость товара А равна стоимости товара В, т. е. у вас на обеих сторонах уравнения фигурирует стоимость. Вы узнали равенство обеих стоимостей, но вы не узнали стоимости ни одного из этих продуктов. Вы только узнали, что стоимость А равна стоимости В, но равна ли эта стоимость 1, 10 или 100, вы не узнали. Если вы хотите узнать стоимость хотя бы одного из этих товаров, у вас не остается другого выхода, как, приняв стоимость одного товара за данную, выразить стоимость другого в потребительной стоимости первого. Стоимость товара А равна продукту В в его натуральной форме. Теперь у вас на левой стороне уравнения будет фигурировать стоимость, а на правой — предмет в натуральной форме, предмет, который, как таковой, с его собственной кожей, как говорил Маркс, принимается вами за воплощение стоимости. Сравним два выражения: 1) стоимость А равна стоимости В; 2) стоимость А равна В. На первый взгляд эти два выражения как будто не отличаются друг от друга, а между тем между ними имеется коренная разница. В первой формуле вы имеете на обеих сторонах уравнения стоимости, но стоимость не выраженную, а во второй формуле стоимость одного продукта выражается в потребительной стоимости другого. Оба товара играют совершенно различную роль. Это различие роли заключается в том, что товар А имеет стоимость лишь постольку, поскольку он приравнен к товару В, т. е. товар А представляет собой стоимость не непосредственно, а косвенно, через посредство товара В, т. е. непосредственно он выступает лишь как потребительная стоимость. Товар В в своем натуральном виде выступает непосредственно как воплощение стоимости. Таким образом, «скрытое в товаре внутреннее противоречие (Gegensatz) между потребительной стоимостью и стоимостью выражается при помощи внешнего противоречия, т. е. при помощи отношения двух товаров (Капитал, т. I, стр. 23).

В приведенной формуле мы видим уже первичную, хотя еще и слабую дифференциацию обоих товаров, зарождение двух различных и противоположных форм стоимости. Товар А обладает формой стоимости, отличной от его собственной натуральной формы, а товар В обладает стоимостью в своей собственной натуральной форме. Обобщая, можно сказать, что мы получили две формы стоимости: одну форму стоимости, отличную от натуральной формы продукта, и другую форму стоимости, непосредственно сросшуюся с натуральной формой продукта. Мы получили две формы стоимости, противоположные друг другу: относительную и эквивалентную.

Пока мы берем только два данных товара А и В, эти товары обладают своими формами стоимости (относительной и эквивалентной) только в натуральном отношении их друг к другу. Только когда мы соотносим товар А к товару В, первый приобретает относительную, а второй — эквивалентную форму стоимости. При этом активная роль принадлежит товару А; именно он выражает свою стоимость в товаре В. Только потому, что производитель товара А соотносит свой продукт к товару В, последний в пределах данного отношения между обоими товаропроизводителями выполняет особую функцию эквивалента. В данном отношении двух товаров (например, 20 аршин холста = 1 сюртуку) стоимость сосредоточилась на одной

стороне, в сюртуке; но ведь речь идет именно о стоимости самого холста, получившей выражение в натуральной форме сюртука. «Здесь обнаруживается или получает самостоятельное (selbständigen) выражение бытие стоимости самого холста» (Капитал, т. I, стр. 13).

Мы должны обратить внимание на следующую терминологию Маркса. Маркс говорит, что стоимость холста, благодаря тому, что она выражена в сюртуке, «получает самостоятельное выражение» (Капитал, т. I, стр. 22). В первом издании «Капитала» (1867 г., стр. 768) Маркс писал, что «товар получает отличную от его натуральной формы, независимую и самостоятельную форму стоимости». «Меновая стоимость есть самостоятельная форма проявления стоимости товара» (там же, стр. 775). Стоимость холста получила самостоятельную форму вне его находящегося предмета, форму другого натурального предмета, ему противостоящего. Стоимость приобрела «отчужденную», самостоятельную форму в виде меновой стоимости. Произошел процесс «отчуждения», обособления. Стоимость холста как бы отделилась от самого холста, или, как часто выражается Маркс, внутренняя противоположность, скрытая в самом товаре, приняла форму внешней противоположности.

Когда речь идет об обмене двух товаров, то происходит поляризация функций, эти товары играют различную роль, но это различие есть, как Маркс говорит в первом издании «Капитала» (стр. 29), нечто только «милолетное» или «формальное». Это есть только формальное различие функций А и В, которое имеется только в пределах данного их отношения друг к другу. Если вы возьмете В вне отношения к А, то он не будет играть роли эквивалента. Словом, выделение денег из среды всех товаров еще не произошло, эквивалент В такой же товар, как и все остальные. Данное уравнение вы можете перевернуть, и тогда В не будет уже играть роли эквивалента относительно А. Таким образом, данное отношение между этими двумя товарами носит мимолетный, преходящий характер. Различие их функций еще не закрепились. Поэтому в данной, простой форме стоимости «еще довольно трудно уловить полярную противоположность» функций обоих товаров (Капитал, т. I, стр. 28). Правда, эта простая форма стоимости уже содержит в себе «эту противоположность, но не фиксирует ее» (там же), т.-е. не закрепляет определенную функцию за тем или иным товаром. Развитие происходит еще, как выражается Маркс в 1-м издании «Капитала» (стр. 23), «равномерно» для обоих товаров А и В, находящихся в обеих частях уравнения. Эта «равномерность» развития обеих частей уравнения исчезает уже в развернутой форме стоимости последнего тому, что продукт А обнаруживает свою общественную природу лишь через уравнение его с целым рядом других продуктов, играющих роль эквивалентов. Различие и противоположность между обоими полюсами выражения стоимости приобретает здесь уже более глубокий характер. Наконец, когда по мере расширения общественного разделения труда и развития обмена все товары начинают сравниваться с одним товаром, — золотом, — и функция всеобщего эквивалента сращивается с натуральной формой последнего, противоположность обоих полюсов выражения стоимости еще дальше «развивается и затвердевает» (Капитал, 1867 г., стр. 781). Если уже в простой форме стоимости, где товар В выполняет функцию эквивалента лишь внутри данного отношения его к другому товару, возникает иллюзия, будто он «обладает своей эквивалентной формой независимо от этого отношения» (Капитал, т. I, стр. 48), то в денежной форме эта иллюзия «укрепляется» и, наконец, «окостеневает» (verklöbert). (См. Kapital, 1867 г., стр. 33). «Форма всеобщего эквивалента срастается с натуральной формой определенного товарного вида, или кристаллизуется в денежную форму» (Капитал, т. I, стр. 48). Этот процесс окостенения или кристаллизации социальных форм прослеживается Марксом на протяжении

всех трех томов «Капитала». В данном случае этот термин означает следующее: если раньше товар В приобретал свойство эквивалента только внутри данного отношения его к товару А, если раньше вещь приобретала общественное свойство лишь при наличии данного отношения двух товаропроизводителей, то в денежной форме всеобщий эквивалент обладает свойством быть непосредственно воплощением стоимости и абстрактного труда, независимо от конкретного отношения, в которое он вступает с данным другим товаром. Золото является всеобщим эквивалентом не только в тот момент, когда к нему приравнивается холст, но и вне этого акта. Эта общественная функция закрепляется за ним, как за вещью и определенными натуральными свойствами.

Если раньше товар В приобретал свойство эквивалента, потому что на него обменивался товар А, то в применении к золоту дело имеет другой вид. Каждый товар должен быть непременно обменен на золото, потому что золото обладает свойством всеобщего эквивалента. «Без всякого своего содержания товары находят воплощение своей стоимости, как нечто готвое, как существующее вне их и на ряду с ними особое товарное тело» (Капитал, т. I, стр. 48). Внутреннее противоречие товара, делающее необходимым движение его через две последовательные и противоположные фазы процесса обмена, приняло форму внешней противоположности товара и денег, расположенных, так сказать, рядом в пространстве. Каждый товар уже находит вполне готовую и обособившуюся от него форму денег. По словам Маркса, товар находит готовую форму денег, застывшую, кристаллизованную форму денег, он находит объективную прочность всеобщего эквивалента, объективно застывшую его форму. Если раньше мы видели, что все товары сами своими действиями создают общественное свойство того товара, который выделялся в качестве всеобщего эквивалента, то после того, как это выделение совершилось, нам кажется, что деньги приводят в движение товары. В то время как на самом деле «денежная форма есть лишь застывший на данном товаре отблеск (рефлекс) отношений к нему всех остальных товаров» (Капитал, т. I, стр. 46), нам кажется, что товары сами по себе пассивны и их приводит в движение этот самый выделенный товар — деньги. Маркс при этом случае употребляет формулу, к которой он часто потом прибегает. Он говорит, что в сущности золото стало деньгами только благодаря движению всех товаров, которые обменивались на него, но это «посредствующее движение исчезает в своем собственном результате и не оставляет следа» (Капитал, т. I, стр. 48). Весь сложный общественный процесс выделения денег из товарного мира остался за спиной товаропроизводителей, он исчез в своем результате, и золото само по себе в натуральной форме является деньгами. Мы не видим всего того общественного процесса, который создал этот результат, и требуется громадная сила анализа для того, чтобы восстановить весь процесс выделения сложной формы из однородной среды, процесс появления противоположных форм там, где были раньше однородные, т.-е. процесс, подчиненный действию закона отрицания и закона единства противоположностей.

В учении о формах стоимости Маркс нарисовал процесс постепенного усиления противоположности между обоими полюсами выражения стоимости, закончившийся раздвоением товара на простой товар и деньги. Но, в согласии с законом единства противоположностей, Маркс показывает нам не только необходимость появления противоположностей в однородной ранее среде, но и необходимость сохранения единства между обособившимися друг от друга явлениями. Параллельно с тем, как усиливается противоположность между обоими участвующими в обмене товарами, усиливается также, — именно в силу того, что каждый из них приобретает все более односторонний характер, требующий дополнения в виде другого товара, отличающегося противоположными свойствами, — связывающее их единство. В про-

стой форме стоимости различие между продуктами А и В носило «милолетный» и «формальный» характер. И вместе с тем милолетным и случайным было связывающее их единство: продукт А с таким же успехом мог быть обменен на какой-нибудь другой продукт С, Д, Е и т. д., как и на данный продукт В. В денежной же форме стоимости, когда продукт В (золото) окончательно стал всеобщим эквивалентом, продукт А должен быть непременно обменен на В, но уже заранее, еще до акта обмена, соотнесен к В и имеет денежную форму. На ряду с усилением противоположности между А и В, усиливается и связывающее их единство. В чем оно заключается? Оно заключается, во-первых, в единстве их г е н е з и с а, их исторического происхождения из группы однородных товаров, которая потом расщепилась на две группы. Это единство проявляется, во-вторых, в том, что каждый товар должен пройти непременно через две стадии, через две ф а з ы (простого товара и денег), и только пройдя обе эти фазы, обнаруживает свою общественную природу. В-третьих, это единство проявляется в том, что относительная форма стоимости немислима без эквивалентной, ибо самое понятие относительной формы предполагает отношение к другому товару, являющемуся материалом для выражения стоимости данного товара, и обратно, эквивалентная форма невозможна без относительной, словом, в з а и м о о б у с л о в л е н н о с т ь этих противоположных форм. Наконец, мы имеем не только взаимообусловленность, но и взаимопроникновение этих форм, ибо с того момента, когда совершилось распадение товарного мира на простой товар и на деньги, каждый товар непременно должен пройти две фазы и превратиться в деньги, поэтому каждый товар, еще не будучи реально превращен в деньги, имеет уже потенциальную или идеальную форму денег, которые выполняют роль меры стоимости. Товар заключает в себе потенциальную форму денег, а деньги суть «метаморфозированный товар», т.-е. несут печать предшествующего обмена данного товара на данную сумму денег. Итак, мы имеем генетическое единство происхождения этих двух противоположных форм, внутреннюю связь их как двух последовательных фаз движения одного и того же товара, взаимообусловленность их, так как ни одну из этих форм невозможно мыслить без другой формы, и, наконец, их взаимопроникновение, так как каждая из них является не только одной формой, но потенциально является и другой формой. Таким образом, в учении о раздвоении товара на простой товар и на деньги, в этом учении об усилении их противоположностей и вместе с тем их дополняющего друг друга характера, т.-е., их единства, мы имеем яркую иллюстрацию закона единства противоположностей.

Изложенное учение Маркса о генезисе денег должно, во-первых, объяснить и с т о р и ч е с к и й процесс возникновения денег из товара (точнее, из продуктов, находившихся в процессе своего превращения в товары) и, во-вторых, вскрыть законы одновременного и взаимообусловленного движения товаров и денег в развитии капиталистическом хозяйстве. В соответствии с этим и закон единства противоположностей должен в данном случае, во-первых, показать нам единство исторического корня и процесс постепенного обособления двух противоположных форм товара и, во-вторых, вскрыть единство и различие движения товаров и денег в капиталистическом хозяйстве. Критики Маркса утверждали, что в своем учении о противоречивой природе товара и раздвоении его на простой товар и деньги Маркс прибегал к «саморазвитию понятий». Это неверно. Изложенное учение Маркса отражает реальный общественный процесс, который, с одной стороны, имел место в определенном исторический период (различный для разных народов) и, с другой стороны, оставил в капиталистическом хозяйстве результат в виде двух противоположных и взаимодействующих сфер: товарного обращения и денежного обращения. Выделение денег было результатом участившего и многократно повторявшегося движения товаров в обмене; это движение товаров отражало определенный характер производственных отношений не-

жду членами общества как товаропроизводителями; наконец, распространение данного типа производственных отношений вызывалось потребностями материального процесса производства. Эту связь явлений мы можем представить себе приблизительно в следующем виде.

Развитие общественного разделения труда как внутри одной общины, так и между чуждыми общинами усилило потребность в общественном «обмене веществе», в получении продуктов чужого труда. Возникая на основе уже существующего различия сфер производства, обмен закрепляет и развивает дальше это различие. Внутри общины отдельные части и сферы производства, носившие ранее непосредственно общественный характер, «самостоятельно обособляются (verselbständigen sich) настолько, что связь между разными видами труда опосредствуется через обмен продуктов, как товаров» (Kapital, т. I, 1922 г., стр. 317). Происходит «самостоятельное обособление» (Verselbständigung) труда разных видов и индивидов (там же). Внутри общины, — отчасти под влиянием обмена с чужими (fremde) общинами, — возникает «отношение взаимной чуждости» (Fremdheit) между отдельными ее членами (Там же, стр. 54), которые превращаются в товаропроизводителей. Труд отдельных лиц становится «независимым», а, вместе с тем, усиливается материальная связанность труда разных видов и индивидов. Это основное противоречие товарного хозяйства все более углубляется по мере того, как, с одной стороны, развивается общественное разделение труда, а, с другой стороны, благодаря неорганизованности и стихийности хозяйства, действия и производственные отношения товаропроизводителей все более дифференцируются, «обособляются», «отчуждаются» и параллельно с этим «овеществляются», «срачиваются» с вещами. Дифференциация действий и отношений товаропроизводителей; «овеществление» (Versachlichung) производственных отношений, «сращение» их с вещами и «окостенение» (Verknöcherung) их в виде социальных форм вещей; постепенное «обособление» (Verselbständigung) и «отчуждение» (Entfremdung) производственных отношений и соответствующих им социальных форм вещей; генезис из простых форм более сложных, противоположных первым и вместе с тем составляющих с ними единство, — все это лишь различные стороны грандиозного процесса развития и усложнения общества товаропроизводителей. Этот процесс представляет собою одновременное осуществление: социологического закона общественного разделения труда и дифференциации функций отдельных членов и групп общества; экономического закона овеществления производственных отношений и сращения их с вещами; общедиалектического закона единства противоположностей. Рассмотрим вкратце с этих трех сторон описанный нами процесс раздвоения товара на простой товар и деньги.

Маркс указывает, что раздвоение товара является отражением раздвоения функций товаропроизводителя. «Товаровладельцы вступили в процесс обмена просто как хранители товаров. Внутри этого процесса они противостоят друг другу в противоречивой (gegensätzliche) форме покупателя и продавца, один — как персонифицированная голова сахара, другой — как персонифицированное золото. Когда голова сахара становится золотом, продавец становится покупателем. Эти определенные социальные характеры возникают не из человеческой индивидуальности вообще, а из меновых отношений людей, производящих свои продукты в определенной форме товара» (Kritik, стр. 83—84). В этой фразе Маркс прекрасно передает связь между дифференциацией действий и социальных характеров людей, персонификацией вещей и прогрессирующей противоположностью (и единством) действий людей и социальных форм вещей.

Процесс раздвоения товара означает не только первичную дифференциацию функций товаропроизводителей, но и первичное овеществление производственных отношений в вещах. Учение о генезисе денег есть учение

о «сращении» производственного отношения людей с натуральной формой вещи. В этом учении Маркс показал нам, каким образом социальные функции, которые вначале приобретаются вещами только внутри данных, определенных производственных отношений людей, закрепляются за вещь, помимо данных производственных отношений. Маркс много раз подчеркивал особенность эквивалента, заключающуюся в том, что, хотя он первично получает свою социальную форму только внутри данных отношений между товарами А и В, нам кажется, что эта социальная форма принадлежит ему по природе. А тогда, когда эта социальная форма в силу развития обмена и действий всех товаропроизводителей срачивается с золотом, мы получаем непосредственно общественную форму, присущую данному продукту в природе, независимо от тех производственных отношений, в которых он в данный момент фигурирует. Мы получаем социальную форму застывшую, окостеневшую, сращенную с вещью, кристаллизованную.

Итак, с одной стороны, вы имеете здесь яркую иллюстрацию учения Маркса об овеществлении производственных отношений, о сращении их с натуральной формой вещей, о приобретении вещью социальных функций, которыми она обладает, независимо от тех конкретных производственных отношений, в которых она в данный момент фигурирует. И, с другой стороны, в этом же учении о формах стоимости мы имеем яркий пример постепенного усиления противоположности между товарами и деньгами, выражающей две стороны природы товара, постепенное усиление этой противоположности, которая вначале являлась только временной и переходящей. Учение Маркса о распадении товара на две противоположные формы представляет собою яркую иллюстрацию диалектического закона отрицания и закона единства противоположностей!

В процессе раздвоения товара дифференциация функций людей, овеществление производственных отношений и развитие противоположностей внутри единства носят еще первичный характер. Действительно, «противоположность (Gegensatz) между покупателем и продавцом» носит еще «поверхностный и формальный» характер («Kritik», стр. 84—85), так как лицо, выступающее в данный момент в роли продавца, через некоторое время выступит в роли покупателя. Правда, различию между товаром и деньгами соответствуют различные экономические функции товаропроизводителя. «Два противоположные превращения товара (Г—Д и Д—Т) осуществляются в двух противоположных актах товаровладельца и отражаются в двух противоположных экономических функциях этого последнего» (Капитал, т. I, стр. 62). Но товаровладелец постоянно «меняет роль продавца на роль покупателя. Следовательно, купля и продажа представляют не прочно фиксированные функции, но функции, постоянно меняющиеся в процессе товарного обращения тех индивидуумов, которыми они выполняются» (Там же, стр. 63). Различные экономические функции еще не «кристаллизованы», не закреплены постоянно за определенными лицами.

Подобно тому, как дифференциация функций между покупателем и продавцом носит еще первичный и неразвитый характер, точно так же и процесс овеществления производственных отношений людей в товаре и деньгах носит еще первичный характер по сравнению с более сложными формами (капиталом, процентом и т. п.).

Наконец, и развитие противоположностей в единстве носит еще в процессе раздвоения товара первичный характер. Но так как «противоречие (Gegensatz) товара и денег есть абстрактная и всеобщая форма всех противоречий, содержащихся в буржуазном труде» («Kritik», стр. 85—86), то с дальнейшим развитием и усложнением этого противоречия нам еще неоднократно придется встречаться ниже.

(Окончание следует).

Предмет политической экономии в современных спорах.

Гр. Деборин.

Своеобразная историческая эпоха, ныне нами переживаемая,—эпоха грандиозных побед и значительных трудностей, героического наступления и постепенного хозяйственного развертывания, эпоха социалистического строительства в условиях капиталистического окружения,—способствует появлению всевозможных идеологических шатаний среди неустойчивых элементов рабочего класса нашего Союза и его партии. Отход от основных принципов марксизма-ленинизма наблюдается не только в отношении экономической политики, но также и в сфере общественных наук. В области философии, в истории, в теории литературы и в других науках замечается ряд выступлений, истинная сущность которых зачастую весьма умело скрыта и искусно затушевана.

Политическая экономия, в лице ее современных представителей, не желает оставаться в стороне от великих событий сегодняшнего дня. Здесь также наблюдается постепенное формирование небольшой группы «защитников» Маркса и марксизма, которая, благополучно завершив утробный период своего развития, постепенно начинает выбираться на широкую дорогу советской печати и публичных дискуссий. Не выступая непосредственно и открыто против политической экономии Маркса, наши «правверные» экономисты избрали, на сей раз, объектом своего беспощадного нападения И. Рубина, не замечая, в простоте душевной, что отравленные стрелы их сокрушительной критики попадают совсем не в того, против кого они направлены. Вместо того, чтобы критиковать то неточное и неправильное, что иногда встречается в работах тов. Рубина, вместо того, чтобы помочь ему преодолеть эти неправильности, они пытаются исказить Маркса в трактовке основных экономических вопросов и проблем, в частности предмета политической экономии, умело прикрываясь негодующими выкриками по адресу тов. Рубина.

Дело обстояло более или менее благополучно до тех пор, пока наши «ревнители марксизма» ограничивались краткими замечаниями полурецензентского, полуругательного характера. Но, «чем дальше в лес, тем больше дров». Неумолимые интересы борьбы вынудили «антирубинистов» перейти от кратких указаний к широкому обоснованию своей концепции. И тут, в первой же статье, открывающей собою, повидимому, целый «крестовый поход», мы находим совершенно неправильное, ревизионистское понимание предмета политической экономии, несмотря на то, что более чем осторожный автор статьи всячески старался ограничиться голой критикой, целомудренно избегая выявить положительную часть своей точки зрения. Последнее обстоятельство приводит к тому, что концепцию автора приходится выуживать, в буквальном смысле слова, по крохам.

В настоящей статье мы отнюдь не ставим себе задачей оправдать или защитить тов. Рубина от кавалерийских наскоков современных критиков Маркса. С этой задачей он и сам справится. С другой стороны, проделываемая им большая научно-исследовательская работа по комментированию и углубленному изучению Маркса в особой рекомендации не нуждается. Наша задача сводится только к тому, чтобы постараться показать настоящий характер современных споров в области теоретической экономики, выявить их ревизионистское существо. Исходя из этого, мы, в области взятого нами вопроса, ограничимся разбором некоторых основных положений, не следуя за всеми изгибами причудливой мысли «критика». Вместе с тем, мы не будем особо останавливаться на его полемических приемах, заключающихся в нарочитом, сознательном искажении мысли противника, «нечаянно» пропуске при цитировании тех или иных отдельных слов и, наконец, в преднамеренной перестановке слов и выражений, изменяющих весь смысл приводимых цитат.

* * *

Статья тов. С. Бессонова¹⁾ начинается тезисами, выставленными ее автором на прошлогодней дискуссии в Институте Красной Профессуры, которые теперь приводятся, очевидно, для самооправдания, а также для демонстрирования своего «благородства» по отношению к И. Рубину. Только со второй главки своей статьи тов. С. Бессонов переходит к сути дела, приступает к выяснению предмета политической экономики. Здесь под сурдинку критики тов. Рубина автором протаскивается свое собственное определение, в котором за революционно-марксистской фразеологией скрывается ревизия Маркса, отход от правильного понимания сущности и задач политической экономики.

Книга тов. Рубина, представляющая собой объект критики для тов. С. Бессонова, начинается, как известно, с краткого «Введения», в котором определяется место политической экономики в системе марксистских общественных наук, ее взаимоотношение с историческим материализмом. Автор книги подчеркивает общее идейное родство этих двух основных марксистских наук, заключающееся в том, чтобы обе они вместе взятые «вращаются вокруг одного и того же основного вопроса об отношении между производительными силами и производственными отношениями людей. Предмет изучения у них обоих один и тот же: изменения производственных отношений людей в зависимости от развития производительных сил»²⁾. Отмечая эту общность исторического материализма и политической экономики, И. Рубин не забывает и про их различие, заключающееся в том, что политическая экономика «изучает производственные отношения людей в капиталистическом обществе»³⁾, чем она и отличается от исторического материализма, имеющего свой, значительно более обширный объект изучения.

Этот вполне понятный каждому мыслящему человеку диалектический ход рассуждений тов. Рубина С. Бессонов пытается представить как два различных противоречивых определения, старается полностью отождествить политическую экономию с историческим материализмом, стереть всякое различие между ними, приписав обоим этим наукам один и тот же объект изучения. От считает, что объектом изучения политической экономики

¹⁾ С. Бессонов, Против выхолащивания марксизма, журнал «Проблемы Экономики» №№ 1 и 2. Все цитаты, в дальнейшем, приводятся по № 1.

²⁾ Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса, 3-е издание, стр. 10. Курсив здесь и всюду дальше, где это особо не оговорено, принадлежит цитируемому автору.

³⁾ Там же, стр. 11.

является материальное производство и что обе стороны этого материального производства: производительные силы и производственные отношения равноправно изучаются нашей наукой. Мы же считаем, и постараемся это доказать, что подобные утверждения не только противоречат всему содержанию работ Маркса и Ленина, но и свидетельствуют о полнейшей непонимании задач и отличительных особенностей политической экономики. Употребляя выражение тов. С. Бессонова из его «тезисов», мы ему скажем: если даваемое в разбираемой нами статье понимание задач и предмета политической экономики «ошибка», от него следует отказаться. Если это точка зрения — с ней надо решительно бороться»¹⁾. К сожалению, статья С. Бессонова дает все основания предполагать наличие второго варианта.

Политическая экономика Маркса, несомненно, находится в теснейшей связи («идейном родстве», говорит тов. Рубин) с историческим материализмом. Представляя собой основную марксистскую общественную науку, исторический материализм вместе с политической экономией изучает, главным образом, вопрос об отношении между производительными силами и производственными отношениями. Задача этих наук взятых вместе, свойственный им обобщенный предмет исследования (за вычетом специфических особенностей объекта каждой из этих наук, взятых обособленно), заключается в том, чтобы изучить, каким образом происходит и осуществляется диалектический процесс развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений, как эти отношения, определяясь производительными силами, оказывают на них, в свою очередь, обратное воздействие. Наконец, здесь исследуется также противоречие, конфликт, возникающий между производительными силами и производственными отношениями, — конфликт, неминуемо ведущий к ниспровержению устаревшей экономической оболочки. С другой стороны, исторический материализм, как таковой, включает в себя еще особую весьма существенную часть, изучающую социально-политическую и идеологическую стороны общественной жизни. Этот круг основных и решающих вопросов, затрагиваемых историческим материализмом, и составляет то «реальное основание», на котором возвышается все многосложное и широко разветвленное здание марксистских общественных наук. Все эти отдельные науки и «теории», в силу общей им всем теоретической основы, являющейся отражением единства реальной действительности, выступают в виде целостного и монолитного единства, в котором все его части взаимно связаны и обусловлены аналогично тому, как взаимно связаны и обусловлены различные стороны единого человеческого общества.

Диалектический материализм является синтетическим итогом, охватывающим всю совокупность результатов человеческого познания и практики в области природы, общества и мышления. Исторический же материализм, будучи приложением диалектического материализма к человеческому обществу, также представляет собой совокупность результатов, получаемых в итоге познания и изучения этого общества, является синтезом наук, изучающих различные стороны общественной жизни. Поэтому он исследует, главным образом, основные движущие законы исторического развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений. Он устанавливает их соподчиненность, разбирает противоречия, возникающие в процессе их развития и совместного движения, останавливается на изменениях в различных способах общественного производства и их периодических сменах. Иначе говоря, исторический материализм изучает взаимодействие между всеми сторонами общественной жизни.

¹⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 124.

Представляя собой основу марксистских общественных наук, их всеобъемлющее завершение, исторический материализм, естественно, базируется на их развитии, так как отдельные стороны общественной жизни, составляющие предмет изучения этих наук, хотя им и затрагиваются, но, разумеется, отнюдь не исчерпываются. Подобными науками являются, например, теория права и государства, теория литературы, теория искусства, история философии и т. д. Все они берут только одну какую-нибудь сторону многообразной общественной жизни, подвергают ее самостоятельному изучению, абстрагируясь, в то же время, от других смежных сторон, находящихся во взаимоотношении с изучаемой. Конечно, подобное абстрагирование, отнюдь не означает отбрасывание смежных сторон проблемы, которые все время предполагаются.

Так, например, теория литературы изучает только одну лишь литературу, не затрагивая права и государства, производственных отношений, производительных сил и т. п., как не составляющих непосредственного предмета ее исследования. И, в самом деле, никто ведь не может потребовать, чтобы теория литературы изучала все эти стороны общественной жизни. А, между тем, литература всецело определяется данной социально-политической надстройкой, ее отражает. Без понимания этой надстройки, а вместе с тем и лежащих в ее основе экономических отношений невозможно дать теорию литературы, невозможно ее изучение. И, тем не менее, ни социально-политическая, ни экономическая сторона общественной жизни не могут войти в объект теории литературы. Они привлекаются исследователем только в качестве предпосылки данной науки, только постольку, поскольку ими определяется характер данного предмета исследования.

Во всякой науке объект непосредственного исследования должен быть различаем от соприкасающихся с ним сторон, не входящих в предмет этой науки, представляющих собой объект для других наук со своими специфическими особенностями. И этот путь известного разделения труда между различными самостоятельными, но, вместе с тем, взаимно связанными науками является единственным путем, ведущим нас к наиболее полному и глубокому изучению объективной действительности. Научное «познание» требует разложения единого жизненного процесса. Последний настолько сложен, что его необходимо разложить для изучения на некоторые отдельные ряды явлений¹⁾. Мы должны четко различать объект изучения каждой науки от ее предпосылок, точно размежевывать данную науку от смежных наук и теорий, подчеркивая, вместе с тем, относительность подобного размежевания. Смешение же различных наук только затрудняет их развитие, растворяет действительный объект исследования в бездне общих слов и бессодержательных определений.

Отсюда ясно, что исторический материализм, как изучающий взаимодействие всех сторон общественной жизни, при разборе вопросов, связанных с системой производственных отношений людей, экономикой данного общества, устанавливает только некоторые общие законы и положения, к тому же не детализованные для различных экономических формаций общества. Он не останавливается, во всех подробностях, на различных видах и типах производственных отношений, не исследует их со всей тщательностью и подробностью. Исторический материализм интересуется только соотношением между производственными отношениями и производительными силами. Связь между последними и является объектом его исследования в данной области. В противоположность этому, политическая экономия изучает только производственные отношения, в том числе и классовые отношения, к тому же производственные отношения одного определен-

¹⁾ Бухарин, Политическая экономия рантье, 1924 г., стр. 13.

ного—товарно-капиталистического—общества. Если объектом исторического материализма является связь между производственными отношениями и другими сторонами общественной жизни, то политическая экономия изучает только производственные отношения. Последние берутся ею, разумеется, не как изолированные социальные отношения, а как отношения, находясь в тесной и неразрывной связи с производительными силами общества, а также и его социально-политической надстройкой. В противоположность историческому материализму предметом политической экономии являются производственные отношения в их связи с производительными силами, а не эта связь, как специфический объект.

Политическая экономия «изучает производственные отношения людей в капиталистическом обществе», говорит неоднократно тов. Рубин. Тесно соприкасаясь с другими сторонами общественной жизни, в первую очередь с производительными силами, политическая экономия, тем не менее, имеет свой собственный объект исследования. Все другие смежные проблемы ею специально не изучаются. Они затрагиваются лишь постольку, поскольку они находятся во взаимодействии с производственными отношениями, являются их предпосылкой. В частности, громадное, богатейшее содержание, связанное с производительными силами и правовыми отношениями, не может быть исчерпано политической экономией. Поэтому оно становится объектом исследования для других самостоятельных наук. Правовые отношения изучаются марксовой теорией права. Производительные силы могут стать предметом изучения для науки, которую Рубин предлагает назвать «наукой об общественной технике». Но так как эта последняя пока что находится в зачаточном состоянии, то мы не будем обсуждать ее наименование и содержание.

Таково то разделение общественных наук, которое принято в марксизме. И если тов. Бессонов этого не понимает, то тем хуже для него. Это непонимание заставляет его подвергать текст книги И. Рубина всевозможным филологическим изысканиям, придавать слову «предпосылка» различные значения, выводя из этого, что производительные силы не могут быть «предпосылкой» для политической экономии, а непременно должны входить в предмет ее исследования. «Итак, на протяжении двух страниц,—пишет он,—политическая экономия, благодаря ловкости автора, оказалась радикально освобожденной от грубого соседства с материальными производительными силами. Сначала политическая экономия вместе с истматом изучала процесс изменения производственных отношений под воздействием производственных сил и нарастание противоречий между ними. Затем произошло словесное расщепление единой науки на две, и политическая экономия стала изучать производственные отношения в их взаимодействии с производительными силами. Наконец, благодаря подмене слов «взаимодействие» словом «предпосылка» политическая экономия превратилась в науку о чистых производственных отношениях, для каковой науки материальные производительные силы есть лишь предпосылка, далекий и смутный исходный пункт»¹⁾. Несколько далее мы разберем «чистые производственные отношения», введенные тов. Бессоновым. Здесь же нас интересует только та формально-логическая схема, которая им предлагается взамен установленного в марксизме диалектического разделения общественных наук. «Или производительные силы непосредственно входят в объект политической экономии, изучаются ею наравне с производственными отношениями, или же они не имеют никакого к ней отношения. Ничего третьего не дано». Так, например, рисуются нам рассуждения С. Бессонова, который не представляет себе, чтобы политическая экономия могла изучать производственные отно-

¹⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 130.

шения людей, имея предпосылкой своего изучения производительные силы общества. Если последовательно применять эти рассуждения к другим наукам, то тогда в предмет изучения каждой науки должны быть включены все те стороны и проблемы, которые с нею соприкасаются, являются ее предпосылками. Иначе говоря, начав изучать одну какую-нибудь науку, мы постепенно включили бы в ее объект все то, что должно изучаться другими совсем отдаленными науками и теориями.

Если мы обратимся к классикам марксизма, то не замедлим обнаружить, что они были весьма и весьма далеки от Бессоновской постановки вопроса. Маркс, Энгельс и Ленин неустанно повторяли в своих работах, что объектом политической экономии являются производственные отношения. Так, например, характеризуя экономическое учение Маркса, Ленин писал, что задачей «Капитала», согласно его автору, «является открытие экономического закона движения современного общества», т. е. капиталистического, буржуазного общества. Исследование производственных отношений данного, исторически определенного общества в их возникновении, развитии и упадке—таково содержание экономического учения Маркса¹⁾. Об этом он неоднократно говорит и в своих более ранних работах. Рецензируя «Краткий курс экономической науки» А. Богданова, Ленин отмечает, как одно из самых значительных ее достоинств, что «автор с самого начала дает ясное и точное определение политической экономии, как «науки, изучающей общественные отношения производства и распределения в их развитии», и ниже не отступает от такого взгляда, нередко весьма плохо понимаемого учеными профессорами политической экономии, сбивающимися с «общественных отношений производства» на производство вообще (не относятся ли эти слова Владимира Ильича также и к некоторым современным ультра-«марксистам» и ультра-«материалистам» в политической экономии? Г. Д.) и наполняющими свои толстые курсы грудой бессодержательных и не относящихся вовсе к общественной науке банальностей и примеров»²⁾.

Энгельс говорит, что в «Капитале» «мы сразу имеем перед собой пример своеобразного явления, красной нитью проходящего через всю политическую экономию и породившего ужасную путаницу в головах буржуазных экономистов: в политической экономии речь идет не о вещах, а об отношениях между лицами, в последней же инстанции между классами; но эти отношения всегда связаны с вещами и проявляются как вещи»³⁾.

Таким образом, как Ленин, так и Энгельс отмечают, что в «Капитале» Маркс изучает именно производственные отношения, а не производство вообще, как это вытекает из концепции С. Бессонова. Мы все-таки считаем, что, очевидно, Ленин и Энгельс лучше поняли «Капитал», чем тов. Бессонов, и если кто и ошибается в этом вопросе, так это именно наш автор, а не классики марксизма.

Определение политической экономии, как науки о производственных отношениях людей в капиталистическом хозяйстве, дают также и Плеханов, Гильфердинг, Каутский, Бухарин, Роза Люксембург и др. Наконец, даже друг и верный соратник тов. Бессонова—Александр Кон—изменяет ему в этом вопросе, справедливо считая, что «политическая экономия представляет собой теоретическую науку, изучающую производственные отношения капита-

¹⁾ Ленин, Маркс, Энгельс, марксизм. Сборник Института Ленина, 1925 г., стр. 17. Курсив наш. Г. Д.

²⁾ Ленин, Сочинения, 2-е издание, 1926 г., т. II, стр. 371.

³⁾ Энгельс, Карл Маркс. Критика политической экономии, «Под Знаменем Марксизма» № 2—3, 1923 г., стр. 56. Курсив наш. Г. Д.

стического общества»¹⁾. Интересно было бы узнать, остается ли тов. Кон и теперь на почве своего прежнего определения или, по примеру тов. Бессонова, считает нужным от него отойти, отказаться от того острого оружия, с которым марксистская политическая экономия, на протяжении десятилетия, сражалась против буржуазной политической экономии и ее побеждала.

Таким образом точка зрения Рубина полностью соответствует высказываниям и прямым заявлениям всех классиков марксизма. Поэтому, когда С. Бессонов свистает против того определения политической экономии, которое имеется в книге его противника, то он нападает не на одного лишь тов. Рубина. Наш свирепый судья, очевидно, в силу чрезмерной теоретической близорукости и критической горячности, не замечает, что на скамье подсудимых находится не один обвиняемый. Заставляя политическую экономию изучать производительные силы общества, С. Бессонов собственноручно уничтожает ее марксистское содержание, «сводит» воедино исторический материализм, политическую экономию и науку об общественной технике. Под прикрытием своих громких воплей о будто бы совершаемом И. Рубиным «выхолащивании» Бессонов сам производит эту операцию. Ибо очевидно, что если бы политическая экономия изучала только производство в его непосредственном выражении, а не вырастающие на его основе производственные отношения, то целый ряд важнейших экономических категорий, которые отделены от производительных сил, не находятся с ними в ближайшем отношении и не могут быть объяснены из их развития, оказался бы за бортом науки. Как, напр., можно проанализировать, исходя из Бессоновской точки зрения, такие «вещи», как фиктивный капитал или, предположим, цену? Как можно исследовать форму стоимости, или рыночную стоимость? Нельзя же в конце концов просто отвергнуть эти понятия, признать их не существующими, подобно тому, как расправляется С. Бессонов с товарным фетишизмом. Или, быть может, их также можно подsunуть историческому материализму? Но как же вы тогда прикажете поступить с своеобразной, чисто-экономической природой названных категорий? На все эти вопросы, равно как и на многие другие им подобные, нельзя дать сколько-нибудь вразумительного ответа, если последовательно придерживаться концепции, выдвигаемой С. Бессоновым.

Итак, политическая экономия, как об этом недвусмысленно заявляют основоположники марксизма, изучает производственные отношения людей. Тов. Бессонову, очевидно, представляется, что под производственными отношениями следует понимать «чистые» социальные отношения, совершенно оторванные от процесса материального производства, от производительных сил общества. «Только в самое последнее время,—безапелляционно заявляет он,—когда криком академической моды стало учение Рубина вместо учения Маркса, материальные производительные силы были неожиданно вышвырнуты за порог политической экономии, зависимость производственных отношений от состояния и распределения производительных сил была объявлена безразличной для экономического исследования, и вся революционная и динамическая сторона Марксова учения была тем самым переадресована к несуществующей пока что науке об общественной технике»²⁾. В этой цитате, равно как и на протяжении всей статьи, мысль С. Бессонова движется по все тому же формальному, антидиалектическому пути:—«или—или». Поэтому ему и не удастся уяснить себе той, весьма простой вещи, что если производительные силы не входят непосредственно в предмет политической экономии, то это вовсе не означает ее освобождения

¹⁾ Кон, Курс политической экономии, 2-е издание, 1928 г., стр. 11. См. также Кон, Лекции по методологии политической экономии.

²⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 132.

«от грубого соседства с материальными производительными силами». Наоборот. Мы категорически утверждаем, что всестороннее исследование и понимание связи между производительными силами и производственными отношениями может быть достигнуто только на основе их раздельного изучения и именно посредством такого изучения.

В реальной действительности, не подчиняющейся законам формально-логического мышления, связь между различными рядами смежных явлений оказывается далеко не столь простой, как это представляется тов. Бессонову. Производственные отношения, представляющие собой некоторое иное качество, существенно отличающееся от производительных сил, возникают на их основе, немислимы без них. Согласно самому своему наименованию производственные отношения представляют собой те взаимные отношения, которые возникают между людьми в процессе материального производства, т. е. в результате применения общественным человеком принадлежащих ему производительных сил. Без производительных сил, конечно, невозможны производственные отношения, которые возникают только как взаимные отношения людей на основе применения и использования этих производительных сил. С другой стороны, производительные силы предполагают существование производственных отношений, без которых они неминуемо превращаются в разрозненные средства и условия производства, становятся мертвыми и не жизненными. Процесс материального производства осуществляется только как единство производительных сил с соответствующими им производственными отношениями.

Но единство производительных сил и производственных отношений является единством противоположностей. На ряду с их соединением, на ряду со взаимодействием, существующим между ними, необходимо сугубо подчеркнуть также и их различие. Производственные отношения, вырастая на основе данной ступени развития производительных сил общества, отнюдь не отражают в точности состояние и дальнейшее развитие своей материально-производственной базы, не являются ее пассивным рефлексом. Они приобретают известную, относительную самостоятельность по отношению к производительным силам, развиваются согласно своим собственным законам и внутренним тенденциям. Являясь более консервативным элементом, значительно медленнее развивающимися, производственные отношения отстают в своем развитии от дальнейшего роста производительных сил, задерживают его, вступают с ним в противоречие. «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества вступают в противоречие с существующими производственными отношениями, или, употребляя юридическое выражение, с имущественными отношениями, внутри которых они до сих пор действовали. Из форм развития производительных сил эти отношения становятся их оковами. Тогда наступает эпоха социальной революции»¹). Только на основе различия между производительными силами и производственными отношениями людей может найти себе объяснение их противоречие, конфликт, ведущий к революции. Не посредством их отождествления, не путем их совместного изучения в рамках одной и той же науки, а только с помощью их раздвоения и последующего синтетического объединения может найти себе адекватное, теоретическое выражение это реальное противоречие, которое существует между ними.

Потребности познания, законы изучения требуют, чтобы противоположности, входящие в данное единство, изучались не слитно, а раздельно. Диалектическое исследование и производит расщепление производительных сил и производственных отношений, равно как и противоположных сторон

¹) Маркс, Предисловие к Критике политической экономии, УкрГИЗ, 1928 г. стр. XII.

всякого иного единства, подвергает их изолированному изучению, долженствующему найти специфические особенности, своеобразные законы развития обеих сторон, составляющих данную противоположность. «Раздвоение единого и познание противоречивых частей его есть суть диалектики»²), утверждает Ленин. Только после такого анализа возможно познание всей целостности явления. При изучении противоположных частей единства все время, конечно, должна иметься в виду конечная цель исследования, заключающаяся в познании этого единства, как такового, именно как единства. Поэтому, при анализе какой-нибудь одной стороны противоположности, другая должна предполагаться, ее значение не должно упускаться из виду. Для того, чтобы найти законы общественного движения, необходимо подвергнуть производительные силы и производственные отношения отдельному рассмотрению в политической экономии и науке об общественной технике, с тем, чтобы, синтезируя все основные выводы подобного исследования в историческом материализме, дающем основные методологические указания для подобного изучения, можно было получить наиболее глубокое и всестороннее представление о законах, управляющих существованием и развитием объективной действительности. Эту живую, гибкую схему общественного развития вытекающее из нее разделение марксистско-ленинских общественных наук, разделение, максимально удовлетворяющее требованиям научного анализа, и пытаются уничтожить тов. Бессонов своей формально-логической концепцией. С одной стороны, он пытается уничтожить, затушевать различие между производительными силами и производственными отношениями, отказаться от их дифференцированного изучения. Вместо того, чтобы их раздельно анализировать, он механически объединяет производительные силы и производственные отношения в один единый объект изучения. Поэтому он и не может нащупать различие, существующее между предметом изучения политической экономии и объектом исторического материализма. У тов. Бессонова обе эти науки отличаются одна от другой только своим названием, ибо обе они занимают изучением одной и той же проблемы. Ответа на вопрос, зачем тогда нам нужны две науки, не проще ли было бы предоставить изучение этой проблемы только одной какой-нибудь науке, тов. Бессонов нам не дает.

С другой стороны, наш автор не представляет себе сущности производственных отношений. Он почему-то воображает, что под этим термином следует понимать нечто совершенно оторванное от материального производства, какие-то «чистые» социальные отношения. Между тем, понятие «производственные отношения» имеет, в системе марксизма, вполне определенное, твердо установленное содержание, которое, казалось бы, должно было исключать самую возможность всяких кривотолков и искажений. Производственные отношения, находясь в теснейшей связи с производительными силами, могут быть, в целях исследования от них, абстрагированы. Однако от этого они не перестают быть теми отношениями, которые возникают между людьми в процессе материального производства, не теряют своей производственной сущности. В конечном счете, производственные отношения всегда оказываются в теснейшей связи с производительными силами. И нелепым является представление, будто бы абстрагирование от этих последних означает отрыв от них производственных отношений. Производственные отношения, при всех обстоятельствах, остаются неразрывно связанными с производительными силами. В противном случае они перестали бы быть отношениями производства. Вопрос заключается только в том, что выдвигается в данном исследовании на первый план: связь или предмет в его связях, производственные отношения вместе с производительными силами или же только одни

²) Ленин, К вопросу о диалектике, — «Под Знаменем Марксизма» № 5—6, 1925 г., стр. 14.

вильно. И только на подобном пути подчеркивания различия между производственными отношениями и социальными отношениями вообще можно отмежеваться от современной буржуазной экономической теории и сохранить, вместе с тем, в чистоте марксистское теоретико-экономическое оружие.

* * *

Политическая экономия изучает производственные отношения товарно-капиталистического хозяйства, которые, составляя наиболее существенный и решающий тип человеческих отношений, выделяются ею из всех других социальных отношений этого общества. Товарно-капиталистическое общество, как и всякое другое, представляет собой некоторое единство общественных отношений. Поэтому производственные отношения исследуются не как разрозненные отдельные отношения, а как некоторая совокупность взаимно связанных и друг друга обуславливающих производственных отношений, как система общественных отношений производства. Совокупность этих производственных отношений и образует экономическую структуру данного общества, представляет собой объект для экономической науки. На основе данной экономической структуры, в свою очередь, вырастают и, согласно ей, формируются все другие виды и типы социальных отношений. «Производственные отношения в их совокупности образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, и притом обществом на определенной ступени исторического развития, обществом с его особыми отличительными чертами»¹⁾. Совокупность производственных отношений определяет всю физиономию данного общества, все его отношения. Политическая экономия изучает только часть, правда основную и главную часть, социальных отношений, — производственные отношения людей. А так как эти отношения, при всей их производственной сущности, представляют собой общественные отношения, то и политическая экономия является социальной наукой. «Политическая экономия есть общественная наука»²⁾, — говорит тов. Бухарин.

Процесс материального производства представляет собой единство производительных сил и производственных отношений, осуществляется в их совместном движении. Вырастающие из процесса производства социальные отношения и, в первую очередь, его экономическая структура тесно с ним срастаются, его обуславливают. Единство материально-технических условий производства и социально-экономических отношений, аналогично единству производительных сил и производственных отношений, также является единством противоположностей. И именно поэтому социально-экономическая структура общества, общественная форма производства может быть, в целях исследования, в известных пределах абстрагирована от материально-технической стороны, вещественного содержания процесса производства. Если первая становится объектом политической экономии, то вторая изучается всевозможными техническими науками. И это обстоятельство неоднократно отмечается тов. Рубиным, который считает, что «последовательно проведенное Марксом различие между материально-техническим процессом производства и его общественной формой дает нам в руки ключ для понимания всей его экономической системы. Оно сразу определяет метод политической экономии, как науки социальной и исторической. В нестрогим, многообразном хаосе хозяйственной жизни, представляющей «сочетание общественных связей и технических приемов, оно сразу направляет наше внимание именно на «общественные» связи людей в процессе производства».

¹⁾ Маркс, Наемный труд и капитал, «Красная Новь», 1922 г., стр. 46-47.

²⁾ Бухарин, Политическая экономия рантье, 1924 г., стр. 29.

на их производственные отношения, для которых техника производства служит предпосылкой или основой»¹⁾.

С. Бессонов также приводит эту, безусловно верную, цитату из книги тов. Рубина. Однако это он делает лишь для того, чтобы выставить против подобного положения кучу всевозможных обвинений. Он утверждает, что «никогда и нигде еще до Рубина марксисты не противопоставляли социального материальному, по той простой причине, что материальное производство, согласно марксистской концепции, насковозь социально, т.е. общественно обусловлено»²⁾. В этом месте, как это ни странно, тов. Бессонов почти совсем прав. Ибо, действительно, нельзя противопоставлять социального материальному, если под этим противопоставлением понимать, согласно тов. Бессонову, отрыв. Верно, что марксисты никогда этого не делали, бесспорно, что материальное производство общественно обусловлено. Но в том-то и дело, что тов. Рубин, против которого направлены все эти утверждения, и не думает их отрицать. Как это явно следует из всего контекста его книги, даже из тех мест, которые привлечены тов. Бессоновым для обвинения, тов. Рубин даже и не думал отрывать материальное от социального. Он только доказывает необходимость и допустимость известного абстрагирования, доказывает, что эти моменты можно различать. Опасаясь быть неправильно понятым, тов. Рубин не забывает, вместе с тем, подчеркнуть (и этого как раз тов. Бессонов, по своему обыкновению, не замечает), что «между процессом производства материальных благ и общественную форму, в которой он протекает, т.е. совокупностью производственных отношений людей, существует тесная связь и соответствие. Данная совокупность производственных отношений людей приспособлена к данному состоянию производительных сил, т.е. материального процесса производства, она делает возможным в тех или иных пределах процесс производства материальных продуктов, необходимых для общества»³⁾.

Никакого противопоставления, никакого отрыва материального от социального мы у тов. Рубина не находим. Он нигде не пытается оторвать друг от друга эти две стороны единого процесса материального производства, утверждает притом им единство и взаимосвязанность, говорит только лишь о различии материально-технического и социально-экономического. Единственное, что желает доказать И. Рубин, говоря о материальном производстве, это то, что марксистская политическая экономия изучает не материально-техническую сторону процесса производства, а его общественную форму. И против этого как раз и направлены возражения тов. Бессонова, который во всяком научном абстрагировании, вполне законном и допустимом, видит полнейший отрыв. Подобно тому, как ранее он не мог понять, что производственные отношения можно изучать отдельно от производительных сил, в то же время не отрывая одни от других, так он теперь не может понять, что изучение социально-экономической формы процесса производства в ее абстракции от материально-вещественной стороны этого производства не означает отрыва социального от материального. Обе эти крупнейшие ошибки тесно связаны между собой, они служат введением, после которого тов. Бессонов протаскивает свое собственное понимание предмета и задач политической экономии, понимание, ничего общего с марксизмом не имеющее.

На самом же деле, политическая экономия не занимается, да и не может заниматься, изучением материально-вещественной, технологической,

¹⁾ Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса, стр. 11.

²⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 135.

³⁾ Рубин, Очерки по теории стоимости Маркса, стр. 22.

сущности производства. Ее предмет изучения не может быть ничем иным, как только совокупностью производственных отношений товарно-капиталистического хозяйства, его социально-экономической структурой. От всех других проблем и вопросов, связанных с процессом материального производства, политическая экономия вынуждена абстрагироваться, в силу естественной ограниченности ее охвата. При этом абстрагировании материально-техническая сторона производства отнюдь не отбрасывается, не оставляется в стороне. Она все время предполагается и, в случае необходимости, привлекается к исследованию. Составляя объект политической экономии, совокупность производственных отношений неорганизованного хозяйства рассматривается ею не оторванно, а исследуется как выступающая на основе данного развития производительных сил, связанная с процессом производства материальных условий человеческого существования. Но, при всем этом, последний не может полностью входить в объект политической экономии, которая, будучи социальной наукой, имеет свой определенный предмет исследования, не изучает процесса производства с его технической стороны.

Подобные, по существу, элементарные положения казалось должны были быть общеизвестными и общепризнанными. Не тут-то было. Тов. Бессонов настаивает на включении технологии в объект политической экономии. «Как может Рубин—«комментатор» Маркса—абстрагироваться от технологии в политической экономии?»¹⁾—«недоумевающе» вопрошает он. Как смеет Рубин утверждать, что в политической экономии не должна изучаться техника? «По мнению Рубина, техника не имеет никакого отношения к социальной стороне экономических явлений, каковая сторона является естественным предметом политической экономии»²⁾. А так как несомненно, что техника имеет известное отношение к производственным отношениям, которые создаются на основе данной техники (чего И. Рубин, на самом деле, и не отрицает), то она должна быть включена в объект экономической науки. И вообще, если хоть мало-мальски последовательно придерживаться точки зрения, выставляемой тов. Бессоновым, то мы должны будем включить в политическую экономию все то, что имеет хоть какое-нибудь отношение «к социальной стороне экономических явлений». Технология, техника, физика, химия, математика, транспортное дело, строительные нормы—все это и еще многое и многое другое должно будет войти в предмет политической экономии. О том, в какой универсально-технический, абсолютно-негодный справочник должна будет, в таком случае, превратиться политическая экономия, тов. Бессонов и не задумывается.

Уничтожая общественный характер политической экономии, наш автор за волосы тянет на подмогу Маркса. Он заявляет, что «Маркс думал совершенно иначе», чем Рубин. «Вспомним, например, как он относился к технологии: «Технология, писал он в «Капитале», раскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а следовательно, и общественных отношений его жизни и вытекающих из них духовных представлений». Позвольте, как же это так? Только что комментатор Маркса—Рубин—на сотню ладов разъяснял нам, что технология не имеет отношения к социальным формам общественных явлений, что это есть нечто, относящееся к «естественным отношениям предметов», подлежащее всяческому изгнанию из политической экономии в сферу грубых натуралистических категорий. А тут сам Маркс неожиданно заявляет, что технология раскрывает процесс производства общественных отношений человеческой жизни, так как она раскрывает процесс производства их жизни вообще»³⁾. Следовательно, заключает тов. Бессонов, политическая экономия

¹⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 139.

²⁾ Там же, стр. 139.

³⁾ Там же, стр. 139.

не может абстрагироваться от технологии, должна заниматься ее изучением.

Но ведь в этой цитате Маркс говорит не только об общественных отношениях, но и о духовных представлениях. Что ж, в таком случае, технология должна изучаться, повидимому, не только наукой об общественных отношениях,—политической экономией, но и той наукой, которая изучает духовные представления. Ведь и та и другая находятся в известной связи с технологией, зачем же тогда оказывать неза заслуженное предпочтение только одной из них, а не предоставить несчастную технологию обеим наукам?

С другой стороны, в цитате, на которую пытается опереться тов. Бессонов, Маркс ни одним словом не упоминает о невозможности абстрагироваться в политической экономии от технологии. Он говорит только о том, что технология находится в связи с производственными отношениями, что она объясняет нам непосредственное материальное производство, в процессе которого происходит производство и создание общественных отношений. Но ведь этого никто и не думает отрицать, и весь спор идет совсем в иной плоскости. Из того же, что технология связана с экономическими отношениями, ни в коем случае еще не следует, что и та и другие непременно должны изучаться в пределах одной и той же науки.

Маркс отнюдь не поддерживает тов. Бессонова, не намеревается включать технологию в предмет политической экономии. Разделение труда, существующее между различными науками, вызвано особенностями изучаемых ими явлений. Оно установилось, в значительной мере, благодаря трудам основоположников марксизма, является существенно необходимым для целей познания объективной действительности. Поэтому механика должна остаться и впредь предметом изучения для механики же, техника—науки о технике, технология—технологии. Что же касается производственных отношений, то они должны изучаться, как и ранее, политической экономией. Но так как в ряде мест все эти науки весьма близко между собой соприкасаются, непосредственно подходят друг к другу, то подобное деление, как и всякое иное, неизбежно будет относительным, а не абсолютным, материал, обрабатываемый одними науками, будет служить предпосылкой для предмета, изучаемого другой наукой. Но это обстоятельство, ни в коем случае, не должно смущать исследователя, не должно заставлять его объединять все эти науки.

Классическая политическая экономия не могла последовательно провести различие между материально-технической и социальной сторонами процесса производства. Она смешивала их воедино, отождествляла социально-экономические формы вещей с их материальной сущностью. В этом отношении она вообще приближается к буржуазной теоретической экономии, приписывающей естественным свойствам вещей те или иные общественные определения. Маркс жестоко критикует и беспрестанно высмеивает предшествовавшую ему экономическую мысль за этот ее недостаток. Он ставит в вину Адаму Смиту, что тот «перечисляет те предметы, те вещественные элементы, которые образуют основной капитал, и те, которые образуют оборотный капитал, как будто такое предназначение присуще предметам в е с т в е н н о, о т п р и р о д ы, как будто эти категории вытекают не из определенных функций этих предметов в капиталистическом процессе производства»¹⁾. Разницу между основным и оборотным капиталом следует выводить не из естественных свойств этих предметов, а из выполняемой ими экономической роли.

В противоположность классикам, в отличие от всей буржуазной политической экономии, считавшей и считающей палку дикаря таким же капиталом, как и фабрику английского капиталиста, Маркс указывает, что

¹⁾ Маркс, Капитал, т. II, 1918 г., стр. 180. Курсив наш. Г. Д.

сущность экономических категорий следует искать не в свойствах вещей, а в скрытых за ними общественных отношениях производства. Он отмечает «присущий буржуазной политической экономии фетишизм, который общественный, экономический характер, накладываемый на вещи общественным процессом производства, превращает в естественный, из самой природы вещей вытекающий характер. Так, напр., «средства труда суть основной капитал», есть схоластическое определение, ведущее к противоречиям и путанице». Правильный, единственно научный метод анализа экономических категорий заключается не в исследовании их естественного характера, а в нахождении их общественной сущности. «Средства труда только тогда являются основным капиталом, если процесс производства есть вообще капиталистический производственный процесс, и, следовательно, средства производства—вообще капитал, если они обладают экономическим общественным характером капитала, и, с другой стороны, они являются основным капиталом лишь в том случае, если они известным определенным образом переносят свою стоимость на продукт»¹). Во всех анализируемых им категориях Маркс с величайшим искусством отыскивает этот экономический, общественный характер. Это отличает его теорию от буржуазной экономической науки, является одной из значительнейших заслуг Маркса в области политической экономии. Вместе с тем, присущий построениям Маркса, общественный подход помогает ему в анализе наиболее сложных, наиболее запутанных категорий буржуазного способа производства, дает руководящую нить, ведущую к пониманию сокровенного смысла этих категорий.

Последовательно проведенная общественная точка зрения помогает Марксу проникнуть в глубь экономики буржуазного общества. Установив в качестве исходного положения, что, «как и при всякой исторической социальной науке, по отношению к экономическим категориям нужно постоянно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове здесь дан субъект,— в нашем случае современное буржуазное общество,—и что поэтому категории выражают формы бытия, условия существования, часто только отдельные стороны этого определенного общества, этого субъекта»²), он все время неизменно придерживается этих основных, для его экономической системы, положений. Даже тогда, когда социально-экономическая сторона явления исключительно тесно сплетена с материально-вещественной, Маркс умело выделяет первую, как составляющую истинный объект политической экономии, хотя она и возникает на основе второй. Как на один из многих примеров можно указать на различие, проводимое Марксом между основным и оборотным капиталом. В органическом составе капитала Маркса интересует прежде всего собственно органический состав капитала, а не его технический состав, хотя обе эти стороны проблемы неразрывно связаны и взаимно-обусловлены.

Вопреки всему этому, тов. Бессонов отрицает общественный характер политической экономии Маркса, отвергает мысль об его общественном подходе к анализу экономических явлений. Если И. Рубин отмечает эту сторону экономической теории Маркса, как его «великую заслугу», то тов. Бессонов немедленно начинает возражать. «Странно, однако, что Маркс ни разу не заметил и ни разу не указал на эту свою «великую заслугу» перед политической экономией, ни разу не отметил той «совершенно новой методологической постановки экономических проблем», которая, по словам Рубина, заключается в том, что он—Маркс—в отличие от своих предшественников не смешивал «социальных форм» с «материально-техническим процессом производства, а «строغو», «последовательно» и «точно» различал их. Мнение Маркса объясняется очень просто. Рубин просто-на-просто признал

¹ Маркс, Капитал, т. II, стр. 204. Курсив наш.

² Маркс, Введение к Критике политической экономии, стр. 21.

Марксу свое собственное и притом совсем неверное измышление»¹). И далее тов. Бессонов, не смущаясь, утверждает, что Маркс и не думал различать общественной стороны производства от материально-технической, а объединил их в своей политической экономии. И совсем не в этом заключается различие между ним и классической политической экономией. Единственный разделяющий их момент заключается лишь в том, что Маркс понимал преходящий характер капитализма, а классики считали этот способ производства вечным и естественным тов. Бессонов не видит того, что Маркс смог дать анализ капитализма, как исторически преходящего, только потому, что он изучал не материально-техническую сторону производства, а общественную. Он считает, что если бы Маркс действительно захотел, в противоположность классикам, отказаться от смешения материально-технических и общественных элементов производства, то он обязательно заявил бы об этом прямо и громко. А между тем, как известно, Маркс нигде не поставил себе в заслугу отказ от отождествления этих сторон производства. Следовательно, заключает тов. Бессонов, он ничего нового в этом вопросе, по сравнению с классической политической экономией не внес, остался, в основном, на разделяемой ими точке зрения.

Затем наш автор берется доказать, что Маркс всегда отстаивал отождествление социально-экономической и материально-технической сторон производства, и не только сам не проводил различия между ними, но активно боролся с теми, кто был против подобного отождествления и, считая их точку зрения неправильной, «решительно разоблачил подобную ошибку». Это он сделал, по мнению тов. Бессонова, в нижеследующей цитате, которая почему-то опять-таки фигурирует в разбираемой статье в значительно урезанном, куцом виде. «Взгляд, согласно которому лишь распределительные, а не производственные отношения должны рассматриваться как исторически данные, есть, с одной стороны, взгляд только что пробудившейся, но еще связанной критики буржуазной экономии. С другой стороны, он покоится на смешении и отождествлении общественного процесса производства с простым процессом труда, который должен был бы совершать и ненормально изолированный человек, очутившийся вне всякого содействия со стороны общества. Поскольку процесс труда есть только процесс между человеком и природой, его простые элементы общи всем формам общественного развития. Но каждая определенная историческая форма этого процесса развивает далее своего материальные основы и его общественные формы»²).

Не найдя у Маркса подтверждения своей точки зрения, тов. Бессонов, за неимением лучшего, приводит начало этой цитаты, отбрасывая две последние фразы. Он, очевидно, надеется, что читатель его статьи окажется настолько доверчивым, что поверит, будто бы слова Маркса поддерживают защищаемые им положения. Между тем, на самом деле, данный отрывок опять-таки говорит отнюдь не в пользу тов. Бессонова. Маркс подчеркивает значение производственных отношений, отмечает, что общественный процесс производства, в силу присущих ему общественных черт, отличается от простого процесса труда. Поэтому процесс труда должен рассматриваться не как таковой, не как обмен веществ между человеком и природой, не как вне-исторический процесс, а как определенная историческая и общественная форма процесса производства. Последний же характеризуется только развитием обеих его сторон—«материальных основ» и «общественных форм». Таким образом, Маркс действительно «решительно разоблачает» ошибку... самого тов. Бессонова, считает нужным различать «материальные основы» и «общественные формы». Нам остается только от

¹ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 133—134.

² Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, 1923 г., стр. 422. Курсив наш. Г. Д.

души посочувствовать положению тов. Бессонова, который, чувствуя слабость и неустойчивость своей позиции, готов, подобно утопающему, судорожно уцепиться за любую соломинку, за любую фразу Маркса, не обращая никакого внимания на ее смысл, на ее действительное содержание.

Впрочем, отождествление тов. Бессоновым материально-технической и социально-экономической сторон процесса производства не является случайной ошибкой или недоразумением. Несомненно, что мы имеем здесь дело с целой системой взглядов, с особой концепцией, ловко и дифференцированно различных сторон процесса производства материальной жизни. Он всячески старается растворить общественные отношения производства в материальных основах этого процесса, превратить политическую экономию из общественной науки в вульгарно-натуралистическую теорию. Стирая различие между общественной формой и материальным содержанием, посредством уничтожения своеобразия первой, тов. Бессонов тем самым не только лишает политическую экономию ее исторического и социального характера, но под покровом громких слов и ультра-«материалистических» высказываний упрощает капиталистический способ производства, опрокидывает Марксову теорию социальной революции. Последняя может быть научно познана только на основе анализа противоречия между социально-экономической и материально-технической сторонами процесса производства, а отнюдь не посредством их отождествления.

Став на грубо-натуралистическую точку зрения, тов. Бессонов, разумеется, не видит, да и не может увидеть, различия между Марксовой экономической наукой и буржуазной политической экономией, солидаризируется с последней. Буржуазные экономисты всех школ и направлений (о социальном направлении мы сейчас не говорим) всегда и везде приписывали и приписывают самим вещам их свойство выполнять те или иные общественные функции, считают, что это свойство является их естественным качеством. Тов. Бессонов рабски следует по этому пути, повторяет ошибки буржуазной политической экономии. Он также предлагает искать сущность общественных отношений в естественных свойствах вещей, в технологических процессах, происходящих в этих вещах и между ними. При чем эта вульгарная точка зрения, против которой неустанно боролись основоположники научного социализма, точка зрения, заранее отказывающаяся проникнуть вглубь экономики данного общества, приписывается им Марксу. «Впервые к истории человеческой мысли установив значение технологии для раскрытия общественных отношений производства, гениальный мыслитель, в меру своих сил и способностей, неустанно пытался овладеть тайнами технологических процессов, тщательно отыскивая в них то, что могло помочь ему раскрыть тайну общественных отношений»¹⁾. Или, иначе говоря, не верьте, когда вам говорят, что «экономические категории—это абстракции общественных отношений производства». Совсем не в этом заключается их сущность и не здесь отыскивал Маркс разрешения экономических вопросов и проблем. На самом деле, экономические категории представляют собой ничто иное, как технологические процессы, ибо в этих процессах скрыта тайна общественных отношений. Что может быть проще и «материалистичнее» подобного положения? Так, напр., капитал, с этой точки зрения, будет представлять собой способность средств и орудий производства, посредством известных техно-

¹⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 140. Курсив наш. Г. Д.

логических процессов, создавать новые предметы, взамен потребленных в процессе производства. Деньги будут представлять собой технологический процесс транспортирования стоимостей. Абстрактный же труд является технологическим расходом физиологической энергии человека. И эта ревизионистская точка зрения, с самым серьезным видом, преподносится тов. Бессоновым читателю, как доподлинный марксизм, «очищенный» от рудинских извращений. Действительно, мы имеем здесь полное очиснение политической экономии от всяких и всяческих следов марксизма.

Попытка тов. Бессонова свести общественные отношения производства к технологическим процессам является в корне антимарксистской, явно ревизионистской. Вместе с тем она характеризует всю основную теоретическую установку нашего автора, дает нам основание заявить об отходе некоторых наших экономистов от марксистской политической экономии. В начале настоящей статьи нам пришлось уже упомянуть, что политическая экономия является далеко не единственной наукой, в которой замечаются немарксистские выступления, различного рода теоретические уклоны. Между всеми подобными выступлениями, несмотря на то, что они имеют место в самых различных науках, существует известная связь и соответствие. Дialectический материализм, представляя собой марксистскую философию, является всеобщим методом познания. Он ставит и разрешает, в наиболее общей форме, все те основные методологические вопросы, с которыми приходится сталкиваться другим, более конкретным общественным наукам. Поэтому и те ревизионистские популяризации, которые имеют место в области философии, тесно связаны с подобными же попытками в других науках, ставят, в основном, те же самые вопросы, но только в несколько ином аспекте. Большинство тех проблем, которые теперь, в их экономическом приложении, затрагивает тов. Бессонов, в ином виде, в несколько иной форме служили не так давно объектом самой ожесточенной дискуссии в области марксистской философии. В словах и утверждениях тов. Бессонова сплошь и рядом проскальзывает антидиалектическая, механическая (или, если хотите, «механистическая») концепция наших механистов. Между ними и тов. Бессоновым замечается определенное идеологическое родство.

Основное утверждение тов. Бессонова, к которому по существу сводится вся его «критика» И. Рубина, заключается в провозглашении необходимости осуществить «сведение» общественных отношений к технологическим процессам, к материально-техническим процессам, как это будто бы делал Маркс. Сущность общественных отношений следует искать в технологических тайнах. Соответственно этому политическая экономия должна изучать не производственные отношения, а материально-технический процесс производства, его вещественную сторону. Так как социально-экономические отношения вырастают на материальной основе, ею обуславливаются, то они не заключают в себе ничего такого, что не могло быть познано посредством изучения этой материально-технической основы. Если Маркс подчеркивает связь производственных отношений с процессом материального производства, тов. Бессонов немедленно делает из этого вывод, что производственные отношения могут быть исследованы только посредством изучения процесса материального производства и исходя из его вещественно-технологической сущности. «Мало того, Маркс не только считает невозможным понять общественные отношения без установления их связи с материальным производством, но он прямо говорит здесь, что единственно научный метод изучения заключается именно в том, чтобы, исходя из материального производства, понять развитие общественных и духовных отношений»²⁾. А, исходя из этого, уже совсем легко приписать естественным свой-

²⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 139—140. В первом случае подчеркнуто нами. Г. Д.

ствам вещей их общественные функции. «Вещи, по Марксу, различаются между собой, прежде всего, по своим естественным свойствам и качествам. Казалось бы, что это различие целиком натуралистическое, а не общественное. И, тем не менее, Маркс думал иначе¹⁾, приписывал естественным свойствам вещей их общественные качества.

В своем стремлении включить технологию в предмет политической экономии Бессонов начинает говорить, что Маркс различал вещи по их «естественным свойствам и качествам». По мнению тов. Бессонова, согласно этим естественным свойствам и различаются между собою предметы труда, орудия труда, сырой материал и т. д. «Мир материальных вещей, — пишет он, — распадается по Марксу: 1) на продукты труда, 2) на предметы труда, 3) на орудия труда»²⁾. Таким образом, это различие, думает тов. Бессонов, является естественным, а не историческим и социальным. Между тем, на самом деле вещи разделяются на средства труда и орудия труда, отнюдь не согласно их естественным свойствам, а соответственно их исторической и общественной роли. Первый взгляд есть точка зрения буржуазной политической экономии. Маркс же всегда отстаивал историчность подобных делений. В той главе «Капитала», на которую в подтверждение своей точки зрения ссылается тов. Бессонов, он пишет, что здесь «процесс труда необходимо рассмотреть сначала независимо от какой бы то ни было определенной общественной формы»³⁾. В этом месте Маркс как раз дает те определения, которые он много раз называет «бессодержательными» и «шаблонными», для того чтобы на их основе перейти затем к общественной характеристике процесса труда. А тов. Бессонов представляет это место «Капитала» так, как будто бы Маркс из естественных свойств вещей выводит их общественные различия, отрицал за самими этими вещами их общественные качества, их общественные функции. И здесь он противоречит, прежде всего, самому себе. Несколькими страницами ранее тов. Бессонов сам усиленно подчеркивает, что материально-технические элементы производства обладают социальными свойствами, беспрепятственно восклицал: «Кто посмеет отказать этому материальному производству в эпитете «социальное» и «историческое»? Кто осмелится утверждать, что Маркс хоть в одном месте и хоть одним словом называл материальное производство «несоциальным» и «неисторическим»⁴⁾. Действительно, кто стоит на такой точке зрения? Мы опасаемся, что нам придется указать на одного подобного смельчака.

Вопрос о «сведении», в несколько завуалированной форме поднимемый в статье тов. Бессонова, когда он настаивает на разрешении тайн общественных отношений тайнами технологических процессов, был в ином, общем виде центральным вопросом в спорах с механистами. Их основная точка зрения заключалась в том, что они признавали возможным исчерпывающее сведение более сложных явлений к простым закономерностям, лежащим в их основе. Согласно этой точке зрения, биологические явления можно целиком свести к физическим и химическим. Физико-химические же явления в свою очередь могут быть сведены к механическим. Мышление можно полностью объяснить через познание физико-химических законов, которыми оно полностью исчерпывается. Социальные же явления также могут быть сведены к этим естественным законам и закономерностям (к технологии, как утверждает тов. Бессонов). В происшедшей засим дискуссии это основное положение механистов было подвергнуто жестокой критике. Тогда же была доказана полная ненаучность и антидиалектичность подобного «сведения», было

¹⁾ Там же, стр. 141.

²⁾ Там же, стр. 141.

³⁾ Маркс, Капитал, т. I, 1920 г., стр. 153.

⁴⁾ Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 135.

установлено, что «сознание нельзя ни сводить к движению материи, ни объяснять этим движением. Способность материи ощутить и мыслить представляет собой некое специфическое и основное свойство или «качество ее, которое не может быть сведено не только к механике, но и к какой-либо другой форме движения. И так как ощущение и сознание присущи в той или иной степени органической жизни и, то выходит, что и биология также не может быть «сведена» не только к механике, но и физическим и химическим процессам»¹⁾. Между всеми этими законами и процессами должны быть установлены известная связь и преемственность. Но при этом новое, специфическое качество, составляющее особенность данного явления, должно быть исследовано именно как новое качество во всем его своеобразии, целиком ни к чему другому не сводимое.

Теперь этот же самый, далеко не новый вопрос о «сведении» сложных явлений к более простым, одних качеств к другим вновь поднимается статьей тов. Бессонова применительно к политической экономии. Спрашивается, можем ли мы свести политическую экономию к технике и технологии; можем ли мы искать разгадку тайн общественных отношений производства только в технологических процессах? Нам представляется, что этого ни в коем случае нельзя делать, и что Маркс, имя которого без конца употребляет тов. Бессонов, без должных к тому оснований, никогда не разделял подобной сверхнатуралистической точки зрения. И это так не только потому, что «сведение» с общепhilософской, с диалектической точки зрения не выдерживает никакой критики, является недопустимым и ненаучным приемом. В области общественных наук теоретическим представителям буржуазии всегда было выгодно применять естественные законы к объяснению общественных явлений. Достаточно вспомнить хотя бы об органической теории. В противоположность подобным заведомо апологетическим приемам, диалектический материализм придерживается другой точки зрения, которая способствует наиболее глубокому познанию данного круга явлений. Диалектический материализм считает, что общественные явления вообще не могут быть познаны посредством изучения естественных закономерностей. «Диалектический материалист не станет объяснять общественные явления биологическими законами или законами физики и химии. Механический же материализм неизбежно требует такого перенесения законов физики и химии на общественные явления»²⁾, аналогично тому, как тов. Бессонов требует объяснить общественные отношения посредством одних лишь технологических процессов.

Общественные отношения производства возникают на материально-технической основе, ею обуславливаются. Но вместе с тем, и этого ни в коем случае нельзя забывать, эти отношения представляют собой, по сравнению с материально-технической стороной процесса производства, по сравнению с происходящими в ней технологическими процессами, некоторое новое качество, обладающее своеобразными, специфическими закономерностями. И эта специфичность общественных отношений производства делает невозможным их изучение с помощью наук технического порядка. Необходимо существование особой, социальной науки, специально изучающей производственные отношения, участвующей, что ее предмет вырастает в процессе материального производства, но при этом не отказывающейся от выявления этих отношений во всем их своеобразии, во всей их специфичности, изучающей их как некоторое особое, новое качество. И поэтому никогда и никакой технологический процесс, как бы глубоко мы ни познавали его

¹⁾ А. Деборин, Диалектика и естествознание, стр. 71-72.

²⁾ Там же, стр. 327.

тайны, не сможет объяснить нам тайну общественных отношений. Проникновение вглубь экономики буржуазного общества предполагает детальное изучение именно этой экономики, а не каких-либо естественных свойств предметов, предполагает познание общественных отношений, во всей их особенностях и своеобразии.

Точка зрения тов. Бессонова и методологически, и по существу является в корне неправильной, возвращает нас к этапу, уже давно пройденному развитием научной экономической мысли. Маркс и Ленин, в свое время, с достаточной ясностью показали, что политическая экономия не является наукой о материальном производстве, которое с его вещественной стороны изучается технологией. Они доказали, что превращение нашей науки в учение о «производстве материальных ценностей» льет воду на мельницу буржуазии, представляет собой ловкий апологетический прием, отнюдь не уточняющий наших экономических представлений и понятий. «Какой смысл в этом обвинении?»—пишет Ленин о выступлении Сисмонди против классиков.—«Оно основано лишь на крайне ненаучном понимании самого предмета политической экономии. Ее предмет вовсе не «производство материальных ценностей», как часто говорят (это—предмет технологии), а—общественные отношения людей по производству. Только понимая «производство» в первом смысле, и можно выделить от него особо «распределение», и тогда в «отделе» о производстве, вместо категорий исторически определенных форм общественного хозяйства, фигурируют категории, относящиеся к процессу вообще: обыкновенно такие бессодержательные банальности служат лишь потом к затушевыванию исторических и социальных условий! (Пример—хоть понятие о капитале). Если же мы последовательно будем смотреть на «производство», как на общественные отношения по производству, то и «распределение» и «потребление» потеряют всякое самостоятельное значение. Раз выяснены отношения по производству, тем самым выяснилась и доля в продукте, приходящаяся отдельным классам, а, следовательно, «распределение» и «потребление». И, наоборот, при невыясненности производственных отношений (напр., при непонимании процесса производства всего общественного капитала в его целом) всякие рассуждения о потреблении и распределении превращаются в банальности или невинные романтические пожелания»¹). А ныне тов. Бессонов уверяет нас, что он защищает марксизм от «выхолащивания», когда предлагает политической экономии изучать «бессодержательные банальности» технологического порядка. Неужели так уж трудно понять, что подобная точка зрения непосредственно ведет к «затушевыванию исторических и социальных условий».

Современные теоретико-экономические разногласия непосредственно сопрягаются с философской дискуссией еще в одном существенном пункте, в вопросе о реальности общественных явлений. Как А. Кон, так и С. Бессонов следуют в этом вопросе по стопам Л. И. Аксельрод, являются ее непосредственными учениками и последователями. Они считают, что если общественные отношения не заключают в себе чувственно осязаемой материи, то они должны быть признаны нереальными, объективно не существующими. А так как политическая экономия, очевидно, изучает только реальные явления, то общественные отношения производства обязательно должны заключать в себе какую-то материю. Отсюда следует, что производственные отношения непременно должны отождествляться с материально-технической стороной процесса производства. В противном случае, эти от-

¹ Ленин, К характеристике экономического романтизма, Соч., 2е изд. 1926 г., т. II, стр. 64. Курсив наш Г. Д.

ношения становятся не материальными, следовательно, не реальными, чем-то сугобо идеалистическим.

Согласно этому А. Кон в публичной дискуссии заявил, что если Рубин считает, что в производственных отношениях, в частности в стоимости, не содержится материи, то «таким методом раз'единяются общественные и материальные элементы марксовой теории, и материалистическое учение Маркса превращается в невинное идеалистическое варево: стоимость, которая является производственным отношением, об'является нематериальным, следовательно, объективно не существующим явлением»¹).

Ныне тов. Бессонов, который так и не сумел найти в абстрактном труде искомую им чувственно-осязаемую материю, уверяет, что абстрактный труд не реален. Реальностью, по его мнению, обладает лишь такой труд, который является по общественному понятию, а технико-материальным. Иначе говоря, «реален лишь конкретный труд».

Рассуждения тов. Кона, критические уверения тов. Бессонова основаны на неправильном понимании данного вопроса, его механической трактовке. Производственные отношения не содержат в себе чувственной материи, но от этого они не становятся нереальными. Отношения между людьми, абстрагируемые в экономических категориях, и не могут содержать в себе материи, ибо они являются именно общественными отношениями, а не материальными предметами, осязаемыми вещами. Диалектический материализм не стоит на натуралистической, механической позиции. Он считает, что все общественные отношения, все экономические категории, как и многие другие реальные понятия, хотя и не заключают в себе «ни атома материи», но отнюдь не перестают быть от этого объективно существующими, реальными отношениями, не становятся голыми идеалистическими абстракциями. Так, например, «стоимость существует не только в абстракции, а выражает реальные отношения»²), хотя в ней самой и не содержится материально-вещественные элементы. Это обстоятельство, отсутствие в стоимости материи, при несомненной реальности этой категории, отмечает в своих философских тетрадках также и Ленин. Он делает к словам Гегеля, что «можно ли было бы подумать, что философия станет отрицать истину умопостигаемых сущностей потому, что они лишены пространственной и временной чувственной материи», следующее замечание: «И тут Гегель прав по сути: стоимость есть категория, которая лишена вещества чувственности, но она истиннее, чем закон спроса и предложения»³).

Став же на позицию отрицания реальности общественных отношений, наш автор должен и далее последовать по стопам Аксельрод,—признать классы и классовые отношения реально не существующими. По этому тов. Бессонов стоит на неправильном пути, когда он заявляет, что если в предмет политической экономии, в изучаемые ею отношения производства не будет включена непосредственно материя,—материально-техническая сторона производства, изучаемая технологией, то тогда будто бы политическая экономия превратится в идеалистическую науку «в наред-чистую «социологическую» науку об абсолютно чистых и абсолютно социальных отношениях»⁴). Политическая экономия Маркса изучает именно производственные отношения. Она является социальной, а не натуралистической или технологической наукой, и при этом неизменно остается сугобо

¹ А. Кон, выступление по докладу Рубина. См. Рубин, Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса, стр. 53.

² А. Деборин, Диалектика и естествознание, стр. 248.

³ Ленинский сборник IX, стр. 187.

⁴ С. Бессонов, Против выхолащивания марксизма, стр. 144.

реальной и материалистической. Этот наглядный пример как нельзя лучше показывает несостоятельность точки зрения тов. Бессонова.

* * *

Для вящего подкрепления своих более чем шатких положений тов. Бессонов неустанно призывает на помощь грозные имена Струве, Штольцмана, Амонна, устрашая этим всех тех, кто с ним не соглашается. Бесспорно, конечно, что социальное направление в современной буржуазной политической экономии представляет собою очередную вылазку идеализма, очередную попытку противопоставить Марксу более или менее законченную буржуазную экономическую теорию. Несомненно поэтому, что против социальной школы необходимо ополчиться каждому марксисту, всем тем, кто придерживается марксовской политической экономии. Против этого направления должна быть развернута ожесточенная борьба, которая должна воочию показать никчемность выставляемой ими теории. Тот факт, что многие наши марксисты-экономисты осознали всю важность и настоятельную необходимость борьбы за полное сокрушение социального направления, представляет собой весьма положительное явление. Но очень плохо, когда у страха глаза чересчур велики. Борьба с социальным направлением ни в коем случае не должна приводить к взаимным, необоснованным обвинениям в «социологизме», не должна заставлять пересматривать и «уточнять» экономическую теорию Маркса, переходить к вульгарно-натуралистической ее трактовке. Политическая экономия Маркса, его метод и без подобных «уточнений» служит в достаточной степени острым и надежным оружием против социальной школы.

Субъективно тов. Бессонов преследовал, быть может, очень важную и существенную задачу, борьбу с социальным направлением. Однако он невольно перегнул палку и, на основе свойственного ему механического, антидиалектического подхода к объяснению общественных явлений и отношений, сам стал изменять основным положениям марксистской политической экономии. За это и следует критиковать его статью, за это и следует дать соответствующий отпор защищаемой им точке зрения.

Марксизм должен вести постоянную, непрерывную борьбу с буржуазной экономической мыслью. Но эта борьба должна быть борьбой на два фронта. Необходимо бороться не только с социальным направлением, но и со свойственными буржуазной политической экономии натуралистическими тенденциями. Марксистская экономическая теория не примыкает ни к одной из этих крайностей, в равной степени удалена от них.

Концепция тов. Бессонова является неправильной от начала до конца. Спасаясь от социального направления, он приближается к другому направлению буржуазной политической экономии. Тем самым он нарушает чистоту Марксова учения, делает ряд существенных ошибок. В настоящей статье мы остановились исключительно на предмете экономической теории Маркса, так как мы считаем, что этот вопрос является основным и решающим вопросом для всей марксистской политической экономии. Многочисленные ошибки, делаемые тов. Бессоновым в других вопросах, естественно, остались поэтому за пределами изложения. Они могут стать объектом для другой, отдельной статьи.



Проблема революции в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона¹⁾.

Е. Ривлин.

«Будущий историк германской социал-демократии, проследивая корни ее позорного краха в 1914 г., найдет не мало интересного материала по этому вопросу, начиная от уклончивых, открывающих настежь двери оппортунизму, заявлений в статьях идейного вождя партии Каутского (по вопросу об отношении партии к религии. Е. Р.) и кончая отношением партии к движению за отделение от церкви в 1913 г.»

Так писал Ленин в «Государстве и революции» в 1917 г. В этой же работе он на целом ряде других примеров показал, что германская социал-демократия начала сползать с позиций революционного марксизма уже задолго до 4 августа 1914 г.

Действительно, если проследить всю историю германской социал-демократии, вплоть до самых ее истоков, то мы увидим, что уже при своем возникновении партия не была чиста от оппортунистических грехов. И в этом нет ничего удивительного. Партия не рождается последовательно революционной и ортодоксально-марксистской, в особенности партия-перенец, партия, возникшая раньше других и не могущая поэтому использовать опыта братских партий.

Именно в таком положении находилась немецкая партия. Она зародилась тогда, когда в других странах еще приходилось бороться за идею самостоятельной политической партии рабочего класса, задолго (почти за два десятка лет) до того, как создались социал-демократические партии во Франции, Англии и других странах.

Немецкая партия возникла тогда, когда фабричная промышленность в стране была еще очень слаба, промышленный пролетариат был еще незначительной прослойкой, когда ремесленники составляли еще подавляющее большинство городских рабочих.

Немецкая партия возникла, наконец, еще за шесть лет до того, как вышел в свет первый том «Капитала» Маркса.

Неудивительно поэтому, что обе партии, из которых сложилась германская социал-демократия, не стояли вполне на платформе научного социализма.

Течение, которое с 1869 г. стали называть «эйзенахцами», в течение долгого времени представляло из себя лишь крайнее - левое крыло буржуазной демократии, от многих черт и предрассудков которой оно не избавилось до конца своего существования.

¹⁾ Глава из работы «Борьба течений в германской соц.-дем. в первые годы после падения исключительного закона».

Лассальянцы, рано порвавшие с буржуазной демократией и ставшие пролетарской партией, до конца не вполне освободились от ошибок своего учителя, не понимали классовой сущности современного государства, ориентировались на то, что юнкерское государство может содействовать выполнению требований рабочего класса, переоценивали значение всеобщего избирательного права и т. д.

Расцвет промышленности после 70-х годов, быстрое вытеснение ремесла, рост промышленного пролетариата и его классового самосознания, появление и распространение работ Маркса и Энгельса, исключительный закон, загнавший партию в подполье,—все это содействовало значительному повышению теоретического уровня партии. Те оппортунистические черты, которые объединенная партия унаследовала от обеих фракций, влившихся в нее, неуклонно, хотя и медленно, слаживались.

И они сгладились бы окончательно, если бы к концу прошлого века на сцену не выступили новые факторы, не только приостановившие качественное улучшение партии, но вызвавшие безостановочный рост оппортунизма.

Эти факторы были теперь совсем иного порядка, чем те, которые питали оппортунизм в рабочем движении 60-х годов.

Отсутствие революционных потрясений, легальный исключительно характер деятельности партии, опьянение действительно блестящими избирательными успехами, вовлечение в движение отсталых крестьянских областей, подкуп верхушки рабочего класса и т. д. и т. п.—все это привело к тому, что германская социал-демократия не стала последовательно революционной партией, больше того: привело к тому, что, когда наступила «эпоха войн и социальных революций», она стала партией контрреволюции.

Но этот процесс роста оппортунизма происходил не равномерно, а своего рода скачками, волнами.

Бывали годы, когда партия делала резкий поворот вправо, когда оппортунизм сразу вырастал в огромную величину, и в партии начиналась ожесточенная борьба. Потом наступал период затишья, когда крайне-правые уходили со сцены, и казалось, что в партии все благополучно, что все идет по-старому. Затем опять новое выступление оппортунизма, новая волна, превосходящая по силе предыдущую.

Один из таких подъемов оппортунистической волны произошел в начале 90-х годов прошлого столетия.

В 1890 г. пал после тринадцатилетнего господства исключительный закон. Вместе с ним пал и его создатель Бисмарк, носившийся тогда с идеей отнять у пролетариата всеобщее избирательное право, вызвать восстание, и, потопив его в крови, покончить с рабочим движением, устоявшим против исключительного закона. На смену «железному канцлеру» пришел Каприви, и наступил «новый курс», «либеральная эра».

Новое десятилетие начиналось для партии исключительно счастливо. Выборы 20 февраля 1890 г. принесли ей колоссальную победу: число поданных за партию голосов возросло вдвое и достигло полтора миллионов. Казалось, еще две — три таких победы, и партия получит большинство в парламенте. Лишь бы это триумфальное шествие не было прервано новым исключительным законом, лишь бы сохранить легальность!

Такая обстановка и такие настроения вызвали появление в партии правого крыла во главе с Фольмаром—предтечей Бернштейна и истинным основоположником реформизма в германской социал-демократии—и значительный поворот направо руководящего ядра партии во главе с Бебелем, Либкнехтом и Каутским. В партии завязалась оживленная борьба по основным вопросам тактики партии, продолжавшаяся с небольшими перерывами с 1890 по 1895 г. включительно.

И хотя эта борьба шла, главным образом, по вопросам тактики партии, хотя теоретические проблемы почти не были вовлечены в сферу обсуждения, в основе всей борьбы, всех разногласий лежали расхождения по основной проблеме марксистской теории, проблеме, наиболее непосредственно связанной с практикой партии,—проблеме революции.

В настоящей статье мы и поставили своей задачей восстановить и изложить взгляды руководящего течения партии, «центра»¹⁾, на проблему революции, в первые годы после падения исключительного закона.

Партия и теория.

В 1891 году, на съезде в Эрфурте, партия приняла новую программу, в которой она полностью становилась на точку зрения научного социализма. Следы лассальянства, которому прежняя партийная программа, принятая в Готе в 1875 г., отдавала еще значительную дань, совершенно исчезли в новой программе. Мы не встречаем в ней ни требования создания производительных товариществ с помощью государства, ни упоминания о железном законе заработной платы, ни термина «народное государство», которые имели место в старой программе. Хотя, как мы увидим ниже, кое-какие пункты Эрфуртской программы можно оспаривать и хотя,—что является значительно более крупным дефектом программы,—не все, что с точки зрения революционного марксизма должно быть сказано в партийной программе, нашло в Эрфуртской программе свое отражение²⁾, все же не

¹⁾ Центром мы называем руководящее ядро партии, имевшее в своих рядах командные высоты партийного аппарата, фракцию рейхстага, большинства ландтагов и городских самоуправлений, центральные и большинство местных партийных печатных органов.

Виднейшие представители центра—это вожди партии: Бебель—руководитель правления партии, Либкнехт—редактор центрального органа партии «Vorwärts», Каутский—редактор теоретического органа партии «Neue Zeit», Зингер—руководитель парламентской фракции и т. д. и т. п.

Всех их объединяет не только то, что они стояли у руля партийного руководства. Их объединяет и общность взглядов. Только это последнее и дает нам право рассматривать руководящее ядро партии, как единую группу, как представителя особого течения в партии.

Это течение выкристаллизовалось в годы дискуссии с Бернштейном и, главным образом, во время споров о всеобщей стачке уже после 1905 г., и именно с того времени его начали называть «центром», ибо оно противостояло правому крылу во главе с Бернштейном и левому во главе с Розой Люксембург. Мы переносим это название на эпоху, предшествующую выступлению Бернштейна, во-первых, потому, что и тогда руководящему ядру партии приходилось бороться и направо, и налево с Фольмаром и «молодыми», и, во-вторых,—и это главное,—потому, что в этой борьбе оно отстаивало в основном те же взгляды, что в последующие годы.

Нельзя сказать, чтобы взгляды отдельных представителей центра полностью между собой совпадали, чтобы внутри самого центра не было никаких расхождений и подчас не только по отдельным практическим, но и по общим, имеющим принципиальное значение, вопросам.

При более детальном изучении мы могли бы наметить целый ряд группировок внутри самого партийного центра. Но различие между этими группировками было бы все же только в оттенках. В основном, главным мы почти всегда увидим руководящее ядро партии стоящим на общей точке зрения. Только один раз за рассматриваемый нами период центр раскололся на две части: это было во время дискуссии по аграрному вопросу в 1895 году. Во всех остальных дискуссиях он всегда выступал единым. Так было и в дискуссиях с Фольмаром в 1891, 1892, 1894 гг.; так было и в спорах с молодыми, так было и в дискуссии по вопросу о профсоюзах.

Мы сказали выше, что центр—это партия. Следовательно, изучение центра представляет для нас наибольший интерес. Это и есть изучение партии, какой она сложилась в первой половине 90-х годов.

²⁾ Исчерпывающая критика Эрфуртской программы дана Энгельсом в письме, опубликованном в «Neue Zeit» 1901—02 г., т. I.

подлежит никакому сомнению, что составители программы и вся партия были воодушевлены «желанием порвать с последними остатками лассальянства и выработать новую программу, соответствующую современному уровню науки»¹⁾, т.-е. соответствующую теории научного социализма.

С принятием Эрфуртской программы теория научного социализма делается официальной теорией германской социал-демократии.

Несмотря на это, мы не можем сказать, что с начала 90-х годов в партии повысился интерес к теоретическим вопросам, и что поднялся теоретический уровень партии. Скорее эти годы характеризуются как раз противоположным явлением—упадком интереса к теоретическим вопросам, господством практики над теорией.

В одной из речей Бебеля, произнесенных им в 1894 году, мы находим горькие жалобы на то, что теоретический уровень партии упал, что актив партии стал мало заниматься теоретическими вопросами. «Большое число товарищей, находящихся в руководящих кругах партии, несмотря на свою готовность к жертвам и чувство своего долга, так ограничены во времени и средствах, что не могут уяснить себе даже самые жгучие вопросы и продолжать развиваться теоретически»²⁾.

В этом Бебель видел одну из самых больших опасностей, угрожающих партии, одну из главных причин усиления в партии оппортунизма. «Партия в своем развитии,—писал он в одной из своих статей,—пошла больше вширь, чем вглубь; мы количественно очень увеличились, но не улучшились в той же пропорции качественно. Если бы это было не так, тогда не было бы такой опасности разжижения и перерождения партии, какая имеется сейчас... Неоспоримо также, и это наиболее разочарование, которое я пережил со времени падения исключительного закона, что прирост способных интеллектуальных сил далеко отстал от расширения партии. Такие силы, приобретенные нами за последние пять лет, могут быть перечислены по пальцам одной руки»³⁾.

И действительно, просматривая протоколы партийных съездов, убеждаешься в том, что в партии не было особого интереса к теоретическим вопросам. Для примера можно привести хотя бы тот факт, что партийная программа, принятая в Эрфурте, съездом совершенно не обсуждалась. Программа была выработана особой комиссией и принята съездом, по докладу Либкнехта, без обсуждения и, конечно, без всяких изменений. Такой порядок принятия партийной программы мотивировался тем, что если бы съезд решил обсуждать программу, то он «затянулся бы по крайней мере еще на один день»⁴⁾.

Мы встречаем в то же время целый ряд таких заявлений ответственных руководителей партии, в которых теории противопоставляется практика, в которых провозглашается приоритет практики над теорией. В этом отношении чрезвычайно характерен один документ, содержание которого и даже самый факт появления которого проливает очень яркий свет на отношение руководящих партийных кругов к теории.

Я имею в виду заявление центрального органа партии по поводу опубликованной в «Neue Zeit» критики Готской программы Маркса. Эта критика Готской программы была дана Марксом в письме к Бракке от 5 марта 1875 года, но до 1891 года была известна только очень ограниченному кругу лиц. В начале 1891 года, когда перед партией встал вопрос о выработке новой программы, Энгельс, у которого хранилось письмо Маркса, счел необходимым его опубликовать, ибо, как он писал в своем предисловии к «Критике», те-

¹⁾ Protok. d. Parteitag, zu Erfurt, из речи Либкнехта.

²⁾ «Vorwärts» 1894 г., № 268.

³⁾ Ibidem, 1894 г., № 280.

⁴⁾ Protok. d. Parteitag, in Erfurt, речь Либкнехта, стр. 325.

перь, когда Галльский конгресс сделал обсуждение Готской программы основной задачей партии, дальше скрывать от гласности этот важный документ, быть может, самый важный из всех, которые должны фигурировать при этом обсуждении, было бы с моей (Энгельса. Е. Р.) стороны настоящим преступлением».

Опубликование критики Готской программы как будто должно было быть партией только приветствуемо. К этому времени для партии уже была весьма необходима создания новой партийной программы, которая была бы выдержана в духе научного социализма. И Эрфуртская программа, принятая партией вскоре после этого, как раз и отвечала этому требованию.

Между тем, руководящие круги партии, и в частности парламентская фракция и центральный орган партии, были чрезвычайно недовольны опубликованием Марксовой критики. Причин недовольства было несколько. Боялись и того, что опубликование этого письма может вызвать недовольство бывших лассальянцев, и того, что отдельные места из письма Маркса, в частности Марксова постановка вопроса о диктатуре пролетариата, могут быть использованы реакцией для гонения на социал-демократию. Наконец, критика Маркса была подчас (в вопросе о диктатуре пролетариата, об отношении к монархии, об отношении к религии и т. д.) не только по Готской программе, но и по создаваемой новой. Последнее и было, вероятно, главной причиной, заставившей Энгельса поторопиться с опубликованием этого письма Маркса.

Как бы то ни было, недовольство напечатанием этого письма было настолько велико, что в «Vorwärts'e» 13 февраля 1891 года появилось специальное заявление от имени центрального органа и парламентской фракции, гласившее, что «опубликование Марксовского письма редакцией «Neue Zeit» последовало без предварительного осведомления фракции и правления партии, которые не одобрили бы опубликование письма в той форме, в какой оно появилось в печати»¹⁾.

И, желая как можно более резко отгородиться от ответственности за это письмо, авторы заявления высказывают целый ряд чрезвычайно интересных для нас положений о роли теории для партии, о взаимоотношении теории и практики:

«Если наши враги предаются надежде, что опубликование Марксовского письма било клин между прежними «лассальянцами» и «эйзенхатцами» и раскололо партию, или, по крайней мере, ослабило единение, то тем самым они лишь вновь доказали свое незнание существа нашей партии. Разрозненные до 1875 года части социал-демократии выросли в одно органическое целое, которое никакая власть не в состоянии более расчлнить. Разъединяющие лозунги: «Здесь Маркс», «Тут Лассаль» для нас стали невозможны—германские социал-демократы не марксисты, не лассальянцы—они социал-демократы.

После того, как рабочее движение Германии сбросило свои детские башмачки и устранило из партии все сектантское, она постоянно и систематично старалась освободиться от всякого почитания личности и с железной последовательностью подчинила лиц—делу. Этим истинно-демократическим духом, который каждому давал свою самостоятельность, каждой индивидуальности давал свободу действий в рамках партийных основ—вот благодаря чему германская социал-демократия сделалась такою, как она есть—и без этого духа она впала бы в сектантство и бессилие, которые неразрывны с почитанием личностей и верой в догматы... Германская социал-демократия никогда не была ортодок-

¹⁾ Между прочим, как пишет Рязанов в предисловии к «Мемуарам» Бебеля, последний знал о предстоящем опубликовании письма Маркса и согласился на это опубликование.

сальной; она преклоняется перед наукой, но стоит на почве фактов и считается только с фактами. Не жертвуя никогда принципами, партия всегда держалась далеко от доктринерского принципиальничания и по мере сил использует условия и обстоятельства. Так будет и впредь».

«Мы не марксисты, мы не лассальянцы», заявляет партия, принимая партийную программу, сущность которой состоит в отказе от лассальянства, в принятии марксизма. «Германская социал-демократия никогда не была ортодоксальной... и такой же будет и впредь», заявляет партия, обсуждая будущую партийную программу с точки зрения ее соответствия ортодоксальному марксизму.

Это вопиющее противоречие объясняет нам само заявление ЦО партии: «Партия преклоняется перед наукой, но стоит на почве фактов и считается только с фактами... Она считается с условиями и обстоятельствами...».

Испугавшись временных затруднений для практической работы, испугавшись возможного недовольства кое-кого из прежних лассальянцев, испугавшись возможного использования письма врагами партии — партия отрывается от своей теории, партия заявляет, что она не марксистская, не ортодоксальная. Она делает это из «тактических соображений», считаясь с фактами, условиями и обстоятельствами.

«Партия преклоняется перед наукой», но преклоняется перед ней как перед иконой. Но когда наука претендует на нечто большее, чем быть иконой, партия грозным окриком указывает ей место. «Из-за границы нельзя руководить массовым движением. Германская социал-демократия никогда не могла бы потерпеть и никогда не потерпит, чтобы руководство ею было перенесено за границу». Нетрудно угадать, что этот окрик ЦО партии направлен по адресу ни кого другого, как Фридриха Энгельса.

Таким образом, в самом факте появления заявления ЦО сказывается отсутствие единства теории и практики, противопоставление теории практике, признание приоритета практики над теорией, которое прямо провозглашено в этом заявлении.

Этот взгляд на взаимоотношение между теорией и практикой был с наибольшей отчетливостью сформулирован Либкнехтом. «То, что Маркс возражал против Готской программы, — сказал он, докладывая Эрфуртскому съезду о программе партии, — было правильно до последней буквы; я это знал тогда не хуже, чем сейчас. Но теория и практика — две разные вещи, и насколько я доверял Марксу в теории, настолько в практике я шел «собственным путем»¹⁾.

«Практика, — сказал тот же Либкнехт в 1895 г., — есть в той или иной мере компромисс между теорией и фактами»²⁾.

Такое противопоставление практики теории наводит на печальные размышления. Оно заставляет предполагать, что практика, которая будет компромиссом между революционной теорией Маркса и фактами, не будет вполне революционной практикой.

Парvus, тогда еще не переметнувшийся в лагерь оппортунизма, как раз в это время писал:

«Практика должна считаться с условиями, но не менее того должна она и сходить с теорией. Не должно быть противоречия между теорией и практикой. Теория лишь принципиальное восприятие действительности. Если она верна, то должна быть в состоянии руководить практикой. Поэтому если не мог довести теорию и практику до согласия и выяснить практику из тео-

¹⁾ Protok. d. Parteit. in Erfurt 1891, стр. 326, 327.

²⁾ Protok. d. Parteit. in Breslau 1895, стр. 7.

рии, осуществить на практике теоретические положения, то это верный признак того, что либо в той, либо в другой что-то неверно»³⁾.

Германская социал-демократия признавала марксистскую теорию верной «до последней буквы», и в то же время она провозглашала, что «теория и практика — две разные вещи». Это показывает, что с практикой у нее было не совсем ладно.

Но это показывает и то, что в постановке теоретических вопросов, не смотря на все клятвы в верности Марксу, далеко не все обстояло благополучно. У нас пользуется большим распространением взгляд, будто отличительной чертой центра является верность марксизму в теории, и измена ему на практике. Такое утверждение должно показаться, однако, маловероятным, даже если ничего не знать о действительных взглядах центра. Марксистская теория слишком жизненна, слишком крепко связана с вопросами повседневной борьбы рабочего класса и практической деятельностью партии, чтобы можно было в течение сколько-нибудь длительного времени с практическим оппортунизмом совмещать теоретическую ортодоксальность. И, действительно, если мы присмотримся к взглядам партии на основной вопрос марксистской теории, на проблему революции, мы увидим, что центр в этом вопросе отказался от марксистской теории, и что это неминуемо вытекало из оппортунизма в практической работе.

Путь к социализму.

(Реформа и борьба за власть).

Вопрос о пути к социализму есть основной вопрос, который идейно разделял центр партии и ее правое крыло, возглавляемое Фольмаром⁴⁾. Фольмар, как известно, видел в реформе столбовую дорогу к социализму. Он рассматривал реформу, проводимую современным государством, как осколок социализма, и считал возможной постепенную социализацию в рамках существующего строя. Отсюда главной задачей партии он считал использование парламентаризма в целях реформы.

Вот эти-то взгляды Фольмара на реформу и вызвали наибольший отпор со стороны партии. И в 1891 г. после «Eldorado-Reden» Фольмара, и в 1892 г. после его статьи о государственном социализме партия, в лице ее вождей — Бебеля, Либкнехта, Зингера и др., со всей решительностью выступила против оценки реформы, как кусочка социализма, и против вытекающего отсюда признания реформаторской работы основной задачей партии, в частности основной задачей ее парламентской деятельности. Представители центра отстаивали ту точку зрения, что путь к социализму лежит через захват политической власти.

Этой задаче — завоеванию политической власти — должна быть подчинена вся деятельность партии. «Завоевание политической власти, — гласит принятая в Эрфурте резолюция по вопросу о тактике, — есть первая и главная цель, к которой должно стремиться каждое классово-сознательное пролетарское движение, но которое может быть достигнуто только упорной, продолжительной работой и умелым использованием всех средств и путей, которые предоставляют для пропаганды наших идей и целей»⁵⁾.

«До сих пор, — говорил Бебель в Эрфурте, — человеческое развитие нам показывало, что класс только тогда приходит к политической власти, когда он достигает господства над новой формой производства, когда он вла-

¹⁾ «Neue Zeit» 1894—5 г. т. 1, стр. 86—87.

²⁾ Изложение взглядов Фольмара дано в 1-й главе настоящей работы, помещенной в журнале «Под Знаменем Марксизма» за 1926 г. № 11.

³⁾ Protok. d. Parteitag. in Erfurt 1891, стр. 287.

деет материальной силой. У нас дело идет о чем-то противоположном. В первую очередь мы должны завоевать политическую власть и ее использовать для достижения и экономической власти путем экспроприации буржуазного общества. Если политическая власть будет в наших руках, остальное придет само собой»¹⁾.

Партия, конечно, не отказывается от борьбы за реформу, но эта борьба за реформу не имеет своей целью постепенное осуществление социализма. Цель этой борьбы: во-первых, привлечение на сторону партии широких слоев пролетариата, во-вторых, укрепление позиции пролетариата в его классовой борьбе.

Борьба за реформу, таким образом, являлась только одним из средств борьбы за власть.

Этот взгляд на путь к социализму и на роль реформы разделяли все виднейшие руководители партии, и по этому вопросу они дали бой Фольмару.

Бебель на съезде в Эрфурте сказал:

«Мы боролись до сих пор за все, чего можно было добиться от современного государства, но то, чего мы достигаем—и это постоянно подчеркивалось,— это только маленькая уступка, которая ничего не изменяет в существующем положении вещей. Каждая уступка имеет для нас только то значение, что она делает нас более способными для защиты»²⁾.

«Фольмар забыл,—сказал на том же съезде Либкнехт,—что компромисс между капитализмом и социализмом невозможен и что все другие (кроме с.-д.) партии стоят на почве капитализма»³⁾.

Нечего и говорить, что Каутский и Зингер (наиболее левый из всех руководителей партии) стояли на той же точке зрения.

В вопросе о роли реформы, таким образом, большинство партии во время борьбы с Фольмаром стояло на последовательной марксистской точке зрения. Оно считало завоевание власти пролетариатом непременным условием осуществления социализма.

Расхождение между центром и Фольмаром по вопросу о пути к социализму имеет, однако, своим корнем расхождение по другому более кардинальному вопросу. У Фольмара переоценка роли реформы являлась следствием непонимания им классовой сущности государства. Классовую политику современного государства он считал каким-то недоразумением, результатом вредных влияний.

Центр же партии в этом грехе повинен не был.

«Государство,—читаем мы в резолюции, внесенной Либкнехтом, Бебелем, Зингером и др. на Франкфуртский съезд по вопросу о бюджете,—является только политической организацией для охраны интересов господствующих классов».

Даже Либкнехт, который в вопросе о государстве расходился с Марксом и Энгельсом, который стоял на той точке зрения, что и при социализме будет существовать государственная власть, что поэтому нет ничего неверного в термине «народное государство», даже он всегда подчеркивал классовую сущность современного государства.

«Государство в настоящее время представляет и должно представлять, пока существует классовое господство, господствующие классы, и с этим государством мы должны бороться на политической арене, употребляя всякое оружие для того, чтобы достигнуть политического могущества и освободиться от этого классового государства»⁴⁾.

¹⁾ Ibidem, 1891 г., стр. 158.

²⁾ Ibidem, 1891 г., стр. 174.

³⁾ Ibidem, 1891 г., стр. 209.

⁴⁾ Protok. d. Parteitag. in Haile 1890, стр. 160.

Это понимание классовой сущности современного государства гарантировало центр от признания возможности осуществления социализма путем реформ в рамках существующего строя и заставляло его держать курс на завоевание политической власти.

Путь к власти.

При наличии таких серьезных расхождений между центром и Фольмаром может показаться странным, что они объединились на общих резолюциях, что большинство представителей центра (в том числе и Бебель, за исключением небольшого промежутка времени после съезда во Франкфурте) настаивало на том, что никаких серьезных принципиальных разногласий в партии нет.

Мы объясняли в нашей статье о Фольмаре такое «единство» пренебрежительным отношением правых к теории. Но мы тогда уже указали, что самая постановка вопросов центром немало способствовала установлению такого «единства».

Действительно, вопрос о пути к социализму не мог явиться пропастью, которая отделила бы центр от правого крыла. Ведь и центр, как мы видели, не отказывался от реформаторской работы в парламенте, а то, что он роль реформы, за которые боролись партии, оценивал не так, как Фольмар, то, что он каждый раз оговаривал, что реформы не могут коренным образом изменить положение пролетариата, не могло особенно волновать Фольмара.

С другой стороны, Фольмар не отказывался от завоевания политической власти, как от конечной цели деятельности партии, хотя он и считал этот момент очень и очень далеким и вообще не имеющим решающего значения. Поэтому он мог с чистой совестью подписывать резолюции, в которых говорилось о завоевании политической власти, как о конечной цели деятельности партии.

Разрыв между центром и Фольмаром должен был бы стать неминуемым только в том случае, если бы между ними были коренные разногласия по вопросу о тактике партии.

Эти разногласия в свою очередь могли явиться только результатом разногласий по вопросу о пути к власти. Решением этого вопроса определяется тактика партии, определяется ее повседневная практическая деятельность: в зависимости от того, будет ли партия ориентироваться на завоевание власти мирным путем, через парламент или стремиться к революционному завоеванию власти—центр тяжести ее практической работы будет или в парламентской работе, в погоне за избирательными голосами, или в подготовке пролетариата к революционным боям.

И как раз в этом актуальнейшем вопросе, в вопросе о пути к власти, точке зрения Фольмара, отрицавшего всякий насильственный переворот, признававшего только мирный парламентский путь к власти,—этой точке зрения центром не было противопоставлено другой точки зрения, последовательно-революционной. Больше того, в этом вопросе центр скатывался к взглядам Фольмара.

Центр избегал ставить вопрос о том, как партия придет к власти, а когда этот вопрос приходилось ставить, то на него редко давался ответ сколь угодно членораздельный.

Поэтому, только анализируя практическую деятельность партии, можно будет вполне выяснить, на какой способ завоевания власти она ориентировалась. Но все же, хотя бы по отрывочным заявлениям, мы попытаемся восстановить, как партия, в лице виднейших ее руководителей—Либкнехта, Бебеля и Каутского,—мыслила себе приход к власти.

В виду большой важности и сложности вопроса мы остановимся на взглядах каждого из перечисленных нами руководителей партии в отдельности.

Либкнехт и проблема революции.

Вильгельм Либкнехт был самой крупной после Бебеля фигурой в руководящем ядре партии. Но все же мы не можем считать его руководителем практической работы партии. По крайней мере в те годы, о которых здесь идет речь, практическую работу выносили на своих плечах Бебель, Зингер, Ауэр, Фишер и др., между тем как Либкнехт не входил в правление партии и от руководства практической работой был как бы отстранен.

Либкнехт был, главным образом, агитатором и публицистом партии, лучшим публицистом и—после Бебеля—лучшим агитатором.

На ряду с этим он пользовался в партии большим влиянием как теоретик. Это может показаться странным. Действительно, меньше всего Либкнехт был теоретиком. Нам приходилось цитировать несколько его изречений о взаимоотношении теории и практики, из которых можно заключить, что он к теории относился несколько беззаботно, что ей он придавал меньше значения и, во всяком случае, интересовался ею меньше, чем практикой. А между тем, в партии он пользовался влиянием, больше как теоретик. Он был докладчиком по важнейшим принципиальным вопросам, стоявшим в порядке дня партийных съездов, например, о партийной программе в Галле и Эрфурте, о государственном социализме в Берлине и т. д.

Характерно, что именно Либкнехт выступил докладчиком по вопросу о программе, несмотря на то, что был принят проект программы, предложенный Каутским. Каутский—редактор теоретического органа партии и стоявший в теоретическом отношении головой выше всех руководителей партии, был, однако, больше кабинетным ученым.

В партийной массе представителем теории был скорее Вильгельм Либкнехт. Это можно объяснить тем, что Либкнехт был известен, как друг Маркса, как старейший в партии марксист, и тем еще, что, как агитатору и публицисту, ему приходилось часто выступать по общим вопросам—о целях партии, ее тактике, ее отношении к другим партиям и т. п. С другой стороны, в партии он был несравненно более популярен, чем Каутский, которого в тот период массы почти не знали.

Благодаря такому положению Либкнехта в партии, благодаря такому характеру его деятельности—ему чаще, чем кому бы то ни было другому, приходилось в своих выступлениях касаться вопроса о путях партии к власти. Поэтому его выступления дают достаточный материал для того, чтобы судить о том, как представлял он себе и, что значительно важнее, как рисовал он другим путь партии к власти. Надо помнить, что Либкнехта слушали десятки тысяч рабочих, которые на его речах воспитывались, которые впервые от него узнавали, что такое социал-демократия.

Исходным пунктом взглядов Либкнехта на путь к власти является решительное отрицание им насилия, насильственной революции: «Мы отвергаем грубое насилие,—заявил он на съезде в Галле,—и тем не менее наша партия революционна, этого мы никогда не отрицали. Мы хотим изменить современный способ производства, и это отличает нас от всех остальных партий. Но в применении силы нас далеко превзошли наши противники. Нашу силу составляет агитация, обращенная к массам. А что вышло из призыва к насилию? В этом месяце исполнится 3 года с тех пор, как мученики Чикаго окончили жизнь на виселице. Что привело их к виселице? Теория, которая хотела насилию противопоставлять насилие. Если мы вступим на этот путь, мы погибнем. Мы сильные—хорошо, но против нас 80% населения; предположим, мы обвяжем, что хотим достигнуть своих целей не при посредстве законов, но нарушением закона. Хорошо, но у нас 20%, а у наших

противников 80, у них армия, пушки и полиция, они запрячут нас в тюрьму или—еще лучше—в сумасшедший дом»¹⁾.

«Теорию, которая противопоставляет насилию насилие», Либкнехт считает чистой анархистской теорией, ничего общего со взглядами социал-демократии не имеющей.

«По мнению некоторых (Либкнехт имеет тут в виду левую оппозицию, молодых), мы должны тайно или как-нибудь иначе готовиться к моменту, когда мы насилием, при помощи великого переворота, сразу сможем изменить существующие отношения. Но таким образом мы приходим к анархизму, и в том, что вы этого не понимаете, заключается ваша (обращаясь к оппозиции) большая ошибка»²⁾.

Социал-демократия, по мнению Либкнехта, называет себя революционной партией совсем не потому, что она стремится к насильственному извержению существующего строя.

В понятие «революция» совсем не входит нарушение закона и тем паче применение насилия. «Революционность заключается не в средствах, но в цели. Насилие является испокон веков реакционным фактором. Если вы докажете (к оппозиции), что наша цель ложная, тогда только вы сможете утверждать, что партия, благодаря нынешнему руководству, отклоняется от революционности»³⁾.

Далее он дает свое определение понятием: «революция», «революцион- ный»:

«Кто хочет устранить «наросты» капитализма, тот должен устранить их причину—капиталистический строй. Этим требованием социал-демократия отличается от всех других партий и характеризуется как партия революционная»⁴⁾.

Такое объяснение «революционности» партии чрезвычайно характерно. Мы его встретим у всех представителей центра. Все они включают в понятие «революция» устранение капиталистического строя, исключая из этого понятия насильственный характер этого устранения.

Но если путь насильственного переворота неприемлем для социал-демократии, то остается только законный путь,—путь завоевания парламентского большинства.

Или насилие, или парламент. Третьего не дано. И, действительно, Либкнехт, отвергнув путь насилия, в целом ряде своих выступлений высказался за парламентский путь завоевания власти. И он сделал это, главным образом, в форме реабилитации парламентаризма перед партийной массой, у которой отрицательное отношение к парламентаризму было чрезвычайно живуче. На съезде в Галле в 1890 году он выступил решительным защитником парламентаризма.

«Все возражения против парламентаризма были построены на извращении этого понятия. Раньше в Англии и во Франции этим словом обозначали избирательное право меньшинства, господствующих классов.

Вся эта система нам казалась просто системой надувательства. Но не может быть и речи о надувательстве там, где существует всеобщее избира-

¹⁾ Protok. d. Parteit. in Halle 1890, стр. 57.

²⁾ Protok. d. Parteitag. in Erfurt 1891, стр. 205.

³⁾ Ibidem, 1891, стр. 206.

⁴⁾ Ibidem, стр. 337. Такое же определение понятия «революционный» дает Либкнехт в одном из самых лучших своих выступлений, именно в брошюре «Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений», написанной в 1898 г. «Все несправедливости общества,—пишет он здесь,—которые в настоящее время ведут к гибели огромное большинство людей, могут быть устранены только путем революционных действий, т. е. таких действий, которые уничтожают главное зло—капитализм—со всеми его корнями» (стр. 48).

тельное право. Сорок пять миллионов немцев не могут сговориться в один день, необходимо представительное правление. Чья вина, что народное представительство никуда не годится? Виною этому не всеобщее избирательное право, но лишь невежество масс, которые, к сожалению, все еще выбирают своих врагов. Именно это обстоятельство указывает, куда мы должны направить свои главные силы, рычаг нашей агитации. Из 80% населения, которое против нас, по меньшей мере $\frac{1}{10}$ должны были бы прикнужать к нашей партии, если бы они поняли свои интересы. Мы должны завоевать эту индифферентную массу, если мы ее завоеваем—мы победим»¹).

Через два года на съезде в Эрфурте он повторяет ту же мысль, при чем уже прямо заявляет, что парламентский путь—единственно возможный путь завоевания власти.

«Я и все мы держимся того мнения, что центр тяжести нашей партийной работы лежит не в рейхстаге, но вне его, и что наша деятельность в рейхстаге, пока мы не имеем там решающего значения, должна быть, главным образом, агитационной.

Но разве то, что мы не имеем там решающего значения, является осуждением парламентаризма? Парламентаризм означает просто систему народного представительства. В том, что мы еще не имеем большинства в рейхстаге, виноват не парламентаризм, а то, что мы еще не имеем необходимой власти над народом.

Если бы за нами стояло столько голосов, сколько стоит за буржуазными партиями, тогда парламентаризм был бы для нас так же мало бесплоден, как теперь для других партий, тогда он работал бы на нас так же хорошо, как работает сегодня на наших врагов.

Этим, конечно, не сказано, что при помощи законодательства могут быть разрешены все вопросы; но пусть нам укажут другой путь, который ведет к цели.

Правда, по мнению некоторых, мы имеем другой путь, более хороший—насилие, но таким образом мы приходим к анархизму»²).

И всех тех, кто выступает против парламентаризма, как пути к власти, Либкнехт без обиняков называет анархистами»³).

То, что эти воззрения Либкнехта не были чем-то случайным, то, что эти выступления не были сделаны просто в пылу полемики, видно из того, что Либкнехт в 1893 году выступил с проповедью этих же взглядов на конгрессе II Интернационала в Цюрихе. Полемизируя с голландцами, он на этом конгрессе сказал:

«Голландские товарищи согласны с тем, чтобы мы использовали всеобщее избирательное право. Голландцы хотят только ограничить использование парламентской деятельности. В парламенте мы должны только протестовать, потому что представительный корпус реакционен и участие в его работе ведет к компромиссам и к коррупции (продажности). Здесь лежит также извращение фактического положения. Как не существует революционной или реакционной тактики, так же и государственное учреждение само по себе не может быть реакционно. Оно не что иное, как орудие для провозглашения власти, сильное, режущее орудие. Если на меня нападает враг, то я не тем сделаюсь его владыкой, что я буду презирать его оружие, нет, я постараюсь вырвать его у него из рук, если не захочу испытать действия этого оружия на собственном теле. Ту власть, против которой мы стоим, мы

¹) Protok. d. Parteitag in Halle 1890, стр. 95.

²) Protokol. d. Parteitag in Erfurt 1891, стр. 204—205.

³) «Если бы молодые были последовательны—они должны были бы сказать: «Парламентаризм и законный путь должны быть осуждены, парламентаризм разрушает и разлагает партию, долой парламентаризм.

Мы хотим пропаганды действием—мы анархисты» (Эрфурт, стр. 209).

можем победить только тогда, когда вырвем у нее грозный меч. (Браво!). Дело идет о борьбе за власть, и эта борьба должна разыграться на политической почве.

Мы должны получить в свои руки законодательную машину, которой в течение ста лет наши противники изощренным образом пользуются для угнетения и эксплоатирования пролетариата»¹).

Не о разрушении буржуазной государственной машины говорит здесь Либкнехт, о завладении ею, об «использовании власти, которая перейдет к нам при помощи стоящих за нами голосов». Либкнехту могут возразить (и неоднократно возражали), что получение социал-демократического большинства голосов в парламенте повлечет за собой лишь разгон парламента ротой жандармов, а не начало новой эры, как он сам писал в 1869 году в своей брошюре «Парламентаризм и социал-демократия». И Либкнехт, конечно, ничем не может опровергнуть этого элементарного возражения. «Дайте нам только возможность зайти так далеко, а там мы попробуем»,—говорит он»²).

Поскольку Либкнехт в демократии видел единственный путь к власти, демократические требования, имеющиеся в программе партии, естественно должны были играть для него исключительную роль, он должен был видеть в них чуть ли не самое основное в программе германской социал-демократии. Либкнехт должен был делать ударение на второй части названия своей партии, на слове «демократия». Во всяком случае эта вторая часть названия партии была для него не менее, если не более существенной, чем первая.

В демократических требованиях он видит то основное, что отделяет социал-демократию от лассальянства. «Каждый, кто следил за борьбой честных (зисенахцев).—говорит он на съезде в Берлине в 1892 г.,—с «общегерманцами» (лассальянцами) может засвидетельствовать, что Швейцар бросал нам постоянно—совершенно, как теперь «независимые»—упрек в том, что мы подчеркиваем «демократическое»—что это нечто мешанское, буржуазное, непарламентарское и что поэтому мы не настоящие социалисты. Как раз из-за этого «демократического», т.-е. революционного, принципа велась борьба»³).

Но демократические требования отделяют социал-демократию не только от лассальянства; они, по мнению Либкнехта, составляют то, что отделяет социал-демократию от реакционных партий.

«Вероятно, с каждым происходило то же, что и со мной. Люди, частью носящие высшие имена, принадлежащие к вождям консервативной партии, говорят: «Под всем социалистическим, к чему вы стремитесь, мы подписываемся слово в слово. Но демократическое, то, что вы хотите порвать со всеми основами теперешнего государства, что вы хотите уничтожить монархию и религию—это нас разделяет. Социалистически мы так же хороши, как и вы, и до крайних последствий». Крайности соприкасаются. И у «радикалов», и у «анархистов» мы видим то же отвращение к демократическому. Слои, которые по существу имеют в руках власть, думают, что они социалистичны; они выговаривают это слово как символ веры, и это идет даже до высших военных кругов. Очень высоко стоящие военные сказали: «Не думайте, что мы

¹) Protok. d. Internat. Soc. Arbeit. Kongress in Zürich, стр. 44—45.

Интересно отметить, что Либкнехт не оказался в этом вопросе одиночкой на конгрессе. Точно такую же оценку парламентаризма, как он, дал и вождь бельгийской социал-демократии, один из руководителей II Интернационала—Вандервельде: «Опасность коррупции заложена не в самом парламентаризме, а лишь в том, что эти парламенты находятся в руках буржуазии. Когда парламенты попадут в руки освобожденного народа, корни коррупции будут подорваны» (там же, стр. 41).

²) Protok. d. Parteitag in Erfurt 1891, стр. 210.

³) Protok. d. Parteitag in Berlin 1892, стр. 180—181.

враждебно настроены по отношению к вашим социалистическим домогательствам. Мы так же, как и вы, стоим за огосударствление собственности до крайних пределов; но ваши демократические требования нам не подходят»¹⁾.

Такая оценка роли «демократического» в программе социал-демократии находится, конечно, в самом резком противоречии с тем общепринятым среди социал-демократии взглядом, что демократические требования являются требованиями буржуазных революций, а ни в какой мере не специфическим требованием пролетарской революции. Такой взгляд нашел свое выражение в том, что демократические свободы обычно называют «буржуазными свободами». Либкнехт считает этот общепринятый взгляд каким-то недоразумением, которое он старается объяснить тем, что на немецком языке одним словом «Bürger» обозначаются два понятия, между собой ничего общего не имеющих: «гражданин» и «буржуа» (капиталист). Благодаря этому, по его мнению, «гражданские свободы» часто называют «буржуазными свободами».

В двух брошюрах Либкнехт старается разъяснить это недоразумение: в «Парламентаризме и с.-д.», написанной в 1869 году, и в вышедшей через тридцать лет после нее брошюре: «Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений». В последней он пишет: «Во избежание недоразумений и неправильного понимания мы должны отчетливо себе представить различие между понятиями: «гражданский (bürgerlich) и капиталистический». Оба эти понятия, благодаря различным значениям немецкого слова «бюргер» (Bürger), для нас очень легко смешиваемые между собой, следует строго различать. Во Франции слово «буржуа» (bourgeois) имело в средние века то же значение, что и немецкий «бюргер». С течением времени и по мере экономического развития это постепенно приобрело значение крупной буржуазии. Отсюда и мы, немцы, это заимствовали. Таким образом, возникает спутанность понятий... Мы говорим о буржуазной свободе, а на самом деле подразумеваем тот демократический дух свободы, который был свойственен бюргерству старого времени, когда оно боролось с юнкерством, и духовенством и который диаметрально противоположен духу капиталистической и вместе с тем реакционной буржуазии»¹⁾.

Это филологическое объяснение того факта, что марксизм называет демократические свободы «буржуазными», не выдерживает, конечно, никакой критики, но оно совершенно естественно в устах Либкнехта, который во что бы то ни стало хочет реабилитировать демократию, демократические требования, хочет доказать, что они составляют основное в соц.-дем. программе. «Демократия,—пишет он в той же брошюре,—не представляет ничего специфически буржуазного, и нам никогда не следует забывать, что мы являемся не только социалистической партией, но и партией социал-демократической, потому, что мы сознали, что социализм и демократия нераздельны»²⁾.

После всего сказанного не удивительно, что у Либкнехта мы не встречаем даже упоминания о диктатуре пролетариата. Это и понятно. В схеме Либкнехта диктатуре пролетариата не остается места. Теперешний государственный аппарат, созданный капитализмом, переходит в руки пролетариата, становится в руках последнего орудием осуществления социализма.

Больше того, этот государственный аппарат, конечно, усовершенствованный, демократизированный до конца, останется и в социалистическом обществе. Марксово учение о государстве, как об орудии угнетения одного

¹⁾ Protok. d. Parteit. in Berlin 1892, стр. 174.

²⁾ Либкнехт, Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений, стр. 24, 25.

класса другим, орудии, которое становится излишним тогда, когда не будет классов, осталось непонятным для Либкнехта. Он считал лишенной всякого основания критику Марксом и Энгельсом терминов «государство будущего», «народное государство», чрезвычайно часто встречавшихся в партийной литературе и упоминаемых даже в Готской программе.³⁾

«Слово «государство»,—мотивировал он свой взгляд на этот вопрос,—имеет очень широкое значение; вообще оно означает упорядоченное общество. Говорят о «государстве пчел»; о «государстве муравьев», о «государстве ученых», при чем никогда не думали об эксплуатации и порабощении, и хотят вложить в это выражение только понятие о замкнутой, упорядоченной общности»⁴⁾.

Для Либкнехта государство является вечной категорией, переживающей все классы, все общественные формации, лишенной всякого социального содержания.

Нечего и говорить, что эти взгляды не имеют ничего общего с марксовой теорией государства, что они являются по существу апологетикой буржуазного, демократического государства.

«Свободное народное государство,—писал Ленин в «Государстве и революции»,—было программным требованием и ходячим лозунгом немецких социал-демократов 70-х гг. Никакого политического содержания, кроме иещански напыщенного описания понятия демократии в этом лозунге нет. Поскольку в нем легально намекали на демократическую республику, постольку Энгельс готов был «на-время» «оправдать» этот лозунг с агитаторской точки зрения. Но этот лозунг был оппортунистичен, ибо выражал не только подкрашивание буржуазной демократии, но и непонимание социалистической критики всякого государства вообще»⁵⁾.

Таковы взгляды Либкнехта на проблему революции, как их можно восстановить по отрывочным замечаниям, рассеянным в его речах и брошюрах. Эти взгляды сводятся к отказу от Марксовой теории, считающей насилие «повивальной бабкой истории», и к признанию возможности мирного овладения властью через демократию.

«Мы знаем,—говорит Либкнехт,—что преобразование отношений, как процесс органический, совершается хотя и непрерывно, но постепенно, без разрушения существующего. Устранение отмершего не есть разрушение,—разрушить же существующее, жизнеспособное даже и вообще невозможно. Особенно ясно это можно проследить на примере Французской революции, проведение которой отличалось наибольшей планомерностью, наибольшей энергией из всех политических переворотов—и все же после «золотого времени» идеологического блуждания в потемках и фантастически-утопических иллюзий пришлось считаться с действительностью и связать новое со старым. В первый момент иногда удается устранить то, что еще способно к жизни, но история нас учит, что даже самые революционные и самые деспотические правительства в силу логики вещей, в конце концов, были вынуждены повернуть назад и признать, хотя и в другой форме, то, что было неправильно, механически устранено. Короче, историческая наличность есть обыкновенно компромисс между прошлым и будущим»⁶⁾.

Итак, развитие совершается постепенно, без разрушения существующего. Но, если оно совершается таким образом, если принятая Марксом теория скачков не соответствует действительному ходу истории, тогда прав Фольмар, который говорил о «врастании будущего в настоящее и настоящего в будущее», тогда и завоевание политической власти не может иметь особо

¹⁾ Protok. d. Parteitag. in Halle 1890, стр. 335.

²⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 311.

³⁾ Либкнехт, Никаких компромиссов и т. д., стр. 34.

существенного значения. В таком случае, говоря словами Либкнехта, «где начинается современное государство и где кончается оно. Разве можно провести пограничную линию между современным государством и «государством будущего», если употребляет это слово, которым так много злоупотребляют. Разве одно не переходит в другое»¹⁾.

Тогда «современное государство вырастает в будущее, равно как и будущее проглядывает уже в современном»²⁾, как говорил Либкнехт на с'езде в Галле в 1890 году.

Правда, эти слова не вяжутся с общими взглядами Либкнехта, который держал курс на завоевание политической власти пролетариатом, который «границу между современным государством и государством будущего» видел в приобретении политической власти рабочим классом. Но эти слова вырвались у него не случайно. Они логический вывод из отрицания насилия, из отрицания возможности разрушения существующего, из отрицания скачков в истории. Если бы Либкнехт был последователен, то слова, сказанные им в Галле, должны были бы стать его «символом веры», как они были «символом веры» у Фольмара, и тогда нельзя было бы сказать, где кончается Фольмар и где начинается Либкнехт³⁾.

Мы изложили здесь взгляды Либкнехта исключительно по его выступлениям в 90-х гг. Находятся ли эти взгляды в непримиримом противоречии с прежними взглядами Либкнехта, или, наоборот, Либкнехт лишь развил в это время взгляды, высказанные им прежде—вот вопрос, о котором, в заключении, я считаю нелишним сказать несколько слов.

Билгельм Либкнехт был известен до 90-х гг., как представитель наиболее революционного течения в руководящем ядре партии. Эту славу ему создала, главным образом, речь о «парламентаризме и социал-демократии», произнесенная им в 1869 г. и впоследствии вышедшая многими изданиями отдельной брошюрой.

В этой речи он резко нападал на тех, кто был очарован бисмарковским парламентаризмом, кто мечтал уже о возможности прихода к власти мирным путем, путем получения парламентского большинства.

«Допустим,—говорит он в своей речи,—что правительство из сознания своих сил или из расчета не воспользовалось своим могуществом, и таким образом удалось, как мечтают некоторые социалистические поли-

¹⁾ Из речи Либкнехта на с'езде в Галле,—Protok., стр. 177.

²⁾ Там же, стр. 204.

³⁾ В этом отношении чрезвычайно характерна статья «Vorwärts'a», посвященная предисловию Энгельса к «Классовой борьбе во Франции». Почти без всяких колебаний можно сказать, что статья эта написана Либкнехтом. Во всяком случае, как редактор газеты он несет за нее полную политическую ответственность. Как известно, в 1895 г. (30 марта) появилось в «Vorwärts'e» предисловие Энгельса к «Классовой борьбе».

Предисловие это было написано как раз в то время, когда реакционеры снова пытались провести через рейхстаг исключительный закон, так наз. «Unstättigkeitvorlage». По просьбе руководителей немецкой партии Энгельс написал предисловие в очень осторожной форме для того, чтобы не дать реакции оружия против соц.-демократии.

В предисловии проводилась, между прочим, мысль, что соц.-демократия в известные периоды может блестяще развиваться и не нарушая закона, что вовсе не обязательно, чтобы в каждый данный момент партия обязательно нарушала законный порядок. Но это показалось руководителям партии недостаточным. Они сочли необходимым так исправить предисловие, чтобы из него можно было заключить, что даже Энгельс выступает сторонником исключительной мирной тактики, решительным противником применения насилия, что и он считает завоевание власти через парламент единственно возможным для партии путем.

Исправив, таким образом, предисловие Энгельса, «Vorwärts» мог с большим триумфом поместить его в качестве передовицы, снабдив его следующим лику-

тики-фактазеры, провести в рейхстаг социал-демократическое большинство. Что же должно предпринять это большинство? Нис Rhodus, hic salta. Теперь настала пора перестроить общество и государство. Большинство должно принять решение всемирно-исторического значения, и начинается новая эра. Но нет, группа солдат выгоняет из храма социал-демократическое большинство; если же эти депутаты не пожелают спокойно подчиниться своей участи, то несколько городских отведут героев в участок, где у них будет довольно времени разобраться в своих дон-кихотских фантазиях. Революция не совершается с разрешения высшего правительства; социалистическая идея не может осуществиться в современном государстве. Для того, чтобы ее осуществление стало возможным, она должна разрушить современный строй»¹⁾.

Эта чрезвычайно меткая критика демократических иллюзий, данная вполне в духе революционного марксизма, наделала впоследствии не мало хлопот Либкнехту. На нее всегда ссылалась левая оппозиция партии, при чем ссылались в борьбе с самим Либкнехтом.

Это заставило Либкнехта в 1888 году написать предисловие к новому изданию своей речи, в котором он старался доказать, что прежние его взгляды на роль парламентаризма и на путь к власти имели в виду только бисмарковский парламентаризм того времени и Германию того времени, и теперь при новых условиях они не могут быть признаны правильными.

«Я, тот человек, который во имя немецкой свободы и единства в 1848—1849 годах сражался против творцов этого «национального чудовища»,—объяснял Либкнехт позицию, занятую им в 1869 г.,—человек, который без разговоров был бы предан военному суду, если бы попал в руки своих противников,—должен ли был я пожертвовать своим прошлым, должен ли я был броситься на приманку всеобщего избирательного права и попасть в мшеловку раздвинувшего свои границы военно-полицейского государства? Нет, я, конечно, не мог так поступить. Я отнесся к этим вопросам так, как отнесся бы и теперь, если бы они еще продолжали существовать. Пришла война с Францией. Северо-немецкий союз, который зависел от милости России и Франции, превратился в Германскую империю. Благодаря этому обстоятельству создалось совершенно новое положение. Немецкая империя, с какой бы стороны на нее ни смотреть, не соответствует национальному идеалу. Она не осуществила ни единства, ни свободы. Это только голый скелет Германии, а вместе с тем и большая казарма, которая окружена еще

шим предисловием: «Энгельс показывает здесь, со своим обычным мастерством,—на пользу и поучение всем Рилерам, Мирбахам, Богуславским, которые вызывают к «лействию»,—что с экономическим и техническим развитием меняется и техника революции угнетенных классов. Он показывает, что теперешний пролетариат, не взирая на всякие провокации, не думает о том, чтобы возвратиться к старым баррикадным революциям, что постепенное внедрение социалистических мыслей в умирающее капиталистическое общество является значительно более революционным средством, находящимся в его распоряжении» («Vorwärts» 30/III).

Нечего и говорить, что Энгельс был страшно возмущен этим подлогом. В письме к Лафаргу от 3 апреля 1895 года (опубликовано в газете «Le Socialiste» 24 ноября 1900 г.) он писал: «Х. сыграл со мной недурную штуку (под Х. тут безусловно скрывается не кто иной, как редактор «Vorwärts'a» Либкнехт. Е. Р.). Из моего введения к статьям Маркса о 48 и 50 годах, он взял все, что могло послужить ему для защиты во что бы то ни стало мирной противонасилившейся тактики, которую ему с некоторого времени угодно проповедывать, особенно в настоящий момент, когда в Берлине подготавливаются исключительные законы. Между тем, я рекомендую эту тактику только для Германии настоящего времени, и то с существенными оговорками. Во Франции, Бельгии, Италии, Австрии этой тактике нельзя следовать в ее целом, а в Германии она может стать непримлемой завтра».

¹⁾ Либкнехт, Парламентаризм и соц.-демократия, стр. 22.

большую тюрьмой. Но немецкая империя живет самостоятельной жизнью, она не зависит от милостей иностранных держав, и ее нельзя разбить ни внешними, ни внутренними механическими ударами и сотрясениями. Эта большая казарма, окруженная еще большей тюрьмой, сможет только в будущем, путем внутренней органической эволюции, превратиться в свободное государство»¹⁾.

Если внимательно вдуматься в речь 1869 года, то нельзя будет не согласиться с тем, что Либкнехт в предисловии 1888 года правильно толкует свою речь 1869 года.

Критика парламентаризма, которая была дана Либкнехтом в 1869 г., не была критикой парламентаризма вообще, а была критикой бисмарковского парламентаризма того времени, парламентаризма со всеобщим избирательным правом, и в то же время с неограниченным полицейским произволом в стране, без намека на свободу слова, печати и собраний, парламентаризма, бывшего игрушкой в руках Бисмарка и используемого им в интересах прусской монархии.

«Всеобщее избирательное право, читаем мы в речи Либкнехта, несомненно священное право народа, основное условие демократического и социал-демократического государства. Но, взятое в отдельности, не связанное с гражданской свободой, без свободы печати и союзов, всеобщее избирательное право может быть лишь игрушкой и орудием в руках абсолютизма... При всей своей недемократичности, трехклассная выборная система носит вместе с тем и антифеодальный характер, так как она переносит центр тяжести парламентского представительства на класс собственников. Это класс, хотя и готов всегда выступить против рабочих и демократии, но, с другой стороны, за исключением крупных собственников, враждебно относится к самодержавному государству и до известной степени «либерален». Либеральная палата депутатов, продукт трехклассной выборной системы, оказалась неудобной для юнкерского правительства. Необходимо было создать противовес, который и был обретен во всеобщем, прямом и равном избирательном праве»²⁾.

Это была критика парламентаризма не с точки зрения пролетарской революции, а с точки зрения буржуазной революции. Либкнехт критиковал бисмарковский парламентаризм так, как должен был его критиковать всякий хороший, последовательный буржуазный революционер, который считает, что только народная революция может дать Германии свободу и единство, который верит, что такая революция стоит на очереди дня³⁾. Так же, как Либкнехт, критиковало бисмарковский парламентаризм все крайне-левое крыло буржуазной демократии во главе с Якоби, выступавшее вместе с Либкнехтом даже против участия в парламенте⁴⁾.

¹⁾ Либкнехт, Парламентаризм и соц.-демократия, предисловие к издан. 1888 г., стр. 4.

²⁾ Либкнехт, Парламентаризм и социал-демократия, стр. 19—20.

³⁾ Между прочим, чрезвычайно интересно отметить, что уже в этой речи, как мы уже упомянули выше, Либкнехт старался доказать, что демократические свободы нельзя назвать буржуазными, приводя то же филологическое доказательство, которое он через 30 лет повторил в брошюре: «Никаких компромиссов...».

⁴⁾ Эта «культура-левизна», приведшая Либкнехта к выводу о нецелесообразности участия рабочих в парламенте, весьма для него характерна. Либо парламент совершенный, подлинно-демократический и в таком случае пригодный для пролетариата, как путь к власти, либо долой парламент—такова по сути дела постановка вопроса Либкнехта. Как видим, у него отсутствовало умение диалектически подойти к оценке парламентаризма. Он не сумел наряду с анализом классовой сущности парламентаризма, наряду с признанием его исторической ограниченности, в то время учесть необходимость для пролетариата использовать в революционных целях любой парламент, как бы он сам по себе малопривлекателен ни был.

Когда единая Германия была создана сверху, когда бисмарковский парламентаризм нормализовался, когда для такой критики парламентаризма, критики парламентаризма с точки зрения демократической национальной революции, не оставалось уже места, тогда надо было или отказаться от этой критики, или подняться на более высокую ступень критики парламентаризма с точки зрения пролетарской революции, и, стало быть, критики уже не только бисмарковского парламентаризма, но парламентаризма вообще, хотя бы и самого демократического.

Либкнехт на эту более высокую ступень критики парламентаризма не поднялся, и поэтому ему не оставалось ничего другого, как признать, что взгляды, высказанные им в 1869 г., при новых условиях не верны, что теперь империя не может быть разбита «механическими ударами», как это он предлагал в 1869 г. по отношению к военно-полицейскому государству того времени, что теперь «только путем внутренней органической эволюции Германия превратится в свободное государство».

Каутский и проблема революции.

Рассматриваемый нами период является одним из самых блестящих периодов в теоретической деятельности Каутского. Это были годы создания Эфуртской программы и комментариев к ней, программы, служившей образцом для всех партий II Интернационала, и комментариев, служивших первым, как теперь сказали бы, учебником политической грамоты для всех приобретающих к социал-демократии.

Никогда, может быть, Каутский не стоял ближе к революционному марксизму, чем в эти годы.

И все же, даже в эти лучшие годы, Каутский революционером, по крайней мере, последовательным революционером, не был.

В эти лучшие годы Каутский, по вопросу о революции, о пути к власти стоял на позиции, которую никак нельзя назвать последовательно-марксистской и революционной, позиция, которая в основном, не по форме, а по существу, немногим отличалась от позиции Либкнехта.

В созвездии вождей германской социал-демократии Каутский сиял теоретической звездой первой величины. И по общему теоретическому развитию, и по знанию и пониманию учения Маркса и Энгельса он, как мы уже сказали, стоял головой выше всех вождей германской социал-демократии. Поэтому такого открытого, такого грубого разрыва с марксовым учением о революции, как у Либкнехта, мы у Каутского, конечно, не встретим. Мы не найдем у него ни превозношения парламентаризма и демократии, ни открытого признания, что путь к власти лежит через парламент, ни утверждений, что насилие—всегда реакционный фактор. Каутский все это делает значительно тоньше и значительно умнее, и поэтому у него искажение Марксизма учения о революции вскрыть значительно труднее, чем у Либкнехта.

Каутский, в отличие от Либкнехта, считает, что социал-демократия называет себя революционной партией не только потому, что она стремится к коренному изменению существующего положения, к устранению всего капиталистического строя.

«Одним именем революции обозначаются две различные вещи: известный процесс, который в целом может произойти незаметно—полное преобразование всех социальных условий,—и ошутительную катастрофу, к которой приводит этот процесс, как только несоместимость изменившихся социальных условий с господствующими юридическими и политическими формами делается невыносимой для эксплуатируемых классов, так что последние, нако-

нец, вынуждены разорвать с этими юридическими и политическими формами»¹⁾.

Каутский признает, что и во втором смысле этого слова социал-демократия революционна, т. е., что она революционна и потому, что признает неизбежность «существенной катастрофы», в которой главным действующим лицом будут эксплуатируемые классы.

Полемизируя с Кнорром (псевдоним Фольмара), который в популярной брошюре написал, что социал-демократия революционна только в том смысле, в каком мы употребляем это слово, называя паровую машину самым большим революционером, Каутский заявляет: «Мы революционеры, и даже не только в том смысле, в каком произвела революцию паровая машина. Социальный переворот, к которому мы стремимся, может быть достигнут путем политической революции, посредством захвата политической власти борющимися пролетариатом»²⁾.

Последние слова несколько удивляют читателя. Мы слушали только что о «существенной катастрофе», о «политической революции», и вдруг нам дается такое разъяснение этих страшных слов: «захват политической власти борющимися пролетариатом». Оказывается, что социал-демократия революционна потому, что она стремится к политической власти. Но ведь это завоевание некоторые мыслят себе и без революции, без катастрофы. Ведь весь-то вопрос сводится к тому, как эту власть захватить.

Мы видим, что, несмотря на слова о «катастрофе», понятие «революционность», по мнению Каутского, включает в себя, во-первых, преобразование социальных условий, во-вторых, захват политической власти. Но и то и другое признавал и Либкнехт. Последний отрицал только то, что под «революцией» надо понимать и определенный способ захвата власти, именно насильственное свержение существующего строя. Насилие и в определенном Каутского исчезает бесследно.

Дело в том, что для Каутского насильственное низвержение существующего строя вовсе не является необходимым условием победы пролетариата. Для него не исключен и мирный путь прихода пролетариата к власти.

Вообще, вопрос о пути к власти, о способе завоевания власти, является для него таким же неразрешимым вопросом, как для агностика вопрос о существовании материального мира. Может быть это завоевание власти произойдет мирным путем, может быть придется прибегнуть к насилью, может быть оно произойдет еще как-нибудь—ничего не известно. Ни как произойдет революция, ни когда она произойдет—мы знать не можем.

«Умный социал-демократ в своих политических расчетах будет так же мало полагаться на революцию, как государственный деятель будет ставить свою политическую будущность в зависимости от того, будет ли в июле дождь. Но еще менее, чем время наступления революции, можно учесть ее формы.

Кто желает предписать нам методы, которыми пролетариат захватит политическую власть, будь он прокурор, государственный деятель, получающий унтер-офицерские награды, или горячий партийный товарищ, которому кажется, что дело недостаточно быстро идет вперед, тот может составить картину революции по образцу бывших революций. Мы думаем, однако, что о решительной борьбе между пролетариатом и буржуазией можно сказать только одно с достоверностью, что она будет совершенно иная, непохожая на все предыдущие революции, потому что тут будут действовать такие факторы, которые до сих пор еще ни при одной революции не играли

¹⁾ «Neue Zeit» 1890—91, В. II, стр. 753.

²⁾ Там же, 1893—94, В. II, стр. 368.

никакой роли, которые совершенно новы и потому должны дать неслыханные формы грядущей острой классовой борьбе»¹⁾.

Каутский дает далее чрезвычайно интересный анализ тех новых факторов, которые должны повлиять на формы будущей борьбы пролетариата. Во-первых, таким новым фактором является «наличие многочисленного и интеллектуально высоко стоящего пролетариата»²⁾. Вторым фактором является то, что пролетариат пользуется сейчас всеобщим избирательным правом³⁾.

Третьим,—изменение в военном деле: «Армия сделалась фактором, с которым ни один народный слой не может померяться в борьбе... Но армия начинает терять в надежности, то, что она выиграла в силе. В первый раз в истории государство теперь вооружает большие массы пролетариев»⁴⁾.

Четвертым фактором является то, «что пролетариат экономически никогда не являлся столь необходимым, как теперь. Капиталистический способ производства в последние два десятилетия овладел всеми источниками жизни цивилизованных наций. Продолжение капиталистического способа производства не является уже для них вопросом большего или меньшего благоденствия, он сделался для них вопросом жизни. Но что капиталистический способ производства без пролетариата?»⁵⁾.

Все эти 4 пункта очень метко и правильно характеризуют те новые условия, которые будут определять будущие бои пролетариата.

Но к чему послужил Каутскому этот анализ? Попытался ли он, исходя из него, наметить хотя бы основные черты будущей борьбы пролетариата? Ничуть не бывало. Этот анализ дал ему повод только для философских размышлений.

«Как будут действовать эти новые факторы, об этом мы ничего не можем сказать; равным образом, преждевременно высказываться за мирную, законную дорогу, как это делают некоторые миролюбивые товарищи, как преждевременно было бы утверждать и то, что достичь наших целей можно только насилем. Об этом мы ничего не знаем»⁶⁾.

Вот это «ничего не знаем», этот своеобразный агностицизм и составляет основное искажение марксизма Каутским.

Эту позицию Каутского, которую он защищал и развил впоследствии в полемике с Бернштейном, Ленин в «Государстве и революции» характеризует как «уступку, сдачу позиций оппортунизму, уступку, совершаемую под прикрытием, «под сенью бесспорной (и бесплодной) филистерской истины, что конкретных форм мы наперед знать не можем. Это—сдача позиций оппортунизму, ибо оппортунистам пока больше ничего и не надо, как «вполне спокойно предоставить будущему» все коренные вопросы о задачах пролетарской революции»⁷⁾.

Оппортунистический характер этого агностицизма заключается в том, что им внушается пролетариату мысль, что не исключен и мирный путь к власти, что насиле вовсе не обязательное условие завоевания власти. Во всех выступлениях Каутского, где им проводится мысль о том, что «мы ничего не знаем», он делает ударение на том, что неправы именно те, кто считает насиле обязательным атрибутом пролетарской революции, и подчеркивает, что очень возможно завоевание власти мирным путем.

«Переворот может принять самые разнообразные формы, в зависимости от условий, при которых он совершается. Он никоим образом не свя-

¹⁾ «Neue Zeit» 1890—91, В. II, стр. 755.

²⁾ Там же, стр. 756.

³⁾ Там же, стр. 756—757.

⁴⁾ Там же, стр. 757.

⁵⁾ Там же, стр. 757.

⁶⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 384.

зан обязательно с насилием и кровопролитием. Были уже случаи во всемирной истории, когда господствующие классы были особенно пронизательны, особенно слабы и трусливы и, таким образом, сдавались перед лицом необходимости. Нет также необходимости, чтобы социальная революция решалась одним ударом. Едва ли даже когда-нибудь так бывало. Революции подготовляются годами и десятилетиями политической борьбы и совершаются при постоянных изменениях и колебаниях в соотношении сил отдельных классов и партий, часто прерываясь долго продолжающимися реакционными периодами¹⁾.

В другой статье Каутский еще более прозрачно намекает на вероятный характер будущей революции, прикрывая эти намеки длинными рассуждениями все на ту же тему: «ничего не знаем»:

«Так как мы ничего не знаем о решающих сражениях социальной войны, то мы так же мало можем сказать и о том, будут ли они кровавыми, сыграет ли в них значительную роль физическое насилие или они будут выиграны исключительно средствами экономического, законодательного и морального давления.

Можно, однако, сказать, что существуют в наличии все шансы, что в революционной борьбе пролетариата будут преобладать средства последнего рода над физическими, т. е. будут преобладать над насилием больше, чем это было в революционной борьбе против буржуазии»²⁾.

Таким образом, все же кое-что мы можем предположить на счет характера захвата власти—именно мирные средства, в том числе и средства законодательного давления будут «преобладать над средствами физическими».

При этом важнейшим фактором, позволяющим нам надеяться на такое мирное течение борьбы, является демократия.

Каутский, конечно, не настолько вульгарен, чтобы прямо сказать, что путь к власти лежит через парламентское большинство. Этого мы от Каутского не услышим. Его рассуждения о роли демократии с виду чрезвычайно ортодоксальны и направлены как будто своим острием против тех, кто переоценивает ее роль. «Демократия не может устранить классовых противоречий капиталистического общества и устранить их необходимое следствие—гибель этого общества. Но она сможет сделать одно: предотвратить многие преждевременные, безнадежные революционные восстания. Она делает ясным соотношение сил различных партий и классов: она не устраняет их противоречий и не отдаляет их конечных целей, но она старается помешать классам, стремящимся вверх, заниматься разрешением задач, до которых они еще не доросли, и удерживает также господствующие классы отвергать уступки, к отказу от которых они более не имеют силы... Этот демократически-пролетарский метод классовой борьбы, может быть, покажется скучнее, чем революционный метод буржуазии; он, конечно, не так эффектен, но он и требует значительно меньше жертв»³⁾.

Получается замечательно интересный механизм. Пока большинство в парламенте будут иметь буржуазные партии, пролетариат не будет делать безнадежных попыток к захвату власти, а когда большинство будет на стороне социал-демократии—буржуазные партии, если они будут благоразумны, пойдут на уступки и уступят власть рабочему классу. Конечно, Каутский упоминает, что с большинством голосов в парламенте дело не решается, что вопрос решает соотношение сил. Но соотношение избирательных голосов как раз и является лучшей меркой соотношения сил, и благодаря этому

¹⁾ Каутский, Эрфуртская программа, стр. 105.

²⁾ «Neue Zeit» 1893—94, стр. 369.

³⁾ «Neue Zeit» 1893—94, т. I, стр. 402.

могут быть избегнуты лишние столкновения. Все очень просто и очень удобно. И марксизм соблюден, и революция обходится без насилия.

Правда, Каутский остается верен своему утверждению: что «мы ничего не знаем». Он не исключает и той возможности, что этот мирный процесс будет нарушен. Но если это случится, то это произойдет по вине буржуазии. Пролетариат заинтересован в том, чтобы вовсе избежать столкновения или, в крайнем случае, возможно дольше оттягивать срок этого столкновения.

«Политическая ситуация пролетариата заставляет ожидать, что он до последней возможности будет стараться обойтись применением исключительно вышеупомянутых «законных методов». Опасность, что это старание будет уничтожено, лежит, главным образом, в нервном настроении господствующих классов... Они хотят вызвать (спровоцировать) гражданскую войну из страха перед революцией.

Социал-демократия, наоборот, не имеет никакой причины предаваться подобной политике отчаяния, она скорее имеет причины заботиться о том, чтобы припадок бешеной злобы господствующих классов, если его нельзя будет предотвратить, то по крайней мере отодвинуть его возможно далее, чтобы он только тогда наступил, когда пролетариат будет достаточно силен, чтобы без дальних разговоров свергнуть беснувшегося и укротить его, так, чтобы этот приступ был последним, и разрушение, которое он совершит, и жертвы, которые он потребует, были по возможности меньшими»⁴⁾.

То, что финал может быть совсем иным, что пролетариат, если даже он оттянет бой до того момента, когда демократия, этот точнейший измеритель соотношения сил, покажет, что за ним большинство, может быть разбит наголову—это Каутскому и в голову не приходит.

Ему не приходит в голову, что демократия вовсе не является безупречным измерителем соотношения сил, что соотношение сил вовсе не измеряется поданными за ту или иную партию голосами, что буржуазия, если даже за ее партию будет подано ничтожное количество голосов, будет неизмеримо сильнее пролетариата, собравшего большинство избирательных бюллетеней, так как буржуазия имеет в своих руках все—армию, полицию, весь государственный аппарат, а пролетариат ничего, кроме избирательных залпсов.

Все приведенные нами рассуждения Каутского вскрывают с достаточной ясностью оппортунистический характер его основного тезиса о пути партии к власти: «Ничего не знаем». Этот тезис означает только одно: не знаем, придется ли прибегнуть к насилию. Но кто говорит: насилие не неминуемо, тот должен сказать, что завоевание власти через парламент возможно и желательно. Иных путей, кроме этих, нет. Каутский, по существу, именно это и сказал. Правда, сказал очень тонко, но сказал именно это.

Но оппортунизм этого агностицизма Каутского становится еще яснее, если мы примем во внимание те практические выводы, которые он делает из своих рассуждений и которые неминуемо из этих рассуждений вытекают. Если мы не можем иметь никакого представления о том, когда будет революция, какие формы она примет, если мы не можем с какой-либо определенностью сказать, что вообще будет представлять из себя революция,—тогда, конечно, мы не можем эту революцию готовить и не можем ее делать. Подготавливать и делать неизвестно что, конечно, невозможно.

«Так как ни классовая борьба в общем, ни отдельные формы, которые она принимает, не могут делаться произвольно, но зависят от обсто-

⁴⁾ «Neue Zeit» 1893—94, В. I, стр. 403—404.

ятельств, которые, если и могут быть учтены, то во всяком случае не могут быть изменены, то естественно невозможно революцию сделать»¹⁾).

Так «ничего не знаем о революции» ведет к «невозможно сделать революцию». Это второе утверждение на ряду с первым является основным мотивом во всех рассуждениях Каутского о революции.

«Многие «молодые» упрекают нас в том, что мы слишком мало заботимся о революции. Если это должно обозначать, что мы отрицаем революционный характер нашей партии, то это не верно. Или мы должны больше работать для революции? Ну, что же! Ведь нельзя же ее сделать по желанию»²⁾).

«Социал-демократия революционная, но не делающая революцию» партия. Мы знаем, что наши цели могут быть достигнуты лишь посредством революции, однако мы также знаем, поскольку не находится в нашей власти сделать революцию, постольку же не во власти наших противников ее задержать. Поэтому и в голову не приходит пожелать делать или готовить революцию»³⁾).

С виду эти рассуждения ортодоксально-марксистские, с виду они направлены против анархистского «делания революции». Но по существу они направлены не только против анархизма, но и против марксизма. Под прикрытием того положения марксистской теории, что революция не может быть искусственно сделана в любой момент, т.-е. не может быть сделана, если нет объективных условий для нее, проводится мысль, что революции вообще не делаются, что их нельзя и сделать, ни задержать, что они происходят сами собой. В одной из приведенных выше цитат Каутский сравнил революцию с дождем. Это сравнение чрезвычайно характерно для Каутского: Как нельзя сделать или задержать дождь, точно так же и революцию нельзя ни сделать, ни задержать. Революция, как дождь, упадет сама собою с неба. Партия может, сложив руки, ждать, когда придет этот счастливый день.

Так агностицизм привел Каутского к фатализму.

«Это учение (марксизм) упрекали в том,—писал Каутский,—что оно ведет к фатализму, и потому говорили об «опасностях марксизма». Действительная опасность заключается в том, что люди называют себя «марксистами», не зная, чему учил Маркс. Если когда-либо существовало учение, несовместимое с фатализмом, то это Марксово учение: оно, конечно, учит, что направление общественного развития не может быть установлено произвольно, но дается необходимостью, но учит также, что движущая сила этого развития есть борьба противоположностей—классовая борьба».

К сожалению, в своих рассуждениях о революции Каутский забыл об этой второй стороне учения Маркса, он забыл, что движущей силой революции являются классы и руководящие ими партии, что, стало быть, революция является делом рук этих классов и партий. Марксизм у Каутского превратился, действительно, в фаталистическое учение. И, конечно, Каутский прав, что и в этом не вина марксизма, «а вина людей», называющих себя марксистами, не зная (или искажая. Е. Р.) то, чему учил Маркс».

Такой фатализм при разрешении проблемы революции означает отказ от революции в правильном понимании этого слова, т.-е. отказ от насильственного свержения существующего строя.

Мы выяснили взгляды Каутского на характер пролетарской революции, на роль партии в ней. Мы видели, что эти взгляды являются искажением

¹⁾ «Neue Zeit» 1890—91, В. II, стр. 753.

²⁾ Ibidem, 1890—91, В. II, стр. 755.

³⁾ Ibidem, 1893—94, В. II, стр. 368.

учения Маркса о пролетарской революции, являются отречением от насильственной революции. Это отречение от насильственной революции сказывается и в постановке Каутским вопроса и о диктатуре пролетариата. На этом мы и остановимся в заключение.

И здесь Каутский с виду вполне ортодоксален. В отличие от Либкнехта и других жуждей, которые почти никогда в своих выступлениях не вспоминали об этой досадной обмолвке Маркса, Каутский диктатуру пролетариата приемлет и часто говорит о ней, как о неминуемой переходной ступени от капитализма к социализму.

«Надо ясно различать две стадии,—писал Каутский в статье «Noch einige Bemerkungen zur Agrarprogramm»,—стадию капиталистического общества и стадию перехода к социализму. Мы одним прыжком не можем попасть из одного в другое. Между ними лежит стадия так называемой диктатуры пролетариата, когда он завоевал политическую власть, но когда новые формы производства еще всесторонне не развились и не осуществлены. Можно считать эту стадию более или менее короткой, но во всяком случае она образует определенное общественное состояние с особыми признаками»¹⁾).

Но всюду, где Каутский затрагивает вопрос о диктатуре пролетариата, он останавливается больше на экономических особенностях этой эпохи, очень подробно и очень метко намечает экономические мероприятия пролетарской партии в эту эпоху, совершенно не указывает политических особенностей этой эпохи, совершенно не останавливается на вопросе о тех формах, в которых пролетариат будет осуществлять свою власть, и на характере этой государственной власти. И это не случайно.

«Нельзя смешивать стадии диктатуры пролетариата с «демократизацией общественных учреждений». Демократическое государство, как, например, Швейцария и Соед. Штаты, еще далеко не пролетарское государство. Демократическая форма ни в коей мере не исключает господства класса капиталистов, и мы не должны даже от демократического государства ожидать решающих реформ в пользу трудящихся классов, пока пролетариат не завоеует в нем политической власти. Демократизация общественных учреждений есть предпосылка господства пролетариата, но она ни в коем случае не однозначна с последними»²⁾).

Дать марксизму отдана. «Нельзя смешивать демократическое государство с диктатурой пролетариата»... пока—и вот здесь от революционного марксизма не остается и следа—пока «пролетариат не завоеует в нем (в демократическом государстве) политической власти».

Диктатуру пролетариата Каутский приемлет, но эта диктатура превращается у него в пустое слово, в побрякушку, поскольку он отрицает необходимость разрушения государственного аппарата, созданного буржуазией, поскольку он считает, что пролетариат через этот аппарат будет осуществлять свое пролетарское господство. «Подобно Каутскому, Вандервельде цитирует из Маркса и Энгельса все, что угодно, кроме того, что совершенно не приемлемо для буржуазии, что отличает революционера от реформиста. О завоевании политической власти пролетариатом—сколько угодно, ибо это уже введено практикой в исключительно парламентарные рельсы. О том, что Маркс и Энгельс после опыта Коммуны сочли необходимым дополнить устарелый отчасти «Коммунистический Манифест» разъяснениями той истины, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной, что он должен разбить ее, об этом ни единого словечка»³⁾).

¹⁾ «Neue Zeit» 1894—95, т. II, стр. 809.

²⁾ «Neue Zeit» 1894—95, т. II, стр. 812.

³⁾ Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 527.

«Ни единого словечка» не сказал об этом Каутский в своих писаниях тех годов, о которых здесь идет речь... И, наоборот, мы часто встретим у него заявления, подобные вышеприведенной цитате.

«Определенная форма государства, в которой только может быть осуществлен социализм,— республика, и именно в общепринятом смысле этого слова, т.-е. демократическая республика»¹⁾.

Диктатура пролетариата,—этот страшный призрак, который не разрешается потревожить вожди социал-демократии, к которому враги ее прибегают, чтобы доказать, какую опасность несет с собой социал-демократия,—эта диктатура пролетариата превращается у Каутского в республику, в ту самую безобидную демократическую республику, к которой все так привыкли, которая только тем будет отличаться от нынешнего государства, что в парламенте большинство будут составлять социал-демократы.

Мы уже знакомы с утверждениями, что благодаря демократии можно избежать кровавых столкновений, что демократия сможет способствовать мирному завоеванию власти пролетариатом. Теперь мы видим, как та же демократия становится той формой государственной власти, в которой пролетариат будет осуществлять свое политическое господство. Где же в таком случае различие между Каутскими и теми, которые видят путь к власти в завоевании парламентского большинства?

Август Бебель и проблема революции.

Бебель выступал по вопросу о революции еще значительно реже, чем Каутский и Либкнехт, еще более нехотя, чем они, и, пожалуй, еще более неопределенно. И, несмотря на это, или, точнее, именно благодаря этому, его взгляды более характерны для партии, чем взгляды Каутского и, во всяком случае, чем взгляды Либкнехта.

Попытаемся, однако, получить от Бебеля хоть какой-нибудь ответ на интересующий нас вопрос.

«Меры, которые приходится принимать в течение различных стадий эволюции, зависят от постоянно меняющихся обстоятельств. Невозможно заранее предсказать, какие меры обстоятельства сделают необходимыми в том или другом случае. Нет того правительства, нет того министра, как бы ни был он всесилен, который мог бы предсказать заранее, что обстоятельства вынудят его сделать на следующий год; тем меньше основания для предсказания тех мер, которые являются следствием обстоятельств, которых нельзя ни учесть, ни предсказать. Выбор средств при борьбе есть вопрос тактики. Средства для достижения цели зависят от времени и обстоятельств; нужно только употреблять самые действительные, радикальные средства, какие позволяют обстоятельства»²⁾.

Так писал Бебель в своем теоретическом труде «Женщина и социализм».

Мы имеем здесь полное повторение теории Каутского о том, что мы «ничего не знаем». Но если Каутский не мог полностью удержаться на этой точке зрения, если и он должен был все же высказать некоторое предположение насчет того, какой путь более вероятен, то тем более не мог удержаться на такой неопределенной точке зрения Бебель—бывший не кабинетным ученым, а вождем партии. В теоретической работе Бебель не мог позволить себе большей определенности, да там она и не так настоятельно требовалась; в своей практической работе, в съездовских выступлениях, Бебель был вынужден иногда высказываться более определенно, и тогда он становился на точку зрения отрицания насильственной революции.

¹⁾ «Neue Zeit» 1893—94, В. I, стр. 368—369.

²⁾ Бебель, Женщина и социализм, 27-е изд., Штутгарт 1896 г.

«Разве вы верите, что если партия согласится с тактикой насилия, те, кто ее одобряют, допустят, чтобы эта тактика оставалась только словом. Если вы в это верите, то вы очень ошибаетесь: мы будем вынуждены к открытой борьбе».

Что в эпоху максимовских пушек и новых ружей произойдет с революцией, которую устраивают пара сот тысяч голов, я недавно сказал в Дрездене: мы будем как воробы перестреляны. Кто считает, что при теперешнем колоссальном прогрессе не только в области милитаризма, но и в политических и, главным образом, экономических областях, мы, с.-д., можем осуществлять наши цели теми же способами, что и буржуазная партия; например, постройкой баррикад, тот делает колоссальную ошибку, совершенно не понимает условий, в которых мы находимся.

Как наше отношение к государству и обществу в корне отличается от отношения к ним всех прежних партий и классов, так же и в способах достижения наших целей. Здесь мы пойдем совсем новой дорогой, новыми средствами—это мое неизбежное убеждение»¹⁾.

Здесь речь идет не о том, что нельзя говорить о революции. Здесь Бебель мотивирует, почему нельзя делать революцию; и главное зло всех разговоров о революции он видит именно в том, что слово может быть превращено в дело.

Но если путь насилия отрезан, то как же мы все-таки придем к власти? В отличие от Либкнехта Бебель не ставит точки над *i*, не говорит прямо, что власть придет с завоеванием парламентского большинства.

«Мне кажется,—говорит Бебель в уже цитируемой нами речи,—что мы имеем серьезнейшие основания быть довольными ходом вещей. Буржуазное общество так усиленно работает для своей собственной гибели, что мы должны ждать только момента, когда мы возьмем выпавшую из рук буржуазии власть. Да, я уверен, что осуществление наших конечных целей так близко, что только немногие из находящихся в этом зале не доживут до этого дня»²⁾.

Это по существу отказ от ответа на вопрос, это уже знакомый нам каутский фатализм. Но опять-таки Бебель, как практик, не может на этом остановиться.

«Как же нам притти к власти?» спрашивает он в своем докладе о тактике на Эрфуртском съезде.

«Есть несколько путей, которые, вместе взятые, ведут нас к этой цели. Это, во-первых, устная агитация в союзах и на собраниях..., во-вторых, пресса..., и третье средство—это парламентская деятельность»³⁾.

Все эти средства, указанные Бебелем, сводятся к одному: к привлечению масс на сторону партии. В этом видит Бебель путь к власти. Но это, конечно, ни в какой мере не исчерпывает вопроса. Важно то, как эти массы будут партийно воспитываться, на какой путь к власти будут они ориентироваться. Мы видели, что Бебель утверждает, что путь этот не будет путем насильственной революции. Более положительного ответа он нам не дает. И в этом отношении взгляд Бебеля чрезвычайно характерен. Именно так ставился вопрос в тогдашней повседневной агитации партии. Вопрос о пути к власти старались обходить, как неудобный вопрос, ограничиваясь только повторением того, что путь насилия в лучшем случае необязателен, в худшем случае—совершенно исключен, не намечая тех средств, которые смогут это насилие заменить.

Причину такой постановки вопроса объясняет нам сам Бебель.

¹⁾ Protok. d. Parteitag. in Erfurt 1891, стр. 172.

²⁾ Protok. d. Parteitag. in Erfurt 1891, стр. 172.

³⁾ Ibidem, стр. 159.

Выступая в августе 1890 года на большом партийном собрании в Дрездене, Бебель сказал следующее:

«Мы должны просвещать массы. Но нам не следует употреблять при этом революционную фразеологию, способную возбудить недовольство в очень важных сферах и местах. Достаточно уяснить людям факты, которые и без того приведут ко все шире и шире распространяющейся социализации. Буржуазные партии только того и ждут, чтобы пустить против нас в ход вместо закона о социалистах, до известной степени только пробного закона, иного рода средства»¹⁾.

Эту же мысль он повторил на съезде в Эрфурте в полемике с молодыми: «Вильдбергер²⁾ говорит: мы не должны отрекаться от нашей революционной точки зрения. Мы должны всегда подчеркивать, что парламентаризм не есть средство, при помощи которого мы достигнем нашей цели.

Ну, а последнее средство? В рейхстаге нас всегда упрекают в том, что мы хотим только грубого насилия и низвержения. Что же, мы должны это подтвердить? Мы можем это сделать в рейхстаге, не опасаясь преследований, но что из этого получится? Моральную ответственность за это безумное поведение нам пришлось бы нести вне парламента, и нам бы тогда пришлось плохо; наши враги сделали бы вывод, что им придется с нами бороться только на баррикадах и полях сражений и, понятно, само собой, что для того, чтобы избежать этого, они должны были бы совершенно иначе, чем сейчас, к нам относиться. Нельзя доставить больше удовольствия врагам, чем речами в таком роде: этим мы доставили бы врагу то, чего он желает.

Они теперь несчастны потому, что они бессильны против нас: все, что они против нас предпринимает, отскакивает от нас, вследствие нашего спокойствия и хладнокровия, как от панцирей»³⁾.

Сказанное в этих двух выступлениях Бебеля проливает исключительно яркий свет на постановку вопроса о революции Бебелем и вместе с ним большинства германской соц.-демократии.

Бебель здесь не высказывается по существу против применения насилия, против революционного низвержения существующего строя. Он считает только, что из практических соображений обо всем этом не следует говорить. Он считает, что будущее партии зависит от того, будут ли ей предоставлены нормальные условия для работы, дадут ли ей возможность работать в легальных условиях. Чтобы эти нормальные, легальные условия обеспечить для партии, он считает необходимым отказаться от всяких выступлений, которые смогут дать реакционным кругам повод для возобновления исключительных законов, может быть, в еще более ухудшенном виде.

Вот эта боязнь исключительных законов, это стремление во что бы то ни стало, какой угодно ценой, сохранить легальность, сохранить ее хотя бы ценою отказа от упоминания самого слова «революция» — вот это в основном определило отношение Бебеля и большинства партии к проблеме революции.

В этом отношении чрезвычайно показателен инцидент, имевший место на Цюрихском конгрессе II Интернационала. От имени комиссии по вопросу о первомайском праздновании Виктором Адлером, руководителем австрийской соц.-демократии, предложена была резолюция, 3-й пункт которой гласит, между прочим, следующее: «Первое мая — одновременно с демонстрацией за введение 8-часового рабочего дня должно быть и днем возмещения воли рабочего класса, свергнуть классовые различия посредством социальной

¹⁾ Цитирую по книге: D. Müller, Klassenkampf in d. deutsch. S.-d., стр. 91.

²⁾ Вильдбергер — один из вождей левой оппозиции (молодых).

³⁾ Protok. d. Parteitag. in Erfurt 1891, стр. 171—172.

революции и, таким образом, вступить на единственный путь, ведущий к внутреннему миру народа, так же как к международному миру»¹⁾.

Слова «социальная революция», включенные в этот пункт, чрезвычайно напугали немецкую делегацию. От ее имени Бебель сделал следующее заявление: «Совершенно неприемлема редакция 3-го пункта резолюции, гласящего, что классовые различия должны быть уничтожены путем социальной революции. Этим самым для целого ряда германских государств празднование делается по закону невозможным»²⁾. Это заявление Бебеля заставило конгресс заменить слова «социальная революция» словами «социальное преобразование».

Если боялись такого слова, как «социальная революция», то можно себе представить, как избегали слов «насилие», «диктатура» и т. д. Если эти страшные слова и встречались в выступлениях партийных руководителей, то только там, где от них отрекались, где доказывалось, что партия ничего общего с проповедыванием насилия, диктатуры и пр. не имеет³⁾.

Такая тактика по существу означала отказ от революции, отказ от применения насилия. Ибо нельзя, конечно, предположить, чтобы рабочие массы, которым беспрерывно внушалась мысль, что тактика насилия — анархистская тактика, что насилие — это реакционный фактор, и что возможен переход к власти без насильственного низвержения существующего строя, нельзя предположить, чтобы эти рабочие массы выступили с оружием в руках в момент, когда это станет необходимым. Воспитанная на таких идеях партия, воспитанная на таких идеях массы революции не свершают. В решающий момент поражение такой партии обеспечено, если она, что вероятнее всего, не отступит еще ранее, чем разыграется битва.

«Необходимость систематически воспитывать массы в таком, именно таком, взгляде на насильственную революцию (как на неминуемое и предварительное условие осуществления социализма. Е. Р.), — писал Ленин в «Государстве и революции», — лежит в основе всего учения Маркса и Энгельса. Измена их учению — господствующими ныне социал-шовинистскими и каутскианскими течениями особенно рельефно выражается в забвении и теми и другими такой пропаганды, такой агитации»⁴⁾.

Эта характеристика соц.-шовинистских и каутскианских течений может быть полностью распространена на германскую соц.-демократию начала

¹⁾ Protok. d. Soc. Arb. Congress in Zürich 1893, стр. 31.

²⁾ Ibidem, стр. 35.

³⁾ Я позволю себе привести одно из выступлений Грилленбергера в парламенте. Правда, Грилленбергер был другом Фольмара и принадлежал к правому крылу партии. Но правление партии солидаризировалось с этим выступлением, цитируя его в меморандуме, выпущенном к Эрфуртскому партийному съезду и имевшему целью доказать абсурдность обвинений в оппортунизме, бросаемых девыми по адресу парламентской фракции.

28 февраля 1891 г. на заседании парламента Грилленбергер сказал следующее: «Господин фон-Беннигсен сказал, что мы, будто, не можем относиться серьезно к реформаторской деятельности, ибо покойный К. Маркс в недавно ставшем известным письме (имеется в виду критика Готтской программы. Е. Р.) высказался за то, что в качестве переходного периода между капиталистическим обществом и социал-демократическим должна наступить диктатура революционного пролетариата. Но господин фон-Беннигсен забыл прибавить к этому, что соц.-демократия к этому программному предложению Маркса не присоединилась. Германская соц.-демократия излагает свою программу так, как она считает это правильным для германских условий, и поэтому у нас никогда не было речи о революционной диктатуре пролетариата».

Разделявшись так с диктатурой пролетариата, Грилленбергер еще более бесцеремонно разделялся с революцией: «Я со всей энергией и совершенно открыто высказываюсь против насильственной революции с нашей стороны. Апелляция к насилию или провозглашения насилия не содержится в упомянутом письме Маркса» (Protok. d. Parteitag. in Erfurt, стр. 75).

⁴⁾ Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 313.

90-х годов — лучшего добернштейнского периода ее жизни, периода создания Эрфуртской программы.

Каковы бы ни были субъективные взгляды и желания вождей партии, объективно партия ориентировалась на мирное завоевание власти, партия оставалась безоружной перед лицом сильного врага, который, конечно, и не думал без боя уступить власть.

Мы сказали: каковы бы ни были субъективные взгляды вождей партии. Мы рассматривали взгляды Либкнехта, Каутского, Бебеля, — мы видели, что эти взгляды никак нельзя назвать революционными, что в лучшем случае они оставляли вопрос о пути к власти открытыми, в худшем — прямо говорили, что только демократия, только парламентское большинство приведет партию к власти.

Нам могут теперь возразить, что по выступлениям руководителей партии мы ни в какой мере не можем судить об их взглядах, поскольку эти выступления диктовались «цензурными» соображениями.

Нам кажется все же, что это возражение неверно. Во-первых, нельзя себе представить, чтобы субъективные взгляды вождей партии находились в полном несоответствии с их выступлениями и с их тактикой. Если практика не следует за теорией, то теорию приспособляют к практике. Так обычно бывает. Так должно было быть и в данном случае.

Мы намеренно цитировали, главным образом, речи на съездах и теоретические статьи и выступления, на которые цензурные соображения могли влиять меньше, чем на выступления перед массовыми собраниями. Мы нарочно не цитировали выступления, относящиеся к моментам наибольшего обострения отношений между правительством и социал-демократией, когда нужно было соблюдать особую осторожность в выступлениях. Мы видели, что и у Каутского, и у Либкнехта мы имеем дело не со случайными заявлениями, друг другу противоречащими, а с законченной системой взглядов, все части которой хорошо прилажены друг к другу. Невозможно себе представить, чтобы эти взгляды находились в противоречии с действительными их мыслями, чтобы они были только результатом приспособления к требованиям закона. Так быть не могло. Цензурными соображениями, может быть, можно объяснить замалчивание того или иного вопроса, но ими уже никак нельзя объяснить неправильной его постановки, и тем более создание целой неверной системы взглядов. А в данном случае, как мы видели, мы имеем дело не только с первым, но и со вторым. Мы имеем дело с системой взглядов, которую можно считать попыткой создания новой теории, или, точнее, исправления старой марксовской теории, при чем такого исправления, которое создавало бы базу под проводимой партией тактикой, эту тактику объясняло бы и оправдывало¹⁾.

¹⁾ Нам могут напомнить знаменитые и очень часто цитируемые слова Либкнехта, сказанные им на Цюрихском конгрессе: «Революции делают, но о них не говорят». Но Либкнехт так не сказал, и цитируют его неверно. Он сказал на этом конгрессе, полемизируя с Ньювенгайсом: «Заранее возвестить революцию! Поскольку об этом (о революции) можно было бы говорить, это принадлежит к вещам, которые делают, но о которых не говорят и уж ни в каком случае о них заранее не возвещают» (Protok. d. Soc. Arb. Congress in Zürich 1893). Поскольку о революции вообще можно говорить. В том-то и дело, что, по мнению Либкнехта, по крайней мере под очень большим сомнением стоит вопрос, может ли вообще идти речь о революции.

Нам могут напомнить и приведенные выше цитаты из речей Бебеля, где он говорил, что не должно быть места революционной фразеологии, ибо она может навлечь преследование на партию. Но тот же Бебель в той же речи мотивировал свое отрицательное отношение к разговорам о революции тем, что эти разговоры не могут оставаться только разговорами, что они обязательно переходят в дело. Именно в этом видел он главную опасность. «Разве вы верите», — сказал он, — что если партия согласится с тактикой насилия, то тех, кто ее одобряет, допустят, чтобы эта тактика оставалась только словом». Бебель в это не верит, и именно поэтому он против разговоров о насилии.

Еще важнее то обстоятельство, что такое возражение в конце концов совершенно несущественно. Нас менее всего может интересовать, что в тайниках своего ума думали Бебель, Либкнехт и др. Эти тайные помыслы никакого влияния на развитие партии, на судьбы революции иметь не могли. Для биографа они, может быть, имеют некоторое значение. Для изучающего историю партии — ровно никакого. Для последнего важно не то, как рисовали себе будущее партии ее вожди, а как рисовали они его партии.

А насчет этого у нас никаких сомнений быть не может.

Для нас не имеет особого значения, чем мотивировали вожди партии это искажение или затушевывание Марксовской теории революции.

«Это забвение крупных принципиальных вопросов, из-за мимолетных интересов сегодняшнего дня, эта погоня за мимолетными успехами без учета их последствий, — все это остается оппортунизмом, какими бы честными намерениями это ни оправдывалось. Честный оппортунист для нас даже опаснее всякого другого».

Так писал Энгельс в своей критике проекта Эрфуртской программы, и эти его слова полностью могут быть отнесены к постановке центром проблемы революции.

И наконец, и это самое важное, последним критерием при определении характера партии для нас является ее практика. Изучение последней показало бы нам, что взгляды центра на революцию не были чем-то случайным. Какую бы сторону практической работы партии мы ни взяли, будь то отношение к монархии, к будущей войне, к религии, к первомайскому празднованию и т. д., и т. п., мы увидим, что партия не ориентировалась на революционный путь захвата власти, не подготавливала массы к будущим революционным боям.

Но рассмотрение практической работы партии должно составить предмет особой статьи.

Дарвинизм и „дарвинизм“¹⁾.

П. Серебровский.

В недавно вышедшем сборнике критических статей против «Номогенеза» Л. С. Берга помещена, между прочим, и моя статья: «Дарвинизм и учение об ортогенезе», где я одновременно выступал против двух крайних течений в эволюции: виталистического и неodarвинистического и призывал следовать по пути, намеченному самим Дарвином. Витализм есть последний оплот исповедующих «творца», неodarвинизм же, по моему глубокому убеждению, уже есть тупик для эволюционистской мысли.

Моим давнишним убеждением является то, что дарвинизм сошел с правильного пути — всестороннего искания в столь трудной области, как эволюция, и имеет тенденцию превратиться в схоластическую, вредную догму. Однако эта точка зрения встретила возражения в рецензии тов. Слепкова в № 7—8 «Под Знамя Маркс.» за 1928 г. Выявить несостоятельность его обвинений и вновь призвать марксистскую мысль следовать по прямому пути, которым шел Ч. Дарвин (но не Уоллес, Вейсман и их последователи) я и ставлю себе в задачу дальнейшего изложения. Прежде всего Слепков стремится привить читателю совершенно превратное представление о моих взглядах, уверяя, что «движущая пружина» моего ортогенеза «должна лежать внутри организма», этого будто бы «требует само существо ортогенеза». Хотя о «внутренних» «пружинах» я писал, и в будущем не отказывался этого делать, так как всякому биологу хорошо известно, что организм есть бурнокипящий котел всякого рода реакций, тем не менее Слепков замалчивает и другое: мною посвящено 27 (!) страниц (от 95 до 122) доказательству того, что внешние агенты среды могут прямым своим воздействием изменять организм, создавая на следующие изменения. Добавлю, что я с 1914 года и по настоящее время работаю именно в этой области. Мало того, когда я говорил об «автономных» силах организма, то я делал соответствующие оговорки, напр.: «Вообще наличие ни с чем внешним не связанных процессов внутри организма довольно сомнительно, если вообще возможно» (стр. 123). Таким образом, попытку Слепкова «устроить» меня среди любителей «автогенеза» надо считать решительно неудачной. Подобными попытками пронизана вся рецензия. Можно, конечно, не соглашаться с моими построениями, горячо спорить и протестовать, но допустить ли в популярнейшем марксистском журнале писать заведомую неправду? Судя по цитатам, Слепков внимательно прочел всю мою статью и не мог не видеть основного ее стремления: отстоять от нападок неodarвинистов положение, согласно которым внешняя среда своим прямым воздействием изменяет организмы. Мало того, приводимые мною ортогенетические ряды (напр., птиц, которые изменяются в результате прямого действия климата) он оспаривает. Обратимся к его «аргументам».

¹⁾ Печатается в порядке обсуждения. Ред.

«В природе ортогенеза нет». Вот это «убедительно». По ортогенезу еще Дарвином, не употреблявшим этого термина, собран большой материал; в дальнейшем он богато разросся, и подобное утверждение надо бы снабдить хоть какими-нибудь доказательствами. В том-то и суть, что среда постоянно изменяет организмы, и неodarвинисты, отворачиваясь от такого рода явлений, тем самым услужливо передают материалистическое оружие в руки антидарвинистов-телеологов. Последние тщательно такие явления собирают и с торжеством делают вывод: — смотрите, как дарвинисты неправы, замалчивая и отрицая наличие ортогенеза. В действительности же делают это «дарвинисты» Слепковы, а не настоящие последователи Дарвина.

В дальнейшем следуют в рецензии высокомерные поучения по адресу взятого мною метода работы (наблюдения в природе, изучение систематики и зоогеографии). Это, конечно, большая ошибка Слепкова. Такой метод, вклиниваясь между четырех дисциплин: генетики, систематики, эволюционного учения и зоогеографии, является чрезвычайно продуктивным. Можно не соглашаться, повторяю, ни с одним моим выводом, но большой оплошностью является высмеивание методики работы. Этим методом недавно стали работать в Германии (Görlitz Rensch) и также очень продуктивно. «Человек», — пишет Слепков, — удовлетворяющийся одними фактами (а кто же ими одними удовлетворяется? П. С.), полученными от чистого наблюдения... слишком слабо вооружен для углубленной теоретизации. Он — слишком эмпирик, его уж слишком пассивен». Дальше Слепков дает мне, «наивному эмпирику», поминисте незабываемый урок «углубленной теоретизации». Вот его слова: «Тем же самым грешит и Серебровский, когда он эволюционные ряды... рассматривает как доказательства ортогенеза. Непосредственное наблюдение показывает, что перед нами ортогенез, но не то говорит экспериментальная работа и сопоставление этого наблюдения с целым рядом фактов. Факты с полной очевидностью говорят, что изменчивость определена не направлена (я утверждал, что она во многих случаях направлена. П. С.). Исследования дрозофилы, злаков датуры, «львиного зева», той же энотеры и пр. показывают, что изменения организмов совершаются «не в одном определенном, а во всех возможных направлениях» (Курсив мой. П. С.). Вот к чему приводит презрение к «наивному эмпиризму» и «углубленная теоретизация»: ни более, ни менее, как факты эволюции некоторых индивидов (изменчивость дрозофилы, энотеры и др.) переложил на эволюцию видов (мои эволюционные ряды). В одном случае имеется в виду изменчивость индивидуальная, в другом — видовая, географическая (именно ведь только из такой и составляются ортогенетические ряды и из личной состоять принципиально не могут — это уже не будет ортогенез). Однако есть же ведь разница между видом и индивидуумом?»

Мы, эмпирики, копаясь ежедневно во всех этих мутациях, варьациях и географических расах, отлично знаем, что личная изменчивость идет в разных направлениях (и здесь не беспредельно; напр., видели ли вы человека с красными, голубыми или зелеными волосами?), но при этом географическая изменчивость может ограничиваться всего одним — двумя подвидами. Мало того, при очень богатой личной изменчивости может не быть ни единой географической разновидности. Отличный пример такого рода кулик турухтан. Его личная изменчивость прямо невероятно богата и идет в самых различных направлениях, но только чересчур «углубленный» теоретик может сделать отсюда вывод, что кулик турухтан и эволюционирует, как вид, в самых различных направлениях. Наоборот, мы отлично видим, что он не имеет ни одной разновидности (географической) — ни в чем его эволюция не сказывается. Замечу еще, что смешение индивидуальной изменчивости с географической делает постоянно Л. С. Берг.

Во-вторых, я решительно нигде не писал: «в одном определенном направлении» или даже «в одном строгом направлении». Здесь опять благочестивое стремление втереть меня в ряды телеологов, исповедующих «одно строгое направление». На приложенных фотографиях в моей статье ясно видны по меньшей мере два направления: на севере птицы постепенно теряют окраску, на юге, наоборот, становятся все темнее и темнее». «В примерах ортогенеза, связанного с климатом, мы видим, что направлений столько, сколько имеется различных комбинаций климатических факторов», писал я на стр. 126. И вновь (на стр. 135): «естественный отбор из числа возможных направлений выбирает наиболее целесообразный». С этим полезно сравнить слепковское — «во всех возможных направлениях» — даже словно-то одно и то же. На стр. 149 я писал, что направлений в эволюции «хотя и не бесчисленное количество, но все же очень много». Примерно то же говорится на стр. 152. И даже когда я говорю о самом жутельном для Слепкова, об автономическом ортогенезе, я привожу ортогенез в нескольких направлениях (карликовые и, наоборот, гигантские слоны, бегемоты) и резюмирую: «нет единственного направления в эволюции». Не очень, значит, благополучно с «теорией» Слепкова, если он вынужден извращать мои слова.

Точно также неверно утверждение Слепкова, будто я считаю «положительной особенностью своих доказательств то обстоятельство, что они заимствованы не из лабораторий (курсив мой. П. С.), а прямо из природной обстановки». «Именно в этом — слабая, а не сильная сторона». Я считаю «положительной особенностью» всякой работы, когда лабораторные данные сверены с фактами из самой природы. Иначе может получиться неверное представление о сущности явления. В последние годы к неверным выводам, благодаря отрыву от «вольной» природы, приходили многие. Но сам я неповинен в недооценке эксперимента, и фальшью звучат уверения Слепкова, приведенные выше. В статье множество данных, полученных путем эксперимента, и Слепков не мог их не видеть. Нет нужды, что сам я не экспериментировал. Моя работа этого не позволяет даже. (Сам я работаю над изучением колоссальных по числу видов фаун птиц. Кроме того, большинство птиц почти не удается заставить размножаться в неволе, не считая очень многих других технических затруднений). Тем не менее я использовал многочисленные эксперименты других. В частности я упоминаю на опыты: Лесажа, Талиева, Цингера, Пжибрама, Семнера, Биби, Set Smith'a, Кенита, Иолосса, Вольтерека, Гота, Блексли и Беллинга... нет смысла, да и долго перечислять всех, упомянутых мной в этой краткой статье.

Теперь перейдем к обвинению меня в телеологии. Первоначально я сделал некоторое отступление в область, так сказать, бытовых явлений. Против телеологии я начал бороться, вероятно, раньше Слепкова. Еще в 1923 году я выступал против идей «Номогенеза» со всей решительностью на двух публичных диспутах в Харькове. Идеи, изложенные в «Номогенезе», защищал тогда Д. Н. Соболев¹⁾.

Впоследствии я не раз выступал в печати против телеологии, что, между прочим, и дало повод уважаемому Б. М. Козо-Полянскому пригласить меня для участия в сборнике «Номогенез». Я мог, таким образом, ожидать всего, что хочите, но не обвинения меня в берговской телеологии. Разберем эту затею Слепкова. «А к тому же в ортогенезе Серебровского все-таки есть телеология. Пусть ортогенез не обязательно приспособителен, пусть отбор этот — действительно материалистический фактор эволюции, контролирует его — этим не устраняется его целенаправленное, формообразующее действие».

¹⁾ Кстати заметить, вовсе не «подголосок» Берга, как уверяет В. Слепков. Проф. Соболев выступил гораздо раньше в печати со взглядами, до полной неузнаваемости по многим пунктам сходными со взглядами Берга. Слепков явно не в курсе литературы.

пишет Слепков и ниже еще повторяет: «Нам думается, что это настоящая телеология, говорящая о целевом (пусть не всегда приспособительном) изменении организмов». Мимоходом отмечу, что я в ортогенезе никогда (а не «не всегда») не видел чего-либо приспособительного (кроме случайного приспособления). Я писал следующее: «Надо вообще сказать, что с явлением ортогенеза снимается все мистически-туманное, если мы изучим влияние факторов ландшафта на организм. Становится ясным, что здесь обыкновенные физико-химические процессы и никакой «изначальной целесообразности» нет (стр. 148) и далее: «В ортогенезе ничего нельзя видеть иного, кроме неосмысленных физико-химических реакций» (стр. 157).

Вдумываясь в вышеприведенные слова Слепкова, я прихожу только к убеждению, что ему хотелось хоть в чем-то упрекнуть меня, замарать мои воззрения в глазах неспециалистов. В самом деле — пусть «не приспособительное» (т.е. не целесообразное), но... все-таки «целевое». Отказываюсь что-либо понимать. Из слов: «целенаправленное, формообразующее действие» можно, пожалуй, понять, что Слепков всякое формообразование считает «целевым», «целенаправленным». Само по себе формообразование еще нельзя называть целевым, коль скоро физико-химические агенты о целях не размышляют и коль скоро явления ортогенеза создают самые различные по последствиям для жизни вида признаки: целесообразные, нецелесообразные (вредные) и безразличные. При этом лишь естественный отбор решает, что целесообразно. Если всякое формообразование можно назвать «целевым», так как оно приводит к вполне определенным формам и свойствам (ни то, ни другое не цель все-таки), тогда вся кристаллография — вреднейшая телеология, так как кристалл растет и принимает вполне правильную, закономерную форму. Мороз на окнах рисует целые леса — самая возмутительная «телеология». Статья моя есть протест против телеологии, и, приводя примеры ортогенеза, я каждый раз констатирую, что никаких «целей» здесь не видно, что в результате неосмысленных физико-химических реакций животное даже часто гибнет. Просто непонятно, как можно всерьез говорить о моей «телеологии». В самом деле — если гвоздь на воздухе ржавеет, то это, конечно, не телеология, а вот если в теплом и влажном климате окисляется железосодержащий пигмент у птиц и млекопитающих, не принося в большинстве случаев животным ни вреда, ни пользы, то это уже телеология! Вчитываясь внимательно в обвинения Слепкова, можно видеть, что наиболее подозрительным он считает развитие «в определенном направлении». С этого и надо было начать. Я действительно констатирую, что процесс изменения очень часто явно направленный. Слепков преподносит читателям вместо «направленный» — «целенаправленный». Здесь подsunuto всего четыре буквы («целе»). Я хотел бы, однако, объяснить это совершенно иначе. Хочу думать, что автор попросту всецело находится под влиянием неодарвинистов, которые толкуют о «случайных», «беспорядочных» варьированиях, идущих «во всех направлениях».

Все-таки можно бы ожидать, что марксист, поучающий других «углубленной теоретизации», мог бы позволить себе роскошь представлять себе эволюцию как процесс, как развитие. Никуда не направленное развитие есть абсурд. Его так же трудно себе представить, как силу, никуда не направленную²⁾.

²⁾ Слепков видит диалектику только в процессе отбора. Ну, а как же тогда считать человека (в нашем обществе не только люди с органическими недочетами продолжают жить, но сохраняются искусственно даже безнадежно больные — отбора дарвиновского нет!) — эволюционирует он или нет? По Слепкову, очевидно, нет. А диалектика? Р действительности аналогия и физиология человека также находятся в процессе развития и понятно не без направлений: идет увеличение мая (в других местах) уменьшение роста, изменение интенсивности пигментации, густоты волосяного покрова и пр. Для принимающего ортогенез эволюция не прекратилась, и она совершается по законам диалектики.

Приходится объяснять не то, почему физиологические реакции, создающие новые признаки, имеют направление, а то, почему мы сплошь и рядом видим, что организм как бы топчется на месте, варьируя понемножку в весьма различных направлениях. (Это объясняется тем, что процессов в организме много, внешних влияний также много, что одни процессы двигают развитие признака вперед, другие назад, наконец тем, что один признак развивается в одном направлении, другой, соседний, в обратном, почему в итоге получается спутанная картина). Дабы читателю было яснее, о чем идет речь, я позволю себе привести несколько примеров ортогенеза.

Полагаю, что хотя этот журнал и не биологический, но читатели не посетуют за это меня, так как надо же марксистам договориться по целому ряду вопросов, и, между прочим, по вопросу направленности эволюционного процесса. Итак, я разрешу себе привести несколько примеров ортогенеза, где связь его с законами роста мне кажется чрезвычайно показательной. Первый пример. В Сибири, в Европе и в Китае живут почти изолированными колониями близко родственные виды малого мухолова (*Siphia parva*). Молодая птичка и самка бурые, самец имеет яркое рыжее горловое пятно, которое тем ярче и тем больше по размерам, чем птица старше. Иными словами, от полного отсутствия этого пятна у молодой птицы есть все постепенные стадии его развития, зависящие от возраста птицы. Любопытно, что самый старый самец из Сибири напоминает лишь второй наряд самца европейского (до полной неотличимости) или его очень старую самку (с признаками маскулинизации). В Сибири птичка как бы недорастает немного. В Китае же местный вид, наоборот, как бы перерастает европейский самцов: у него горловое пятно редко равно самому крупному пятну самого старого самца из Европы, обычно же оно заметно больше, распространяясь на зоб, бока тела и даже брюхо. Второй пример. Наш большой сорокопут (*Lanius excubitor*) в молодом возрасте имеет темные поперечные пестринки в виде скэбочек. Сибирский (*Lan. excub. major*) всю жизнь ходит в таком наряде. Оба эти подвида принадлежат северу Евразии. В средней ее части, а именно: в Казакстане и Туркестане, есть близкие формы. У северной из них, живущей от Оренбурга до Красноярска, и молодая птица теряет некоторое количество черных пестрин, напоминая как бы средний возраст европейского *Lanius excubitor*. Наконец, у туркестанского процесс подвигается столь далеко, что даже в птенцовом наряде он не имеет поперечной полосатости, напоминая этим стариков европейской птицы. В Индии, Персии и С. Африке живут еще несколько ближайших видов; и они не имеют подос ни на одной ступени индивидуального роста. Третий пример. Молодая птица нашего коршуна (*Milvus korschun*) бурая, с продольными палево-желтыми пестринами. У живущего в Сибири «большого» коршуна (*Milvus lineatus*) эти продольные полосы и бурая окраска сохраняются очень часто всю жизнь, и во всяком случае он никогда не бывает столь рыжим, как старые птицы из Европы (и Туркестана), весьма близко, чаще до полной неотличимости напоминая молодых птиц Европы (а также Туркестана, Кавказа, Персии и Индии). Множество раз на докладах, диспутах и в частных беседах неодадаринисты собирали против меня всю научную «тяжелую артиллерию» (ни разу, однако, не извращая моих взглядов), но каждый раз столь не по цели бьющую, что и сами в конце концов были вынуждены признаться, что не могут дать хорошего объяснения этим и аналогичным фактам (а их много — можно привести не три, а тридцать три примера). Дело в том, что эти признаки окраски никакой пользы (и вреда) приносить не могут и поставить их в связь с признаками полезными также не удастся. Отбором, таким образом, явления ортогенеза нельзя объяснить. Факты и опыты дают мне право считать наиболее вероятным следующее

объяснение. Резкий и прохладный климат Сибири задерживает, а южный, теплый или ровный климат ускоряет развитие признаков. Это вполне вяжется с опытами задержки или ускорения путем действия различных температур индивидуального развития. Кроме того, такое объяснение стоит в полном согласии с физикой и химией: холодом можно задержать любую химическую реакцию; тепло действует обратно. Интересно здесь то, что сибирские, европейские и всякие иные природные виды и подвиды никак не могут считаться за ненаследуемые, соматические вариации одного вида¹⁾, а значит в этих случаях мы имеем не простой ответ организма на воздействие извне, а эволюцию во времени в определенных климатических условиях. Допустимо предположить, что рост индивидуальный и «рост» указанных признаков окраски пера во времени суть лишь частные случаи одного физиологического процесса. Понятно, что пока не произведено соответствующих подробных исследований, это объяснение есть не более, как предварительное, ориентировочное. Совершенно очевидно, что никакой телеологии здесь нет. Понятно, почему процесс направленный (ибо рост не бывает не направленным). Дарвин приводит примеры образования признаков, имеющих для классификации большое значение, но необъяснимых естественным отбором, и объясняет появление таких признаков «законами роста». Очевидно, и он проповедывал «телеологию»? Нет, разумеется. Есть случаи ортогенеза, которые в свете экспериментальных исследований получают большую ясность. Это те, где мы имеем известное взаимодействие среды и организма. При этом взаимодействии определяющими могут быть то внешние причины, то внутренние. В приведенных мною в статье (в «Номогенезе») примерах изменения птиц ясно видно, что, например, обилие пигмента есть общее явление в ровном, теплом и влажном климате. Определяющая причина обилия пигмента здесь внешняя — климат. Но пигмент у одних видов откладывается равномерно (см. стр. 105), у других в виде штрихов и полосок определенной величины и формы (стр. 101 и 103). У всякого вида по своему. Поэтому причины развития того, а не иного рисунка или его полное отсутствие мы с полным правом относим к числу столь пугающих Селпкова внутренних свойств организма. В очень многих случаях мы лишь констатируем явления ортогенеза по аналогии с другими, но еще не нашли какого-либо, хотя бы предположительного, объяснения. Но и самый факт констатирования уже много значит — это первый шаг к исследованию явления. Однако отсутствие объяснения дает повод Селпкову к тому, чтобы отпустить несколько иронических замечаний: «простота хуже воровства», «зоогеографический эмпиризм», «секрет всех ортогенетиков» и т. д. Наша «простота», видите ли, «схватывает внешнюю, контурную поверхность», она фотографирует, а не изучает». Действительно... а мы-то наивные воображали, что надо сначала самый факт констатировать, надо его именно сфотографировать, дать затем хоть гипотетическое толкование подмеченного, а вот теперь оказывается, что мы должны сразу начать, не зная контуров явления, прямо с «изучения». Да... простота действительно хуже воровства, в особенности когда эта простота еще берется обучать других. Целью своей

¹⁾ Признаки северных и южных форм (видов и разновидностей) не есть просто ненаследуемые, соматические изменения, зависящие от прямого действия на каждый взятый индивидуум тепла или холода (такие изменения также имеют место, например, у бабочек, возможно и у многих других животных, но не об этих изменениях идет речь). Дело в том, что различные климатические виды и подвиды при расселениях и переселениях нередко стыкаются вплотную друг с другом и тогда северные и южные виды обитают в пограничной полосе вместе (иногда скрещиваются), следовательно живут при одних и тех же воздействиях извне, или же северные расселяются далеко к югу и обратно — южные далеко к северу, но, тем не менее, у северян остаются «младенческие» признаки, а у южных «стариковские» — ясное указание на прочность, наследуемость признака.

статьи я именно ставил — показать, что неодарвинистические схемы не годятся для объяснения целого ряда явлений, что существует развитие во времени, не связанное с действием отбора, что эти случаи надо и изучать, дабы они не оказались в руках антидарвинистов. Слепков рекомендует в качестве резюме обратиться мне к «телеологии» приспособления, т. е. к естественному отбору. Это не только старая, но теперь уже часто и прямо вредная песня, так как примеров ортогенеза накопилось столько, что для них пришлось бы сочинить бесчисленное количество гипотез в духе: а все-таки здесь отбор. Над такими потугами антидарвинисты вдоволь посмеялись бы, и правы были бы. Я полагаю, Ч. Дарвин не плохо знал теорию отбора, но он прямо указывает на действие внешней среды, как на фактор, могущий изменять виды и помимо отбора. Особенно наглядно выступает этот фактор, когда мы имеем дело с домашними животными. Искусственный отбор, гораздо более мощный фактор, нежели естественный отбор, порой не в состоянии сделать что-либо, дабы повернуть процесс в другую сторону. Я приведу один пример. Еще Дарвин указывал, что собаки и другие наши животные в тропиках мельчают. Дальнейшие данные подтверждают этот факт. Оказывается (как мы узнали на докладе И. Г. Соболева)¹⁾, что в Африке, точнее в дельте Нигера, коровы измельчали настолько, что ростом стали немного больше крупной козы. Измельчение рогатого скота наблюдается также и у нас в подтропических уголках Закавказья — грузинский скот. Ясно, что налицо ортогенез, ибо измельчение происходит с течением времени. Грузины, конечно, не в восхищении от того, что их скот мельчает. Они, наоборот, завидуют кубанским и терским переселенцам, приводящим свой рослый скот.

И негры на Нигере, надо полагать, что-нибудь понимают в количестве мяса и, вероятно, ведут отбор в сторону увеличения роста, да только это не помогает, очевидно. Возмутительная коровенка претерпевает «целенаправленное» (дабы стать похожей на козла?) изменение — и неграм убыток, и «телеологию» разводит! В тропиках, поскольку теплый и влажный климат господствует там уже давно, множество животных идут к измельчанию. Тропики есть настоящая родина пигмеев. Факты и опыты заставляют считать наиболее вероятной причиной измельчения прямое действие климата. Процесс направленный потому, что одна и та же причина продолжает действовать систематически на каждое поколение. Было бы странным, если бы климат действовал на одно поколение, а другое оставил в покое. В чем здесь телеология?

Слепкова беспокоит мое объяснение гигантизма. Я указывал, что это явление, хотя, повидимому, одного порядка с измельчением, тем не менее связь его с климатом или другими внешними условиями установить не удастся. Наоборот, ближайшая из цепи известных причин — внутренняя: переразвитие гипофизы. Из «Биологии и марксизма» я узнал, что при таких толкованиях мысль направляется «невольно» к «творцу». Чья мысль — не сказано; и так как ни Дарвин, признававший «внутренние» причины, ни кто другой из материалистов к «творцу» не обращался, то можно предположить, что сам Слепков боится сбиться с истинного пути. В той же книжке мы находим и рецепт исцеления от «творца» — надо все причины изменений объявить внешними. Наивно воображал я, что если измельчение имеет ничуть не чудесные причины, то и обратное явление — гигантизм — также не окажется чудом, когда мы его уразумеем. Оказывается, теперь дело не столь невинно с моей стороны. Спешу выправить свою ошибку и объявляю: гигантизм зависит от лунных затмений и солнечных пятен. Мне скажут — это не серьезно, но... можно ли серьезно говорить, что признание «внутренних»

¹⁾ Не смешивать с Д. Н. Соболевым.

причин ведет к признанию «творца»? О «внутренних» и «внешних» причинах развития еще будет сказано в дальнейшем, а теперь пойдем дальше.

Телеология начинается там, где видно желание объяснить возникновение целесообразного одной физиологической конституцией организмов. Я же посвятил свою статью доказательству того, что все, что создается таким путем, не имеет отношения к целесообразности или легко объясняется свойствами, полученными в течение истории вида путем естественного отбора.

Резюмирую сказанное по поводу странного обвинения меня в телеологии: В процессах эволюции организмов наблюдаются явления, необъяснимые естественным отбором. Под термином «ортогенез» подразумевается совокупность весьма различных явлений физиологической природы, напоминающих развитие или рост во времени. В изученных случаях развитие в определенном направлении зависит, разумеется, не от какой-то силы, «отмеченной печатью разума»¹⁾, а от того простого факта, что не прекращают своего действия вызвавшие ортогенез причины — внешние и внутренние, находящиеся друг с другом в известном взаимодействии. Определяющими могут быть то одни, то другие. Тот факт, что одни и те же процессы при этом идут из поколения в поколение в одном направлении (не без колебаний, вероятно, так как длительно не может существовать таких причин, которые бы неизменно давали одну и ту же равнодействующую) не должен нас озадачивать, так как каждое поколение есть продукт развития кусочка тела (зародышевой плазмы) предыдущего поколения. Если зародышевая клетка передает сыну мельчайшие отличия отца (хотя бы и не вполне точно), в роде тембра голоса, характерной походки и т. п., то несколько не удивительно, что процесс, идущий в одном направлении у одного индивидуума, может быть передан и продолжаться далее у потомства. Удивительным он кажется только потому, что неодарвинисты мыслят признаки организации (видовые, родовые и пр.) как бы физиологически неподвижными, которые в процессе отбора сменяются несколько иными, но также неподвижными. В действительности же каждый признак перестраивается в течение всей жизни. Иными словами и жизнь отдельного индивидуума полна определенно направленных процессов, что все может быть названо физиологией роста. В виду крайней медленности процессов видоизменения в природе, наперед можно сказать, что каждое количественное изменение признака детей по сравнению с родителями в лабораторной обстановке чрезвычайно легко пропустить, за ничтожностью этого изменения. Новые признаки вовсе не обязательно должны нарастать постепенно. Есть много указаний на то, что здесь наблюдаются сравнительно резкие скачки, но об этом я здесь не буду говорить, так как посвящу вопросу о скачках специальную статью.

В оправдание того, что не все случаи ортогенеза объяснены даже предварительно, могу сказать следующее. Диалектика научного исследования такова, что, вскрывая одну тайну природы, тем самым открывают новое неизощренное. Каждое исследование что-нибудь объясняет, но оно же ставит на очередь ряд новых вопросов. Теперь на очереди — объяснение ортогенеза. Смешно поэтому требовать от нас, чтобы мы точнее и объяснили все явления ортогенеза. Хорошо уж; и то, что некоторые изучены очень не плохо. По крайней мере у нас теперь есть материал для суждения по аналогии.

Должен еще во избежание кривотолков сказать, что, признавая определенное направление в развитии того или иного признака, я имею в виду не всю беспредельную по количеству лет историю вида, а лишь сравнительно

¹⁾ Хорош, в самом деле, «разум», если гигантизм ведет к смерти, переразвитие утробы много-дюжины видов, также и вырождение, если, короче говоря, из-за этого «разума» околевать приходится.

небольшой отрезок времени. Если мы, например, говорим о гигантизме слонов, то это нельзя понимать так, что уже от стадии амёбы началось разрастание тела и продолжалось беспрерывно до его теперешнего состояния. Гигантизм слона начался где-то в третичном периоде.

Я не случайно остановился так долго на ответе Слепкову. Вопросы, затронутые нами, далеко выходят из рамок столкновения двух лиц. Я рассматриваю наш спор как результат неизбежного столкновения ортодоксального дарвинизма с его односторонним, схоластическим ответвлением, именуемым неodarвинизмом. В книге Слепкова «Биология и марксизм», как и в рецензии, перед нами выступает теоретик неodarвинист (вернее ученик неodarвинистов). Естественный отбор, как указывал сам Дарвин, а с ним К. А. Тимирязев, Плате и многие другие ортодоксальные дарвинисты, не объясняет и не призван объяснять возникновение новых свойств и новых морфологических признаков в организме. И если Слепкову больше нравится «телеология приспособления», то это есть призыв назад, а не вперед, не к Дарвину, а от Дарвина. Теорию отбора у нас в СССР в настоящее время почти не от кого защищать, если иметь в виду только биологов, так как большинство их ее и не отрицает. Этим заняты виталисты, которых, как говорится, «кот наплакал». Совсем другое дело с вопросом о причинах возникновения новых признаков. Многие недооценивают этой стороны дела. Мне сейчас припоминается замечание тов. Дучинского на мою статью в «Номогенезе». Он увидел «внутренние противоречия» в том, что я, с одной стороны, признаю «могучее действие естественного отбора», с другой же стороны, мыслю возможным процессы, идущие даже «вопреки ему». Короче говоря, и здесь, как и в рецензии Слепкова, видно реанимированное опасение за теорию отбора. Но все дело в том, что неodarвинизм отучил многих видеть две совершенно различные стороны в эволюционном процессе, хотя и неразрывно связанные друг с другом. Есть механика эволюционного процесса (отбирается механически одно, а другое механически же уничтожается) и есть физиология эволюционного процесса, которая создает то, что подлежит отбору—все эти вариации, мутации и разное другое. Сюда же следует причислить гомологические ряды Вавилова, сюда же относится и вся мешанина фактов, частью еще неизученных, объединяемых пока под одним, как я уже говорил (в статье в «Номогенезе»), не совсем удачным термином—ортогенез. Естественный отбор (механика) ничего не создает и создавать не может, но он направляет, и направляет разумно, развитие организмов. Естественный отбор—это, если так позволительно сказать, неразмышляющий разум органического мира: только он умеет, пусть автоматически, отличать целесообразный процесс от нецелесообразного. В результате только благодаря отбору неразумная физиология создает чудесное—гармонически сложенный, целесообразно на все реагирующий организм, со всеми его хитроумными приборами и удивительными свойствами. Выбирая жизненную комбинацию, отбор тем самым вмешивается в ход физиологических процессов. Но это все же только механика, физиология же имеет свои законы, ничего общего не имеющие с отбором. Отбор силен, главным образом, потому, что ему есть из чего отбирать—физиология дает много материала. Много, но не беспредельно. Многим животным очень полезна зеленая окраска. Физиология рыб, амфибий, рептилий и птиц успешно предоставляет ее тем, кому это нужно. Но ни одно млекопитающее не имеет зеленой окраски (хотя многим она была бы очень полезна), очевидно, физиология может дать не все, что порой от нее требует отбор. Сейчас в С.-В. Тибете живет крупная куриная (беззащитная) птица, *Crossoptilon tibetanum*—белого цвета. Ее видно за версту (к тому же она является, как пишет в своем дневнике П. К. Козлов, «первым нарушителем тишины»). Замечено, что цыплят у этих птиц очень мало. Неудивительно—там не мало

хищников. Можно удивляться, почему эту птицу до сих пор начисто не съели. Очень бы пригодилась этой птице покровительственная окраска, но... физиология не дает ее: среди громадной серии *Crossoptilon*, собранных П. К. Козловым, я не нашел ни одной варьации в сторону какой-либо из покровительственных окрасок. Отбор не может выбирать из ничего; но спросу я тов. Дучинского, разве это демонстрация слабости отбора? Тов. Дучинский, вероятно, теперь уже понимает, что сам вопрос о том, чье действие более «могучее»: отбора или физиологии, ставится им неправильно. Противопоставлять физиологию отбору так же правильно, как противопоставлять коммуниста шахматисту, врачу, слесарю и т. п. Неodarвинисты Уоллес, Вейсман и многие их последователи без умолку говорили о всемогуществе отбора, доказывая это на все лады, и вот печальный результат: некоторые (Слепков) просто не интересуются физиологией эволюционного процесса, другие (Дучинский) сравнивают несравнимое, находят «внутренние противоречия» там, где их принципиально нельзя и искать: их отучили видеть физиологическую сторону эволюции. Вторым результатом этих восхвалений отбора является то, что всякий, работающий в области физиологии эволюционного процесса, всегда невольно вносит известный расхолаживающий тон; но кто в этом виноват? Дарвин, повторю, физиологии (в частности физиологии роста) отдавал должное: он считал, что не только признаки видов, но и более крупных таксономических групп, могут возникнуть помимо отбора (например, в тех случаях, когда они ни вредны, ни полезны). Внесил ли Дарвин этим какой-либо диссонанс в теорию отбора? Ни малейшего. Во-первых, признаков ни вредных, ни полезных сравнительно очень немного. Но это не главное. Главное в том, что нет принципиальной разницы, может ли физиология создавать только личные особенности или она может создать и расовые особенности, видовые и т. д. Если личные варьации всяк относил «по ведомству» физиологии, то что же мешало происхождение расовых и более крупных отличий отнести по тому же ведомству, если они явно безразличны в жизни организма? Ясно, что ничто не должно бы мешать. Но так думал только Ч. Дарвин, да еще его прямые продолжатели. Неodarвинистам же мешало здесь одно словечко: «вид». Ведь если одна физиология может создать «видовые» отличия, то учение о «происхождении видов путем отбора» понесет известный урон, а потому надо было высмеивать, резко критиковать всякого, кто интересовался физиологией эволюционного процесса, т. е. доброй половиной учения.

Нападки нередко переходили всякие границы. Буквально затравлены Шманкевич, Каммерер, Тоуэр. Если последний не покончил с собой, подобно первым двум, то поставлен в очень тяжелые условия. Этим я не хочу бросать обвинения кому-либо персонально, но объективно вред одностороннего направления можно считать констатированным.

Неodarвинистическое направление все многообразие явлений эволюции стремится ограничить исключительно отбором мелких личных изменений: мутаций и комбинаций (являющихся результатом скрещивания). В действительности же можно смотреть даже на явления только отбора гораздо шире. Отбору подлежат буквально все: и мелкие изменения, и более крупные, включительно до признаков классов. Изучая историю органического мира, легко убедиться, что, кроме отбора индивидуумов, есть еще отбор видов, биоценозов. Мало того, можно доказать наличие отбора целых фаун и флор. С этой точки зрения вымирание переразвившегося вида не «затирает» несколько принципов отбора. Хотя отбор внутри вида (например, мамонта) не в состоянии повернуть дело к благополучию его, тем не менее, над этим отбором есть еще отбор видов внутри биоценозов и биоценозов внутри флор и фаун. Как при отборе внутри вида выключаются неудавшиеся варианты, а наиболее приспособленные остаются жить и эволюционируют дальше, так и при отборе

внутри биоценоза выключается неудавшийся вариант (допустим тот же вариант), но уже как вид, а не индивидуум; на его место ставится другой вид (или несколько видов), все равно, родственный систематический или совсем не родственный: естественный отбор систематике не обучается, он знает лишь экологию. Конечно, отбор внутри биоценозов и фаун имеет свои закономерности. Они чрезвычайно интересны, но так как этому вопросу я посвятил отдельную статью (точнее, книгу), то я не буду здесь об этом говорить. Скажу только, что эти закономерности весьма своеобразны, и они не охватываются тощенькой формулой неодарвинистов: переживают наиболее приспособленные индивиды. Замечу, что и внутри тела каждого индивидуума существует еще отбор тканей и клеток, со своими закономерностями. (При этом развитие клеток в течение жизни индивидуума имеет поразительные аналогии с развитием фаун и флор: великое повторяется в малом). Мы привыкли мыслить физиологию помимо отбора. Казалось бы, что общего между механическим истреблением неприспособленного и физиологической жизнью организма? На первый взгляд—ничего. В действительности же физиология сама в значительной мере есть создание отбора. Никакого роста тела, никакого кровообращения, выделения и пр. и пр. не могло бы быть, если бы все это не координировалось, не направлялось и не исправлялось естественным отбором. Ошибка телеологов в том и заключается, что они самому телу организма приписывали способность направлять в сторону приспособления свои физиологические реакции.

Таким образом, физиология стоит в подчинении к естественному отбору. Из этого, однако, вовсе не следует, что ее можно путать с отбором. Ясно, что физиологические процессы имеют свои собственные законы и правила. Если законы Дарвина воздействуют на физиологию, то воздействуют лишь через посредство физиологических законов. Это будут частные законы, охваченные общим законом борьбы за существование и естественного отбора, частное внутри целого.

Частные закономерности довольно многочисленны, и именно они больше нам уясняют дело, чем общие закономерности. Их грубо можно разделить на две группы: 1) механика отбора и 2) физиология эволюционного процесса, которые, в свою очередь, имеют частные закономерности. Внутритканевой отбор служит связующим звеном между физиологией и механикой эволюции. Ортогенез, т.-е. явление своеобразного роста во времени, несомненно относится к числу физиологических закономерностей, подчиненных, как сказано, естественному отбору. Сюда же будут относиться другие закономерности физиологического характера, например, образование мутаций, гомологических рядов Вавилова, образование комбинаций (законы Менделя) и проч. Все их необходимо изучать, дабы понимать: общую закономерность. Повторяю—эти частные законы дают нам больше для понимания эволюции, чем слишком общая, а потому до известной степени расплывчатая и абстрактная формула естественного отбора. Неодарвинисты придавали отбору мелких полезных индивидуальных вариаций столь много значения, что за этими деревьями не видно было лесу: других закономерностей эволюции. Если дать маленькую хотя бы задачу, не укладывающуюся в этот отбор «мелких полезных», то привыкший к ним неспециалист сразу и станет втупик. Возьмем такой пример. В старом буковом лесу ежегодно осыпаются миллионы семян. Согласно трафаретной формуле, прорастут очень многие, но им столь тесно, что большая часть погибает, а выживает только те, которые имеют какие-либо преимущества в своих личных особенностях. Лесу прекрасно. Трагизм, однако, заключается в том, что в старом буковом лесу нередко почва от гниющих листьев становится настолько кислой, что... семена вообще не прорастают на ней. Здесь ставим точку. Пусть любители упрощенных схем ломают голову над тем, как же может осуществляться про-

грессивная эволюция бука? Но такого рода примеров можно привести очень много. Все они покажутся, однако, задачами для детей младшего возраста, если знать закономерности естественного отбора фаун и флор, иметь понятие о биоценозах и их эволюции, короче говоря, знать частные закономерности и не ограничиваться узенькой шаблонной формулировкой проблемы.

Затирание физиологических закономерностей в эволюции явно не марксистский прием. Марксист должен знать частные закономерности, дабы лучше понимать общую закономерность. До сих пор неодарвинисты искусственно ограничивали изучение физиологической стороны эволюции изучением физиологии мелких индивидуальных отличий. Это ошибка. Мы указываем на явления ортогенеза, в значительной мере еще не изученного и вероятно сложного, но, несомненно, относящегося к физиологии. Это наше указание Слепковым отрицается. Правильно ли поступает марксист? Слепков желает, чтобы с каждой страницы эволюционной литературы звучала песенка—«и вся-то наша жизнь есть борьба». Далеко с этим принципом не уедешь—он известен в науке уже почти три четверти века. Еще более не соответствует духу марксизма представление неодарвинистов о ходе эволюции. В основе лежит появление мутаций и комбинаций. И то и другое представляется как бы физиологически застывшим, неподвижным, передающимся неизменно из поколения в поколение, пока не возникнет новая мутация или комбинация, т.-е. новое неподвижное. В процессе отбора одно неподвижное механически заменяется новым неподвижным. Правда, мутирование сопровождается колебаниями в самые различные стороны в результате воздействия различных внешних агентов. Это так называемые флюктуации, ненаследственные, непостоянные мелочные изменения. Ясно, что эти флюктуации вовсе не говорят за то, что образование нового признака есть известный процесс; наоборот, они скорее способны внушить мысль о топтании организма на месте, о колебании его беспорядочно в разные стороны, при чем равнодействующая равна нулю. Во всяком случае нового флюктуации для эволюции решительно ничего не дают, и мы с полным правом повторяем—одно неподвижное в представлении неодарвинистов сменяется другим неподвижным. Сколько тут марксистского—пусть читатели судят сами. По нашим же представлениям возникновение нового признака есть процесс, имеющий определенное направление (обычно организм способен эволюционировать в нескольких определенных ⁴⁾ направлениях). Признак нарастает постепенно из поколения в поколение. В начале он имеет чисто-количественный характер (орган становится побольше, поменьше, темнее, светлее, краснее, зеленее и т. п.), затем, когда из количественных изменений становятся качественными, т.-е. когда признак становится вредным или полезным, он передается суду естественного отбора, который и определяет, быть ему или не быть. Таким образом, естественный отбор может: 1) совсем исключить определенный процесс, 2) задержать его развитие, 3) наоборот, подхватить его в наиболее резком его выражении и тем самым в общей массе индивидуумов ускорить процесс. По Слепкову, как видно из его книги «Биология и марксизм», признаки как-то сразу становятся качественными. Правильнее, он об этом не думает, а берет то, что ему подсунули неодарвинисты, у которых качество рождается вместе с признаком, хотя бы этот признак был мизерным. «Все вообще малые изменения, находящиеся всюду и во всех частях тела, могут обладать подборной ценностью», утверждал Август Вейсман. Такое представление служило и служит излюбленной мишенью анти-

⁴⁾ Могут сказать, что слово «определенный» в данном случае излишне—можно прямо говорить «в нескольких направлениях».—Это неверно. Словом «определенный» мы хотим противопоставить ортогенетически возникающие признаки тем беспорядочным колебаниям в различные стороны, о которых выше говорилось.

дарвинистов, и чем скорее мы избавимся от этого, действительно, неправедного представления, тем будет лучше. Признак, развиваясь, может перейти границы личной изменчивости и стать подвижным или видовым (даже родовым и редко более, чем родовым), не подвергаясь отбору. Это служит показателем того, что количественные изменения не при всех обстоятельствах одинаково быстро становятся качественными (признаки безразличны в жизни вида). По моему же неодарвинистов, всякий признак или качественный или связан с другим качественным, т.-е. все имеют то или иное значение или связаны с имеющими значение. Это та крайность, которая противоречит, прежде всего, фактам; во-вторых, ничуть не вынуждается учением об отборе; в-третьих, теоретически не может быть принята.

Отрицание непрерывности процесса образования признаков есть отрицание диалектики. Но, когда представляю себе процесс эволюции в виде смены одного неподвижного другим неподвижным, когда отрицают ортогенез, то как это назвать, как не отрицанием непрерывности процесса? «В мутационной теории совершенно выпадает непрерывность процесса развития, а вместе с ней и все развитие. Это последнее сведено к «скачкам» совершенно не диалектического характера», пишет Слепков на стр. 25 «Биологии и марксизма». По этому поводу можно лишь сказать: *medice, cura te ipsum!*

Вопрос о скачках мы здесь не будем разбирать (этому, как я уже сказал, будет посвящена особая статья), но нельзя не отметить, что крайность и узость одностороннего направления в дарвинизме сказывается и в трактовке этого вопроса различными марксистами. «Изменения всегда совершаются скачками, но только ряд мелких и быстро следующих друг за другом скачков сливается для нас в один непрерывный процесс»¹⁾, писал Плеханов. Слепков в «Биологии и марксизме» (стр. 25) присоединяется к нему, не упустив, разумеется, сделать несколько замечаний по адресу «не по уму усердных марксистов». Неустанное восхваление отбора, главное же—одна упрощенная схема отбора, позволяет видеть только крошечный кусочек эволюции: отбор «мелких полезных» вариаций. И к этому только отбору приложено понятие о скачках в эволюции. Но куда мы денем такие катастрофы, как вымирание палеозойской фауны амфибий, каменноугольной флоры, последующий расцвет рептилий из позвоночных, хвойных, саговниковых и некоторых папортников среди растений? Куда мы отнесем чрезвычайно быстрое, как бы внезапное, появление флоры покрытосеменных в мелу взамен мезозойской флоры; куда отнесем быстрое вымирание колоссального царства рептилий и замену их робкой, молодой, «эмбриональной» (в начале) фауной млекопитающих? Таких резких смен в течение эволюции было немало, они назревали закономерно, катастрофы должны были произойти и дать в результате новые флоры и фауны. Неужели эти революции никак не влияли на ход эволюционного процесса в природе? Конечно, чрезвычайно сильно влияли: одно истреблялось, другому предоставлялось развиваться. Так неужели надо пройти мимо этих грандиозных явлений, не зацепив их даже ногой, и упереться в «ряд мелких и быстро следующих друг за другом скачков»? Разумеется, нет. Но предварительно нужно признать, что схемы неодарвинистов есть узость, позволяющая видеть лишь ничтожную долю единого, но многоформенного процесса эволюции. Как еще говорилось, кроме отбора «мелких полезных» особенностей, есть еще закономерности даже в пределах одной механики отбора. Кроме того, есть еще физиология эволюционного процесса. И внутри каждой законо-

¹⁾ Кстати заметим, что такая трактовка вопроса способна привести зарубежных социал-соглашателей в самое благодушное настроение: они также «идут к социализму путем ряда «мелких и быстро следующих друг за другом скачков», сливающихся «в один непрерывный процесс».

мерности есть свои скачки, измеряемые своим масштабом. И мутациям де-Фриза найдется свое место, так как они возникают, вопреки уверениям (ни на чем не основанным) Слепкова, так же, как и всякие скачки, но без предварительной подготовки; смены в борьбе за существование одного биоценоза другим, одной фауны или флоры на другую—это также, конечно, скачки, в пределах своей закономерности, каждая на своем месте.

Теперь остановимся на причинах изменчивости. Коль скоро естественно значущими в естественном отборе являются мутации и комбинации, то тем самым почти нацело отпадает непосредственное влияние среды на организм, так как ближайшие причины мутаций лежат в каких-то внутренних процессах. Понятно, что эти причины, быть может, есть следствие какого-либо влияния извне, бывшего ранее, в предшествовавших поколениях. Теперь, правда, получены мутации действием температуры и х-лучей, но большой вопрос, могут ли они так возникать в природе. Получается, что влияний внешней среды как будто нет или во всяком случае оно трудно докажем, если не считать редких исключительных случаев. Если теперь еще припомним, что комбинации, т.-е. результаты скрещивания, как само собой понятно, но относятся к сфере прямых влияний внешней среды, то в конце концов выходит, что внешняя среда почти не влияет на ход эволюции. Это несомненно, вносит известный диссонанс в наши представления, по которым все стоит в связи со всем. В своей статье в «Номогенезе» я привел большой ряд данных в пользу того, что внешние факторы в действительности прямо изменяют организмы то в большей, то в меньшей степени. По моему мнению такой вывод стоит ближе к марксистскому мировоззрению.

В печати появилась, правда, есть одна теория, о которой можно бы и не упоминать, если бы она не имела тенденций противопоставлять себя и ортодоксально дарвиновскому и неодарвиновскому воззрениям на этот предмет. Мы имеем в виду теорию Слепкова «Биология и марксизм». Чтобы не сомневаться насчет воззрений Ч. Дарвина относительно факторов изменчивости, послушаем, что говорит он сам: «Природа условий имеет в произведении каждого данного изменения менее значения, чем природа самого организма; быть может, первая влияет не более существенно, чем природа той искры, которая воспламеняет массу горючего материала и влияет на свойства вспыхивающего пламени» (Происхождение видов, изд. Поповой, 1896 г., стр. 14) и еще: «Должно различать два фактора: природу организма и природу условий. Первый, повидимому, наиболее существенный, так как совершенно сходные изменения возникают при условиях, насколько мы можем судить, совершенно различных, а, с другой стороны, несходные изменения возникают при условиях, повидимому, совершенно однородных» (*ibidem*, стр. 12). Дарвин, таким образом, считал, что новые признаки есть результат взаимодействия внутренних и внешних факторов, при чем внутренним он отводил, как видим, далеко не последнюю роль. Излагая теорию Дарвина, Слепков изменчивость организмов относит исключительно за счет внешних условий (стр. 11, 14, 16), не оговаривая, что это «теория Слепкова», а даже прямо убеждая, что так думает Дарвин. Приводится даже цитата из Дарвина: «нет никакого повода признавать вмешательство какой бы то ни было внутренней силы». Ссылки на страницу и пр. благоразумно не делается. Я утверждаю, что Дарвин имел твердые представления о внутренних («природа организма») силах и внешних и не мог сам себе столь резко противоречить.

Сначала взглянем, какие доводы имеются у Слепкова в пользу отрицания внутренних факторов развития. Данные биологии? Ясно, что нет. Ни один биолог не отказался от понятия «внутренние факторы». Факты не позволяют

во всяком случае все изменения сводить на прямое действие внешних сил¹⁾. Оригинальный выход из затруднений находит в этом случае Слепков: он объявляет все причины наследственной изменчивости внешними, но, чтобы не упустить и внутренних процессов, называет все тело организма, за исключением зародышевых клеток, внешней средой, на ряду, значит, с климатом, солнечными пятнами и прочими явлениями природы. Я теперь не могу понять, кто же это подобную метафизику развел, Слепков или «внешняя среда», находящаяся между шапкой и ботинками Слепкова. Конечно, геометрически зародышевая плазма есть нечто внутреннее по отношению к телу. Но как же можно принимать во внимание только пространственные отношения? Разве забыл Слепков, что половые клетки омываются одной кровью со всем телом, испытывают на себе действия всех растворенных в ней гормонов и других химических соединений. Мало того, они и сами отдают определенные вещества внутрь тела, они живут, короче говоря, одной общей жизнью со всем телом. Этим мы, конечно, не хотим отрицать того, что зародышевые клетки, как и всякие другие, имеют свои особенности. Кроме того, зародышевые клетки часто прямо получают свое начало из клеток не зародышевых. Например, из картофелины (=измененная часть стебля) развивается растение с половыми клетками. У низших организмов (большинства одноклеточных) половая клетка и тело—одно и то же. Каким же образом можно отделять зародышевую клетку от организма и считать «внешней средой» то, что дает саму зародышевую клетку? Да еще выносить эту «внешнюю» среду за одни скобки со всей действительно внешней неорганической и биологической средой? В этой оригинальной «геометрической» метафизике есть скрытое признание роли того, что мы вместе с Дарвином именуем «природой организма» в вопросе о причинах изменчивости. В ней имеется налицо желание уйти от «немарксистских», «внутренних причин», но «уходить» приходится по способу страуса, прячущего голову под крыло. Несомненно, что Слепкова, если не «лукавый попутал», то попутал неодадарвинист Август Вейсман, всю жизнь доказывавший независимость зародышевой плазмы. Тем не менее «независимая» зародышевая плазма есть абстракция, схоластика, метафизика.

В действительности у нас нет основания отказываться от удобного термина «внутренние причины» или «факторы» развития в том понимании, как этот термин понимал, напр., Дарвин. Почему же Слепков от него отворачивается?

Причин здесь две. Об одной — боязни «творца», мы уже упоминали выше. Вторая причина покоится на теории. На стр. 104 его книжки читаем: «Либо приходится утверждать бессмыслицу, что зародышевая плазма сама себя изменяет (стоит здесь вспомнить *perpetuum mobile*)²⁾, подобно знаменитому барону Мюнхгаузену, который сам себя вытащил за косу из воды, либо, пойдя дальше, приходится становиться на телеологическую точку зрения, согласно которой организм изменяется сверх'естественной целью, в нем заложенной неведомо кем». Теория, конечно, нужна. Кто об этом спорит? Ошибиться в теоретических выкладках не трудно, и ошибок можно было бы привести громадное количество. В рассуждениях Слепкова, например, не все также благополучно. Приводится сравнение с машинной *perpetuum mobile*, которая силы ни откуда иметь не может, но должна сама, из себя создавать силу; и в то же время приводится сравнение с Мюнхгаузеном, который силу

¹⁾ Очень возможно, что то, что мы относим за счет влияния внутренних факторов, в конечном счете есть отраженное влияние внешней среды на предыдущие поколения, как это предполагал и Дарвин, но если это было когда-то, может быть очень давно, то как мы можем этот внешний толчок уловить?

²⁾ Заключенное в скобки вынесено Слепковым в подстрочное примечание. П. С.

имел и притом достаточную, чтобы поднять тяжесть собственного тела, но он не имел точки приложения этой силы. Это ведь далеко не одно и то же, что... *perpetuum mobile*. Таким образом, без нужды приходится разбираться в двух толкованиях затруднения в признании внутренних причин. Во-первых, организм не может из себя создавать энергию для образования нового признака или зачатка нового признака. Исходным пунктом недоразумения является метафизическое представление об организме, как о чем-то оторванном от окружающего. Жизнь, как это очень хорошо знает каждый материалист, в конечном счете есть результат взаимодействия поверхностных частей земного шара и космических излучений, т.е. внешних явлений. Первая дает в конечном счете все сто процентов материала для постройки живых существ, вторые дают все сто процентов энергии для деятельности организма. Организмы есть лишь трансформаторы чужой энергии (изучена, главным образом, лишь энергия солнечного луча, которую захватывают зеленые растения и передают ее в трансформированном виде незеленым растениям и животным. Таким образом, сравнение с *perpetuum mobile* не уместно, и взгляд на организм, как на нечто независимое в смысле энергии, есть взгляд не материалиста, а виталиста, иначе говоря — метафизика «на все сто процентов»¹⁾. Материалист, если он говорит о «внутренних силах», понимает это, конечно, в всегда условно и не откажется и в дальнейшем употребить это удобное обозначение. Что же у организма имеется своего? Ответ ясен — структура, являющаяся достоянием всей его предшествовавшей истории и синхроничных жизни каждого индивидуума внешних воздействий. При этом структура, чрезвычайно сильно противодействует очень многим внешним влияниям, что есть следствие борьбы за существование. Так как условия жизни на земле всегда меняются, а резкие изменения вызывают большую смертность, то естественно, что выжили лишь те, кто имел признаки независимости от этих перемен. Миллионами лет накоплена большая серия автономных реакций с соответствующими морфологическими приспособлениями. Теперь разберем сравнение с Мюнхгаузеном. Это значит, что сила в организме признается, но, очевидно, не может реализоваться в виде какого-либо «нового» признака. Но прежде всего я хотел бы, чтобы Слепков указал мне хоть бы один не новый признак. Все признаки всегда новые, если исходить из точных данных науки и если не смотреть на вещи с обывательско-метафизической точки зрения. В течение жизни индивидуума все признаки видоизменяются²⁾. Смерть индивидуума — смерть относительная (если после него остались дети). Дети начинают новый цикл возрастных изменений от кусочка тела родителей. Таким образом, тело смертно, но структура (все равно макро- или микроскопическая) бессмертна. У одноклеточных организмов наблюдается еще более ясное бессмертие — там тело родителя попросту разделяется на две «дочерние» клетки, начинающие снова цикл индивидуального роста³⁾. Бессмертие структуры мы никогда не должны забывать. При обывательском взгляде на вещи дети есть что-то новое, в действительности это продолжение прежнего непрерывного развития. При этом продолжении развития (уже в виде нового цикла возрастных изменений) прежние признаки не повторяются в неизменном виде. Сравните отца с сыном в одном и том же возрасте, например 5-летнего

¹⁾ Слепков, понятно, такого взгляда не разделяет, но он не оговаривается, что и материалисты, употребляющие термин «внутренние причины», также не разделяют подобного взгляда.

²⁾ И при том в определенном направлении, ибо развитие без направления есть, как сказано выше, абсурд; нельзя сказать «направленное развитие», потому что это будет тавтология.

³⁾ Впрочем, и здесь есть гомолог труппа—это те отходы, которые получаются при «омолаживании» ядра и клетки. Они выбрасываются из организма или бросаются им в виде оболочки, из которой выползает к новой жизни юная клетка.

сына с пятилетним же отцом, если, конечно, цела фотография отца в этом возрасте, и вы не найдете идеального сходства. У организмов, размножающихся без оплодотворения (партогенетически), констатирована не меньшая изменчивость, нежели у размножающихся с оплодотворением. Таким образом, признаки всегда новые. Они видоизменяются беспрерывно; признак—это процесс. Несомненно, что колебания внешней среды много повинны в образовании многих мелких варьаций, но говорить, что все они вызываются внешними условиями, значит говорить без основания. Не более, как заблуждением, является мнение, что признаки все же колеблются вокруг некоего срединного состояния, которое в таком случае и называется признаком расы, вида, рода и т. д. Практически мы так часто все их и квалифицируем, но при теоретических рассуждениях было бы не научным говорить о константности признака.

Тем-то и ценны явления ортогенеза, что они проливают много света на образование «новых» признаков. Я не случайно привел выше три примера ортогенеза у птиц (мухоловки, коршуна, сорокопута), где мы видели своеобразный рост во времени, образование «новых» признаков. Но вот здесь-то и терпит крушение обывательский, метафизический подход к явлению. «Новые» признаки оказываются попросту старыми, продолжающими свое развитие (в определенном направлении). Нужно ли для объяснения появления «новых» признаков привлекать извне какую-то силу? Или точку приложения для имеющихся сил? Если требовать извне силу, то это значит обнаружить непонятную непоследовательность: зачем нужна еще какая-то добавочная сила, если в организм и без нее все время притекает трансформированная энергия солнца и материал для роста. Совершается ли за счет этой энергии рост и не просто рост, но и трансформация всех признаков в течение индивидуальной жизни? Да, совершается. Что же еще нужно? Рост во времени, повидимому, есть лишь частный случай того же явления, как и рост индивидуальный. Только он в некоторых отношениях проще: рост индивидуальный миллионы раз упорядочен и налажен естественным отбором, а потому почти все признаки целесообразны, при ортогенезе же признаки возникают весьма различного значения—точь-в-точь, как и личные варьации—ясное указание, что никаких «целей» тут нет. Естественному отбору только еще предстоит работа по отысканию наиболее целесообразного направления. Рост во времени есть, таким образом, продолжение трансформации признаков отцов в линии их детей и внуков. Рост вообще, повидимому, есть следствие способности белка к ассимиляции. Что такое ассимиляция, мы знаем, но сказать, почему живое способно к ассимиляции, пока никто не может. Это дело будущего.

Все примеры автономического ортогенеза, приведенные мной в «Номогенезе», относятся к примерам роста во времени уже имеющихся налицо или в зачаточном состоянии старых признаков. К этому же явлению, вероятно, можно будет отнести удвоение, вообще увеличение числа рогов у различных животных. Представлять все это себе можно как очень медленное добавление новых стадий и сокращения эмбриональных стадий. Удвоение числа рогов, если судить по домашним животным, может происходить мутационно, т. е. скачком.

Мы выше видели, что признаки меняются в течение всей жизни. До сих пор, однако, мы представляли себе, что новая жизнь развивается из яйца точно такого же, какое было и яйцо родительского организма (для простоты представляем, что и отец, и мать генотипически одинаковы), снабженного одинаковыми и при том неизменными зачатками (генами) имеющихся развиться признаков. Явление ортогенеза заставляет изменить такое представление: новое яйцо не вполн. тождественно со старым. Оно делает шаг вперед, хотя бы и неизмеримо малый. Подобно тому, как в течение жизни

изменения идут непрерывно, так и зародышевая плазма детей не повторяет идеально родительскую зародышевую плазму.

Теперь скажем несколько слов о точке приложения сил—белковой молекуле. Она отличается от неживого вещества тем, что постоянно распадается и вновь создается. Это есть нечто постоянно изменяющееся. Вследствие своей громадной величины и сложности, белковая молекула может дать прямо-колоссальное число изомеров, что определяет возможность живому веществу изменяться самым различным образом. Лишь бы был приток извне необходимых материалов и энергии, и разнообразие перемены и движения этого вещества обеспечены. Но этого мало. Организм обычно представляет из себя сложную систему органов с различными отправлениями. Внутри его бурным ключом бьют самые различные химические реакции. Количество саморегулирующихся механизмов, приобретенное во время эволюции, громадно, что определяет весьма значительную автономность этой машины. Однако, в отличие от наших сложных машин, все части механизма животного или растения очень изменчивы, текучи. Вся машина должна рассматриваться как некий процесс, некое развитие. После этого спросим себя—может ли в нем произойти новое изменение в какой-либо реакции, свойстве, или состоянии, если энергия и материал все время притекают в него извне? Так как видоизменения старого, как выше мы видели, возможны, то можно думать, что и в этом нет ничего невозможного. Думается, что самый вопрос навеян «неизменяемостью» генов, в которую я, хоть убей, не могу верить. Конечно, здесь еще виновато наше незнание с физиологией. А незнание всегда кажется загадочным и полным чего-то таинственного. Вспомним, как народ встречал первые паровозы, первые трамваи, первые автомобили. Подозревали, что здесь не без «нечистой силы», так как не видно, чтобы была приложена сила извне: нет ни лошадей, ни весел, ничего, чтобы двигало, а машина все же двигается. О незнании нашем с микроструктурой организма приходится весьма сожалеть, но эмпирические данные во всяком случае не говорят против определяющего участия внутренних сил в образовании новых признаков, ранее не бывших даже в видоизмененном виде. Если эмпирических данных для решения вопроса недостаточно, то пусть теоретики вновь подумают над решением этого вопроса. Пусть они скажут, может ли в организме возникнуть что-либо новое, если внутренняя жизнь его не есть что-то застывшее, если это есть процесс развития; могут ли, поэтому, иметь место переходы количества в качество, может ли быть нарастание противоречий, что все влечет, как известно, за собой перемены? Сказать, подобно Слепкову, что двигающими силами являются только внешние, значит ничего не сказать, ибо остается груда фактов, необъяснимых внешними силами. А если присоединить, как он делает, к внешним силам и внутренние, то значит окончательно все запутать, и эту путаницу будто бы следует считать последним словом марксизма¹⁾.

Многое удивляет в мировоззрении Слепкова. На стр. 15 смысл изложенного так, что у читателя не остается сомнений, что Слепков сожалеет, «что и посейчас еще не удалось с полной достоверностью доказать, что наследственные изменения организмов порождаются внешними условиями. Опыты Каммерера, Гайера и Смита, Иоллоса, Тоуэра и других, в которых

¹⁾ Не мне, всю свою научную деятельность посвятившему изучению внешних факторов развития, ратоборствовать за «внутренние» факторы. Однако терминология в науке должна иметь жизненное значение. Нет смысла говорить, что данное изменение, скажем гигантизм слона, зависит от «внешних» факторов, если внешний толчок («сырка» Дарвина) быть может дан еще в предшествовавший геологический период. Наоборот, есть очевидный смысл исследовать деятельность гормонов этого животного и вообще внутреннюю физиологическую его жизнь. Только так мы и изучим явление, если внешних факторов не видно.

удавалось вызвать изменения влиянием внешней среды, — все эти опыты оспариваются? Тогда Слепков должен был бы громить этих авторов, упрекать их в телеологии, вообще протестовать против них, потому что эти авторы (кроме Гайера и Смита) установили, что имеет место развитие (1) или рост (2) признаков (3) во времени (4), т.-е. из поколения в поколение, в определенном (5) направлении (6) без (7) участия (8) естественного (9) отбора (10). Вместо отмеченных цифрами целых десяти слов я для краткости употребляю одно: ортогенез. Описанные мною ортогенетические ряды форм подвергаются Слепковым «разносу», доказываются, что изменчивость не имеет «одного» определенного направления, но чем же они отличаются от ортогенетических рядов Каммерера, Тоуэра, Иоллоса? Только тем, что свои ряды я взял из природной обстановки, а названные ученые получили их экспериментально. Слепков, быть может, не знает об этих экспериментах? Может быть, он неверно думает, что там не было ортогенеза, и наследственные¹⁾ изменения получились сразу, у одного только поколения? Но в таком случае он не имел никакого права в основу своей теории класть результаты действия внешних условий на одно только поколение, потому что при таких условиях в подавляющем большинстве случаев получаются лишь непрочные, непередающиеся потомству изменения. Так на каких же изменениях покоится теория отбора Слепкова? Ортогенеза нет, индивидуальные изменения, зависящие от внешних влияний, обычно не наследуемы, мутации от внешних условий обыкновенно не зависят, во всяком случае, это пока для подавляющего большинства мутаций не доказано, на комбинациях далеко не уедешь, и это прямо признает Слепков — тогда отбором чего же, каких изменений движется эволюция? Таких изменений не обнаруживается в теории Слепкова. Это показатель отрыва от фактов. Нельзя строить теории на одной «углубленной теоретизации». Положение сразу же ухудшается, если мы признаем мутации, ортогенетические изменения и комбинации, как «строеной лес» для естественного отбора.

Таким образом, мы видим, что некоторая теоретическая перестройка неodarвинистических воззрений, произведенная Слепковым, во-первых, не во всех частях согласуется с фактами, во-вторых, сохраняет все следы прежней схоластики. Признание «внутренних²⁾ причин» точно также ничуть не мешает признавать и внешние, решающие во многих случаях воздействия среды. А если говорить только «внешние условия», подразумевая при этом и внутренние, то это значит выбросить вон и слово «внутренний», и слово «внешний».

Теория Слепкова, желание признавать только «телеологию» при способлении, т.-е. развивать исключительно учение о естественном отборе, навевает самые грустные мысли. Мало того, что на эту тему уже много томов написано Дарвином, Уоллесом, Вейсманом, Плате, К. Тимирязевым и другими, надо еще и еще продолжать говорить то же самое и только то же самое. Все остальное пугает, как пугает старух автомобиль, когда они его впервые видят. Легко себе представить, как было бы двинуто эволюционное учение, если бы неodarвинизм не завел мысль эволюционистов в безнадежный тупик отбора «мелких полезных изменений». Сейчас ставятся новые рогаки: всякого, кто отступает от этих «мелких полезных», кто стремится разработать неразработанное, спешат схватить за шиворот, делая вид, что поймали телеолога, которых у нас много, много, да только все они тайные, прячущиеся за Дарвина. Не беда, что при такой поимке «на-

¹⁾ Пусть частично («длительные модификации») — этот вопрос в данном случае не имеет существенного значения.

²⁾ Вторично указываю, что вся жизнь на земле есть продукт внешних условий (взаимодействие солнца и земли) и слова «внутренние причины» уже давно понимаются материалистами условно.

правленный» приходится выдавать за «целенаправленный». Грустная картина! Отрадно лишь то, что подобные приемы встречаются все же не часто.

Я бы во всяком случае предпочел представлять себе иную картину. Положительно отдыхаешь на чтении таких представителей марксизма, как сам Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, Бухарин. Там никогда не встречаешь искажения чужих взглядов. Мало того, там нередко видишь вполне терпимое отношение к учениям даже идеалистов. Их учения не отвергаются сразу, а выправляются, перевертываются с головы на ноги. В эволюционном учении, как разработанном еще чрезвычайно мало, прием «перевертывания на ноги» очень необходимо и полезно применять вместо толчения воды в ступе. По поводу отбора нового ничего, как кажется, нельзя сказать, кроме разве того, что я упомянул выше (многообразие этого процесса, отбор среди биоценозов, фаун, внутриклеточный отбор). За последние четверть века к теории эволюции почти ничего не прибавлено эволюционистами неodarвинистического направления¹⁾. Но если неodarвинизм, не прибавив ни одной новой мысли к дарвинизму, а, наоборот, убавив многое из того, чем начал Дарвин, уже «духовно навеки почил», то по крайней мере мы должны отнять назад всю ту физиологическую сторону учения, о видообразовании, которую столь великодушно неodarвинисты отдали виталистам, дабы те нас этим оружием трепали при всяком столкновении. И я имею в виду приглашать объявлять борьбу кому бы то ни было. Эволюционистов слишком мало, чтобы позволить себе роскошь междоусобицы. Тем более, нет надобности вести войну, что неodarвинисты сами скоро убедятся, что их схемы есть тупик для эволюции. Как, например, они бы стали изучать физиологию образования новых расовых и видовых отличий (ортогенез), если само признание, что такие признаки образуются независимо от отбора, противно основному их принципу — все делает отбор?

Я еще позволю себе сказать несколько слов по поводу ложной боязни, будто разработка физиологии видообразования может «затереть» принцип борьбы за существование. Прежде всего а priori можно быть уверенным, что ни физиология механике не конкурент, ни обратно: у каждого своя сфера. Боязнь за теорию отбора ложная, так как изучение физиологической стороны дарвинизма в действительности лишь подводит под него более прочную базу. Сейчас, например, нам бросают упрек, что дарвинизм есть теория случайностей. Но этот упрек отпадет вместе с выяснением физиологических причин изменчивости. Со стороны физиологической надо почти буквально начать работу заново; пересмотреть не только всех авторов-материалистов, но и тех антидарвинистов, которые работали не специально затем, чтобы опорочить учение Дарвина. Антидарвинисты, не связанные никакими схемами, да еще столь узкими, как неodarвинистические, работали во всех направлениях. В работах Копэ (психолог-ламаркист) очень много ценных мыслей, еще не «поставленных на ноги». В работах Д. Н. Соболева говорится о чрезвычайно интересном факте — цикличности роста во времени. До сих пор никто из материалистов не занялся проверкой, пересмотром или, если это нужно, развитием этого положения, а представьте, что здесь найдется что-нибудь действительно новое! Совсем не лишне было бы изучить вопрос о вырождении видов. До сих пор говорили, что здесь «мистика», а какая же в самом деле мистика, если Абель установил недавно у пещерного медведя те же признаки вырождения, какие наблюдаются и у вырождающихся домашних животных (мелкие анатомические урод-

¹⁾ Много, правда, сделано в области генетики, но генетика и началась и продолжается в значительной мере независимо от того или иного направления в эволюции. Впрочем, и генетика для эволюционного учения дала поразительно мало (почка). И в нее внесено порядочно схоластики («независимость» генов).

ства, асимметрия, бульоговидные челюсти, общее ослабление организации). Интересен вопрос об атавизме в эволюции, о якобы имеющем место «предварении онтогенеза филогении». Очень интересен, но, сколько знаю, утилизирован пока лишь Бергом, вопрос о гомологических рядах Вавилова. Не интересует, повидимому, наших эволюционистов и чрезвычайно важный вопрос о симбиогенезе, развиваемый уважаемым Б. М. Козо-Полянским. Немало интересных не неodarвинистических мыслей мы находим и у других советских эволюционистов; например, много свежего у Талиева, у недавно умершего акад. Сушкина и др. Полнейшим застоєм было бы, если бы все новое, все свежее было отброшено во имя «телеологии» Слепкова. Не для нас ли будет позором, если наши идеологические враги будут идти впереди, а мы только будем плестись следом за ними, «ставить на ноги» только то, что уже никак нельзя бросить, брызгать злую слюну на каждую новую мысль, не мирящуюся с рутинными взглядами? Проще и короче говоря, нужно ли развитие эволюционного учения, или нам топтаться на одном месте? Я этот вопрос ставлю перед всей советской общественностью. Было бы желательно даже созвать по этому поводу специальную всесоюзную конференцию, где обсудить все волнующие эволюционистов вопросы. Дело не в отношении Слепкова к тому или иному эволюционисту. Я часто замечал на многих диспутах и докладах, что в аудиториях всегда раздаются возращения, если излагающий эволюционное учение отойдет от односторонних воззрений Уоллеса. Как будто материалистическое понимание эволюции заключается в одной только теории отбора. «Бойтся за дарвинизм только тот, кто его не знает и втайне не уважает», писал я в «Номогенезе» и этим же заканчиваю свою настоящую статью. Будет ли у нас дарвинизм дарвиновский, или «дарвинизм» Уоллеса, Вейсмана и К°?

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К. МАРКС. Ницета философии. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Библиотека Марксиста. Под редакцией Д. Рязанова. Выпуск XII—XIII. ГИЗ. 1928 г. Стр. 216.

«Ницета философии» была написана К. Марксом в 1846 г., в тот период его жизни, когда, гонимый правительством Гизо из Парижа, Маркс поселился в Брюсселе. Уже в «Святом семействе», направленном против своих бывших соратников, братьев Бауэров, и вышедшем в свет в 1845 г., Маркс, сводивший счеты со своей философской совестью, намечает основные вехи своего нового мирозерцания, исторического материализма. Но в ранних работах Маркса, предшествовавших «Ницете философии», важнейшие пункты его историко-материалистического мировоззрения, по удачному выражению Меринга, сверкали лишь отдельными искрами света. Лишь в «Ницете философии» Маркс на фоне убедительной и яркой полемики против Прудона впервые формулирует принципы материалистического понимания истории.

В одной из своих статей, посвященных Марксу, Энгельс указывает, что выработка метода, который лежит в основе марксовой критики политической экономии, является результатом, имеющим едва ли меньшее значение, чем основное материалистическое воззрение. Анализ «Ницеты философии» показывает, что уже к этому периоду Маркс выработал свой метод «научной диалектики», который был им противопоставлен диалектике Гегеля. Маркс подвергает, с одной стороны, беспощадной критике «диалектику» Прудона, формально заимствованную у Гегеля, которая у Прудона сводится к догматическому различению светлых и темных сторон в каждом явлении, но, с другой стороны, он раскрывает идеалистический характер спекулятивных построений Гегеля. О Прудоне Маркс говорит, что он гонится за «наукой», которая должна служить средством, путем априорных конструкций, разрешить «социальный вопрос». «Вместо того, чтобы черпать свои знания в критическом изучении исторического движения, которое само создает материальные условия социального освобождения» (стр. 22—23. «Карл Маркс о Прудоне». Курсив К. Маркса). По Прудону всякая экономическая категория имеет две стороны: хорошую и дурную. Взятые вместе эти две стороны составляют противоречие, свойственное каждой экономической категории. Социальные рецепты Прудона—сохранение хорошей стороны экономических категорий и устранение дурной. По Марксу, это непонимание сущности диалектического движения. «Существование двух взаимно-противоречащих сторон,—говорит Маркс,—их борьба и их слияние в одну новую категорию составляют сущность диалектического движения. Если вы ограничиваетесь лишь тем, что ставите себе задачу устранения дурной стороны, то вы разом кладете конец всему диалектическому движению» (стр. 108—109. Курсив наш. А. Р.). Но если Прудон не диалектик, то, по Марксу, он имеет то преимущество перед Гегелем, что он умеет ставить задачи, которые он и пытается решить во имя блага человечества. Гегель—диалектик. «У Гегеля нет задач. Он знает лишь диалектику» (стр. 108). «По мнению Гегеля,—говорит Маркс,—все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким

образом, философия истории оказывается лишь историей философии, и притом — его собственной философии. Нет более истории, «соответствующей порядку времени; существует лишь «последовательность идей в разуме». Он воображает, что строит мир посредством движения мысли; между тем как, в действительности, он лишь систематически перестраивает и располагает, согласно своему абсолютному методу, те мысли, которые находятся в головах у всех и у каждого» (стр. 105). Приведенная цитата чрезвычайно схожа со взглядом Энгельса на диалектику Гегеля, развитым им в «Анти-Дюринге», и с точкой зрения Маркса, приводимой им в предисловии к I тому «Капитала».

К. Каутский однажды удачно выразился, что в «Ницете философии» Маркс внес экономику, материализм в историю и историю в экономику (К. Каутский, «Ницета философии» и «Капитал»). Этот тезис чрезвычайно убедителен, если мы обратимся к тем местам «Ницеты философии», где Маркс формулирует принципы материалистического понимания истории и дает общую методологическую характеристику экономических категорий. Маркс говорит о взаимодействии общественных, производственных отношений с производительными силами, что движение последних причинно обуславливает социальные отношения. Мы позволим себе привести несколько цитат из Маркса, ибо проблема взаимодействия производительных сил и производственных отношений имеет актуальный интерес, в связи с нашими современными спорами о предмете и методе политической экономии, абстрактном труде и т. п. «Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, — они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом. Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно своему способу материального производства, создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям» (стр. 105—106). В другом месте мы читаем, что «из всех орудий производства наибольшую производительную силу представляет сам революционный класс» (стр. 164) и, наконец, в письме К. Маркса к П. В. Анненкову от 28 декабря 1846 г. мы встречаем в основном те же идеи о диалектике производительных сил и производственных отношений, которые позже были развиты в предисловии к «Критике». Однако, если Маркс в «Ницете философии» говорит о тесной связи производственных отношений с производительными силами, то он в то же время подчеркивает реальное различие этих противоположных сторон общественного процесса производства, то реальное различие, которое Марксом с особым ударением было высказано позже в «К критике политической экономии»: «5. Диалектика понятий; производительные силы (средства производства) и производственные отношения, диалектика, границы которой подлежат определению и которая не уничтожает реального различия» (К. Маркс, «К критике...»). В «Ницете философии» мы, напр., читаем: «Машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащут плуг. Это производительные силы — не более. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория» (стр. 127—128). Обнаружившееся в происходящей в настоящее время дискуссии по вопросу о предмете политической экономии смещение двух сторон общественного процесса производства, его материально-технической стороны и социальной его стороны, находится, как видно из изложенного, в противоречии со взглядами Маркса, развитыми им еще в «Ницете философии». Кстати отметить, что в письме к редактору от 1865 г. Маркс отмечает, что «на вопрос «о современной буржуазной собственности» ответ может быть найден лишь в критическом анализе «политической экономии», охватывающей всю совокупность имущественных отношений, не в юридическом их выражении, не в качестве соотношений воли личности, а в их реальной форме.

т. е. в качестве производственных отношений» («Карл Маркс о Пруссии», стр. 20). Как видит читатель, Маркс отнюдь не включает в объект политической экономии «производительные силы», как это полагают некоторые современные «сверх-марксисты»...

Маркс в «Ницете философии» ставит вопрос о связи между развитием способа производства и борьбой классов, ибо история общества есть борьба классов, ибо «общество — это основанное на антагонизме классов общественные отношения» (стр. 97). Действительная обыкновенная история людей должна изображать их одновременно, как авторов и актеров исторической драмы (стр. 111), «до настоящего времени производительные силы развивались благодаря господству антагонизма классов (стр. 60), и удивительно ли поэтому, что «общество, основанное на противоположности классов, приходит как к последней развязке, к грубому противоречию, к физическому столкновению людей» (стр. 165). В бесклассовом обществе «социальные эволюции перестанут быть политическими революциями» (стр. 165).

В тесной связи с развитыми в «Ницете философии» принципами материалистического понимания истории находятся и те положения методологического характера, которые кладутся Марксом в основу политической экономии. Одним из основных методологических принципов марксовой политической экономии, наиболее развитым в «Введении...», является примат производства над обменом, распределением и потреблением. Но уже в «Ницете философии» мы встречаем с отчетливой его формулировкой, правда, не в столь разработанной диалектической форме, как в «Введении...». Способ обмена продуктов, — говорит Маркс, — определяется определенному способу производства, который в свою очередь соответствует антагонизму классов. Поэтому без антагонизма классов не может быть и индивидуального обмена» (стр. 76). О примате производства над потреблением мы читаем: «На чем основана вся система потребностей — на мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности вытекают из производства; или из порядка вещей, основанного на производстве» (стр. 42).

В «Ницете философии» мы имеем также характерный для марксовой системы взгляд на категории, как на социально-исторические образования. «Экономические категории, — по Марксу, — представляют собою лишь теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства» (стр. 105). Эту общую формулировку Маркс последовательно проводит по отношению к целому ряду категорий. «...Определение стоимости рабочим временем... есть не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества» (стр. 67). «Деньги не вещь, а общественные отношения» (стр. 78). «Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория» (стр. 128). «Рента есть результат общественных отношений, при которых совершается обработка... Рента обязана своим происхождением не земле, а обществу» (стр. 156). Таким образом Маркс в «Ницете философии» видит под вещью общественное производственное отношение, и, следовательно, уже в «Ницете философии» мы имеем целый ряд существенных элементов товарного фетишизма. Однако, если Маркс уже в «Ницете философии» дал правильную общую теорию категорий, то этого отнюдь нельзя сказать про его трактовку отдельных категорий политической экономии. Так, напр., между теорией стоимости «Ницеты философии» и «Капитала» мы имеем не только терминологические различия, но и различия по существу. Еще в более рельефной форме это выступает в трактовке категории денег.

Однако, если в анализе отдельных категорий в «Ницете философии» мы встречаем некоторые погрешности, которые ему впоследствии пришлось преодолеть, то в анализе истории капитализма Маркс в «Капитале» по существу развернул ту схему, которая была в сжатой форме намечена в «Ницете фило-

софии». В «Ницете философии» Маркс впервые намечает вехи последовательных фаз развития капитализма от периода первоначального накопления капитала до крупной машинной индустрии. Будущему исследователю эволюции взглядов Маркса придется встретиться с любопытным явлением, что в творческой лаборатории создателя «Капитала» впервые созрели методологические принципы, необходимые для изучения капитализма, и историческая последовательность фаз этой формации.

В «Ницете философии» Маркс впервые ставит рабочее движение в связь с развитием капитализма. Взглядам Прудона, который отрицательно относился к профессиональным союзам, во избежание давления фабрикантов, подчиняющихся независимому от их воли и сознания колебанию мировых рыночных цен, Маркс противопоставляет свой взгляд на коалиции. «...Вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту не переставали идти вперед и увеличиваться вместе с развитием и ростом современной промышленности. Можно даже сказать в настоящее время, что степень развития коалиции в данной стране с точностью указывает место, занимаемое ею в иерархии мирового рынка» (стр. 162).

В «Ницете философии» Маркс впервые показывает, как профессиональное движение рабочих перерастает в политическую борьбу пролетариата, осознавшего себя как класс для себя. «Экономические условия сперва превратили массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковые положения и общие интересы. Таким образом, по отношению к капиталу, масса является уже классом, но сама для себя она еще не класс. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазисах, сплоченная масса конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба между классами есть борьба политическая» (стр. 164).

«Ницета философии» принадлежит к числу наименее читаемых работ К. Маркса. Это объясняется отчасти полемическим характером этого произведения, который предъявляет к читателю требование знания системы Прудона. Между тем значительная часть «Ницеты философии» не потеряла своего значения и по сей день, не говоря уже о ее значении для понимания эволюции взглядов К. Маркса. Институту К. Маркса и Ф. Энгельса следует позаботиться о скорейшем издании «Système de Contradictions économiques ou Philosophie de la misère» Прудона и тем самым предоставить возможность русскому читателю лучше охватить богатство идей «Ницеты философии».

В старый перевод В. Засулич, отредактированный Г. Плехановым (перевод этот был сделан с немецкого издания; в настоящем издании перевод проверен по французскому подлиннику) в настоящем издании внесены значительные исправления. В особых примечаниях внизу текста отмечены расхождения текстов различных изданий «Ницеты философии». Перевод отредактирован Д. Рязановым и И. Рубиным, снабжен предисловием Д. Рязанова. Книга издана с той научной добросовестностью, которая вообще отличает издания Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

А. Реузь

ВЕРНЕР ЗОМБАРТ. Современный капитализм, т. III, ч. 1. Москва 1929 г.

Вернер Зомбарт—один из крупнейших буржуазных экономистов, в свое время известный как интерпретатор и популяризатор Маркса. Влияние марковского научного метода, исключительная эрудиция и блестящий популяризаторский талант придают большую ценность его трехтомному исследованию—«Современный капитализм». Конечно, «марксизм» Зомбарта, приведенный им в «научный вид», т. е. трансформированный в реформистский эволюционизм, весьма походил на русский «легальный марксизм». В настоящее время Зомбарт—«буржуазный Маркс», бывший эволюционист и салонный социалист—скатился к беспринципному эклектизму в методологии и оголтелому фашизму в политике. Обе части 3-го тома «Современного капитализма» изданы в 1926 и 1927 гг. несколько лет спустя после окончательного утверждения автора «Современного капитализма» в рядах воинствующего фашизма. В них «старый» Зомбарт тесно переплетается с новым Зомбартом, Зомбартом-фашистом. Последний пытается обосновать свою эволюцию, не порывая научно-преемственной связи с Марксом. «Все, что есть хорошего в работе,—говорит Зомбарт,—я позаимствовал у Маркса, но,—продолжает Зомбарт,—при всей своей гениальной установке Маркс исследовал капитализм в ту пору, когда нельзя было сказать, что именно из него выйдет, а можно было лишь определить дальнейший ход развития по своему усмотрению. Невыяснившаяся еще сущность капитализма позволила приписывать ему роль исполнителя тех желаний, которыми был преисполнен сам Маркс», ст. XVI.

Пронсидевшие за 50 лет фактические изменения не дают, по мнению Зомбарта, основания верить в творческую силу капитализма, неспособного породить ничего, имеющего культурное значение. Поэтому, не веря в творческую силу капитализма, надо искать спасения не в том, что с неизбежностью исходит из него, а в уходе от него. «Их глаза (классиков, Маркса) были устремлены в будущее, наши—глядят в прошлое».

Великий мастер парадокса, Зомбарт обосновывает им свою эволюцию от марксизма к фашизму прусского образца, к апологетике агрария-юнкера. Попытке восхитительное salto-moltale—связать теоретическую зависимость от Маркса с апологетикой аграрно-феодалных слоев.

В настоящей книге Зомбарт рассматривает эпоху «развитого капитализма», охватывающую промежуток в 150 лет. В «момент войны век развитого капитализма пришел к концу». Зомбарт перечисляет признаки старческого одряхления капитализма, имевшиеся уже в 1914 году. В определении угасающего капитализма проявляется полностью Зомбарт с его сочетанием элементов марксизма и психологизма, бесспорно верных теоретических положений с блестящими, но поверхностными парадоксами. На ряду с такими бесспорными признаками одряхления капитализма, как «меньшая напряженность хозяйственной жизни», «прекращение скачкообразных колебаний в ходе развития», «замена свободной конкуренции принципом соглашения» (т. е. капиталистической монополии),—встречается малопонятный парадокс об «осуществлении чисто-натуралистических форм жизни, отличающих капитализм». Наконец, мысль о «развенчании инстинкта стяжания как единственного определяющего мотива хозяйственного поведения» и о «конституционном строе предприятий» роднит фашиствующего профессора с социал-демократическими трубадурами «хозяйственной демократии». Здесь проявляется «старый» Зомбарт, один из крестных отцов реформизма.

В трактовке капитализма, как единичного явления, как «исторического индивидуума», несравнимого с другими хозяйственными эпохами, проявляется влияние Риккертса с его трактовкой исторического, как эмпирически индивидуального, ни с чем не сравнимого единичного факта.

Влияние фрейбургской школы с ее гносеологическим телеологизмом на Зомбарта сказывается также в постановке им основной проблемы, стоящей перед исследователем хозяйственной жизни. Зомбарт видит ее в следующем: «Насколько и

почему формы хозяйственной жизни приближаются к идее (курсив мой. И. Ш.) развития капитализма. Ибо, ведь, действительность и идея сама по себе не имеют ничего общего друг с другом и во всяком случае не стоят в причинной связи» (стр. XXI). Здесь явственно проявляется влияние Макса Вебера с его «идеальными типами». Освобожденный от марксизма 3-й том причудливо соединяет: бессознательно проводимый материализм Маркса, неокантианский телеологизм, преподносимый в лошадиных дозах психологизм и, наконец, обилие смелых парадоксов.

Движущими силами развитого капитализма являются по Зомбарту только предприниматели - капиталисты, «единственная созидательно творческая сила». Но, — как указывает дальше Зомбарт, — к чему бы ни стремился предприниматель, какой бы целью он ни руководствовался в своей субъективной деятельности, он всегда, в силу того, что он капиталистический предприниматель, должен желать процветания капиталистического предприятия, а значит, желать получения прибыли. Это развенчание субъективных целей капиталистического предприятия я назвал об'ективацией стремления к прибыли» (стр. 38).

Здесь проф. Зомбарт дополняет и по существу исправляет... профессора Зомбарта: «движущая сила развитого капитализма» не суверенна, но подчинена некоей, стоящей над ней силой — «об'ективации стремления к прибыли», составляющей смысл и цель капиталистического хозяйства, направляющей действия предпринимателей. Анализируя «движущие силы» капитализма, Зомбарт набрасывает в I и II главах ряд интересных штрихов, обрисовывающих современного капиталистического предпринимателя. Интересна также зарисовка Зомбартом психологии капиталистической эпохи — капиталистического духа — «странной смеси страстного стремления к бесконечности и холодного рационального расчета». Конечно, причины развития «капиталистического духа» Зомбарт находит и в экономике, и в правовом перемещении центра тяжести капитализма, и в перестроенном мироощущении новых людей и т. д. Откуда в общем возникает «капиталистический дух», Зомбарт не выясняет. Бесплодность его эклектизма здесь особенно проявляется.

В небольшой главе о государстве Зомбарт верно отмечает его роль, указывая, что управление государством неизбежно должно принадлежать «представителям наиболее мощных групп интересов».

Довольно ценны подробные указания на конкретное действие либеральной политики и законодательства на развитие капитализма.

В этой же главе Зомбарт дает критику марксистской теории империализма, как фазы высоко-развитого капитализма. Свои возражения Зомбарт основывает не тем, что ни Россия, ни Япония, ни даже Англия не являлись странами господства картелей и финансового капитала. Наоборот, Швейцария, зная эти явления, не знала империализма.

Марксизм, по мнению Зомбарта, односторонен в объяснении империализма только классовыми интересами, только экономическими мотивами. «Капитализм несомненно имеет крупнейшее значение для развития современного империализма, но не потому, чтобы он был единственной причиной этого явления, а потому, что он в самом широком объеме определял форму, в которую вылился империализм» (стр. 71).

Зомбарт перечисляет ряд причин империализма: политические, военные (машина милитаризма автоматически движется все дальше и дальше» (1)), национальные (паниславиизм, панславизм и пр. пан-измы, за исключением, отрицательного Зомбартом пангерманизма), религиозные (стремления России к Константинополю (2)), популяционистские, куда Зомбарт относит всевозможнейшие мотивы, иногда довольно курьезного характера, как, например, стремление Франция пополнив недостаток населения при помощи негров и, «наконец, и, несомненно, не на последнем месте, капиталистические побуждения» (стр. 72).

Обывательски-поверхностные рассуждения Зомбарта о некапиталистических мотивах империализма, об автоматическом движении милитаристической машины и религиозной подоплеке русского империализма лишний раз подтверждают слова автора, что все, что ни есть хорошего у него — это от Маркса. Всякий раз, стремясь противопоставить что-либо Марксу, Зомбарт неизбежно скатывается к эклектизму и парадоксальности.

Весьма ценны блестяще изложенные и богатые фактическим материалом главы о развитии техники. В этих художественных по мастерскому описанию очерках Зомбарт вскрывает об'ективную предпосылку появления в свет всех технических изобретений — стремление к увеличению прибыли.

Во второй части Зомбарт занимается исследованием капитала. Он дает чисто-тавтологическое определение капитала. «Капиталом я называю ту сумму меновой ценности, которая служит капиталистическому предприятию в качестве его реальной основы» (стр. 133). Это ничего не объясняет определение Зомбарт относит к единичному капиталу. Общественный капитал существует для него только как сумма единичных капиталов. Ничего не объясняет также следующее выражение: «капитал есть функциональное понятие: оно выражает отношение суммы меновой ценности к определенному целевому комплексу».

Автор не указывает, что это за «целевой комплекс», предоставляя найти его в своих дальнейших рассуждениях. Поскольку «смысл и цель капиталистического производства заключается в получении прибыли», нетрудно понять, что капиталом по Зомбарту является сумма меновой ценности, предназначенная для извлечения прибыли. Именно прибыли, а не прибавочной стоимости. Зомбарт называет прибавочной стоимостью прирост капитала, исчисленный по отношению к совокупному общественному капиталу, и прибылью, если он исчислен по отношению к индивидуальному капиталу. Проводя такое различие, Зомбарт ничем его не мотивирует. Не объясняет он также, зачем исчислять прибыль на весь общественный капитал, поскольку последний для него, как экономическая категория, не существует. Ведь по Зомбарту же понятие капитала применимо только к индивидуальному хозяйству. Совокупный общественный капитал для Зомбарта не конкретное единство, а только сумма единичных капиталов.

Еще более плачевно обстоит у Зомбарта дело с объяснением происхождения прибавочной стоимости. Он, конечно, не признает источником прибавочной стоимости неоплаченный труд. «Утверждать, что класс наемных рабочих получает меньше произведенной им стоимости — значит утверждать бессмыслицу. Такой, подающейся выделению, суммы не существует. Все старания отнести определенную долю дохода на счет отдельных, участвующих в ней, факторов являются принципиально неправильными. Они вызываются апологетическими намерениями, а не место в научных трактатах» (стр. 145).

Каково же зомбаровское «неапологетическое» объяснение прибавочной стоимости? Совершенно правильно предполагая, что «предпосылка прибавочной стоимости та же, что всего капитализма, он указывает следующие причины образования прибавочной стоимости: производительность труда, позволяющая выделить часть дохода в пользу лиц, не занятых техническим трудом, разделение населения на обладателей капитала и живущих своим трудом рабочих и реализации прибавочной стоимости на рынке.

Таки образом, «прибавочная стоимость оказывается без всякой натяжки выражением экономического соотношения сил между классом наемных рабочих и классом капиталистов при свободно совершающемся обороте» (стр. 146). Но эта бесспорная истина отнюдь не противоречит «апологетической» трактовке прибавочной стоимости, как продукта исключительно труда. Еще меньше опровергают эту «апологетику» дальнейшие рассуждения Зомбарта, совершенно опрокидывающие его первоначальное положение. Признавая бесспорной истиной, что все производимые блага создаются исключительно человеческим трудом, Зомбарт сводит

продукцию труда исключительно к сумме зарплаты и прибавочной стоимости. Последняя определяется соотношением долей рабочих и капиталистов в продукте совокупного общественного труда. Противопоставляя марксовую теорию концепцию Адама Смита, сводившего с. к сумме $v + m$, Зомбарт все же не может доказать участие прочих «факторов хозяйства» — предпринимателей и капитала — в образовании прибавочной стоимости. «Старая проторенная дорога трудовой стоимости», признаваемая Зомбартом наиболее «удобнопроходимой», не может привести его к искомому доказательству.

Зомбарт дает ряд классификаций капитала, деля его на вещный и денежный, личный и реальный капиталы вместо марксистского деления на постоянный и переменный. Такая упрощенно-вулгаризованная классификация смазывает по существу ряд основных проблем капиталистического воспроизводства (проблема кругооборота капитала, проблема источника прибавочной стоимости и т. д.). Вулгарные конструкции Зомбарта продиктованы не только авторским тщеславием и стремлением обязательно эмансипироваться от марксовской классификации и терминологии.

Не выдерживает критики и разделение капитала «на актуальный и потенциальный, различаемые в зависимости от стадии развития образования капитала» (стр. 138).

Кредит Зомбарт определяет как «покупательную способность без обладания деньгами» и «самым существенным свойством его» считает «сочетание объективного момента (расхождение во времени доставления благ и соответствующей отдачи благ) и субъективным моментом (ожидание и уверенность, что в будущем последует отдача)» (стр. 182). Здесь, как видим, дается поверхностно-обывательское определение кредита, данное на основании одних внешних признаков и совершенно не затрагивающее социальной сущности его. Интересны приводимые Зомбартом фактические данные об историческом развитии кредита и о кредитном хозяйстве в цифрах.

Говоря о значении кредита для капиталистического хозяйства, Зомбарт совершенно игнорирует влияние банков на промышленность. Проблема финансового капитала им абсолютно не затронута.

Большой интерес представляют описательные главы — «Развитие продукции» и «Мобилизация благ», иллюстрирующие рост капитализма, колоссальное расширение его производственных возможностей.

Второй раздел книги посвящен исследованию проблемы рабочей силы. Зомбарт ставит вопрос о происхождении последней, «откуда берется рабочая сила, необходимая капитализму, чтобы превратить ценности, притекающие к нему в вещный капитал» (стр. 143), — правильно отмечая связь этой проблемы с проблемой народонаселения.

Зомбарт видит заслугу Маркса в раскрытии и подчеркивании им исторического содержания «закона населения», но считает, что он «запутался при формулировании закона населения для периода развитого капитализма» (стр. 397).

Признавая наличие промышленной резервной армии, Зомбарт считает тем не менее «поистине чудовищной мысль выводить средний рост пролетариата из тех же причин, которые ведут к образованию промышленной резервной армии» (стр. 329). Этой «чудовищной» мысли он противопоставляет свою «социологическую теорию» народонаселения, о которой сам же метко говорит, что она, возможно, не является «ни теорией вообще, ни социологической теорией в частности». По этой «теории» движение населения обуславливается действием трех причинных рядов: биологически-технологического, психологического, социологического. Среди условий последнего ряда преобладают, конечно, экономические отношения. Зомбарт указывает, что «биологически-технологическая и психологическая точка зрения сводится к единству лишь в социологическом освещении». Значит ли это, что социологические и экономические условия определяют прочее. — Зомбарт не говорит. Как бы ни комментировал Зомбарт свою социологию,

ческую теорию, его описание процесса соиздания рабочей силы развивающимся капитализмом меньше всего подтверждает ее. Описательные главы этого раздела всецело проникнуты историческим материализмом, отвергаемым автором.

«Грехи молодости» Зомбарта не впервые играют с ним скверную шутку, неоднократно заставляя его итти за Марксом. Богатые колоссальным описательным материалом 21 — 27 главы всецело подтверждают марксову теорию населения, учение о промышленной резервной армии и т. д., являясь весьма ценным вкладом в экономическую литературу.

Там же, где Зомбарт пытается дать какие-либо самостоятельные теоретические положения, он впадает в путаные рассуждения о «цене труда» и «цене рабочей силы» или плоские афоризмы, что «цена рабочей силы складывается под влиянием общего закона ценообразования, — закона спроса и предложения».

Убогость зомбартовской теории заработной платы оказала влияние и на описательную часть 27-й главы — «Экономическое приспособление». Игнорируется ряд факторов, воздействующих на уровень заработной платы, как, например, роль профсоюзов. Но указанные Зомбартом моменты, как женский и детский труд, использование труда рабочих отсталых национальностей, обрисованы им очень ярко.

На влиянии конъюнктурных колебаний на заработную плату Зомбарт останавливается вскользь, не используя никакого конкретного материала. Вообще 27-я глава, рассматривающая проблему заработной платы, наименее разработана в сравнении с прочими главами раздела «Рабочая сила». Наиболее интересны в ней данные о движении прибыли и зарплат, отнюдь не говорящие о смягчении классовых противоречий капиталистического общества.

Наиболее слаба в книге 28-я глава, где Зомбарт критикует марксову теорию противоречия между расширяющимся производством и суживающимся потреблением, как основанную на «непостижимом ослеплении». Не создавая ничего нового и оригинального в теории воспроизводства, Зомбарт извлекает из архива пошлости старого Ся. Такого рода «критика» довольно зазорна даже и для буржуазного профессора.

Описательные главы этого отдела, рассматривающие внешний и внутренний рынок капитализма, также довольно слабы, не выдерживая никакого сравнения с описанием технического прогресса или возникновения пролетариата. Фактический материал использован очень скудно. Это, несомненно, обуславливается попыткой Зомбарта уложить факты в прокрустово ложе весьма недоброкачественных выводов, в роде: «растущий спрос на средства потребления есть самый большой основной спрос» или «покупательная сила рабочего класса возрастает в той же пропорции, как и капиталистическая продукция».

Зомбарт видит достоинство своей книги в том, что теоретическая и описательная часть исследований проблем в ней переплетаются, но не смешиваются. Смешение этих способов рассмотрения понижает, по мнению Зомбарта, научную ценность «Капитала» Маркса. Упрек Зомбарта не имеет сколько-нибудь серьезного основания, поскольку это «смешение» у Маркса есть не что иное, как освещение конкретно-исторического материала при помощи теоретического анализа. Этого метода *volens-polens* придерживается и автор «Современного капитализма».

Настоящая книга вдвойне полезна: исследование Зомбартом конкретно-исторического материала представляет исключительно ценный вклад в экономическую науку, с другой стороны, позорный теоретический провал Зомбарта, скатывающегося в болото эклектики и жонглирования парадоксами, наглядно показывает, куда приводит крупнейшего представителя буржуазной науки, «буржуазного Маркса», стремление к эмансипации от марксизма, его попытка научной защиты капитализма.

И. Штерн.

ПУГАЧЕВЩИНА, том второй из следственных материалов и официальной переписки. Подготовлен к печати С. А. Голубцовым под общей редакцией М. Н. Покровского. Центрархив. Материалы по истории революционного движения в России XVII и XVIII вв. Стр. XVII + 494. Ц. 5 р. ГИЗ. 1929 г.

Историей крестьянского движения у нас, к сожалению, занимаются очень мало. Материалы по разноречивости еще не затронуты рукой исследователя марксиста, данные же о пугачевщине опубликовываются крайне медленно: первый том рецензируемых материалов вышел в 1926 г., второй в 1929 г. и нет никаких видов на то, что скоро выйдет обещанный третий том.

Отмечая большую кропотливую работу С. А. Голубцова, мы не можем не обратить внимания на некоторые его своеобразные приемы, значительно обесценивающие второй том. Рецензируемую работу следует рассматривать не как хрестоматию, а как сборник материалов, заменяющий и архив и являющийся печатным первоисточником. Между тем, значительная часть работы Голубцова разочаровывает: показание многочисленных рядовых участников движения он печатает с безукоризненной полнотой, а допросы вождей, ближайших товарищей Пугачева, Шигаева, Почиталина, Горшкова, Ульянова и пр., помещены с большими сокращениями и пропуском. Составитель выбросил все основное показание Шигаева, главного судьи Пугачева, поместив лишь часть показания И. В. Почиталина, члена и «думного дьяка» военной коллегии, опустил начало показаний Горшкова, секретаря военной коллегии, урезал ту часть его показаний, где он сообщает подробности о технике делопроизводства и судопроизводства у повстанцев, бесцеремонно выбрасывает половину показаний Харчева, «который у самозванца был определен для раздачи злодейской его сволочи провианта», сокращает конец показаний сестры жены Пугачева и т. д. В то же время он полностью печатает такие экстракты, которые не представляют интереса. Благодаря таким «научным» приемам, читатель не получит полного представления о движении, так как ценнейшие материалы урезаны. То же самое относится к дополнениям. Вместо того, чтобы неоднократно печатать однотипные показания, не дающие ничего нового, надо было расширить отдел «дополнений», но в другом виде. Документ «в дополнениях» даются в форме пересказа. Благодаря этому, их публикация теряет всякий смысл: научная работа требует подлинника.

В отделе «Из материалов о происхождении пугачевщины» мы находим яркие документы, рисующие инациональную политику правительства и положение рабочих, которые (документы), однако, не дают исчерпывающего представления о предпосылках движения. В таком случае было бы целесообразнее за счет всего этого отдела расширить главы о роли различных социальных групп в восстании.

Глава «О состоянии урожая 1772—1774 гг.» дает новые данные, позволяющие глубже поставить вопрос о причинах поражения восстания. Население в пищу употребляло хлеб «смешанной с макиной, с лебедой и з жемудками, а скот довольствуют мелким кустарником». Во многих местах и такого хлеба не было. Нормировочные цены правительства не достигали цели. Помещики пользовались создавшимся положением, взвинчивали цены на хлеб и сливали винокурение. В московском Лефортовском архиве имеется не мало ценных документов, подтверждающих рост винокурения в голодные годы, которое покровительствовалось правительством. Эта сторона правительственной политики не получила полного освещения в этих материалах. Однако опубликованные материалы ценны тем, что показывают, как бескормье и продовольственный кризис подрывали силы восставших.

Показания близких соратников Пугачева представляют большой интерес. Почиталин, дьяк военной коллегии, показал, что «Пугачев лучше всех знал правую, как в порядке артиллерию содержать», что «орудия большей частью наводил сам самозванец». Следует отметить, что Пугачев боролся с мародерством, «грабительства безвинных людей он не любил, а потому многих, в том приличившихся, вешал без пощады». Это показание расходит с показанием Белобородова, рабочего и торговца, начальника крупного отряда, который был наказан Пугаче-

вым за то, что он осмелился преследовать мародерство одного из ближайших соратников военной коллегии. Секретарь военной коллегии Горшков показал, что Пугачев и военная коллегия разбирали жалобы населения. Во время разбора этих дел «письменных судов не производилось». Письменные приказания давались только по служебной линии «полковникам, старшинам и другим частным командирам о покорении к нему народа, о доставлении из всех мест в главный стан провианта и фуража, о разграблении господских пожитков, об отобрании в крепостях на за заводах пушек и пороху и о присылке оного в Берду (столицу пугачевцев), о слущении самозванца на престол».

Гораздо интереснее та часть показаний Почиталина о том, что «писал один раз и сам Пугачев письмо, на каком языке—я не знаю, только слышал от Пугачева, что на иностранном языке». Это показание коренным образом расходится с теми сведениями, что Пугачев не умел писать. В честь Пугачева яички казаки пели песню, ими «нарочно составленную», а писарь «наигрывал на скрипце». В это время казаки «напивались до пьяна», но Пугачев «от излишнего питья воздерживался и употреблял его редко».

Зарубин-Чика, игравший в восстании большую роль, передает, что, захватив Москву и наведя порядок («сучредив все порядочно»), Пугачев «пойдет воевать в иные государства». Однако, из показаний других помощников Пугачева не видно, что он пытался вступить в сношения с другими государствами, но с точки зрения таких показаний нельзя объяснить, куда и с какой целью военной коллегией рассылались прокламации на немецком языке. Может быть, они направлялись только немецким колонистам.

Программа пугачевцев четко изложена мценским купцом Трофимовым: «Когда всех можно будет перевести помещиков, тогда будет вам волюшка и избавит от крестьянства, подушных и прочих податей, рекрутского набора, продаж вина и соли не будет». На деле пугачевцы не везде уничтожали налоги, они их только уменьшали и обращали в пользу революционной армии.

Пугачевцы, сколыхнув сотни тысяч массы, пользовались огромным успехом, однако были разбиты. Из Казани Пугачев повернул на юг. а не на Нижний-Новгород и Москву. Пугачев, по мнению Голубцова, не пошел на Нижний, потому что, «лишившись под Казанью башкир и своих сообщников с заводов, утратив связь с Приуральем, отрезанный от хлебного Вятско-Камского района, Пугачев вряд ли мог принять решение углубиться во внутренние русские губернии, которым явно грозил голод, скорее он должен был подумать в первую очередь о создании себе новой стратегической базы. Не спроста его намерения устремились в сторону Дона и родного казачества».

Причина поражения пугачевщины лежит глубже: ее следует искать не в тактических промахах, а в социальной природе крестьянских восстаний. Тактические промахи, указываемые Голубцовым, присущи всем крестьянским восстаниям. Беда в том, что, как указано Марксом и Лениным, мужицкий крестинизм, локальная ограниченность—органический порок мелких распыленных товаропроизводителей. Восстания XVII и XVIII вв. России всегда происходили на окраинах, т. е. там, где крестьянские массы были меньше всего угнетены, где они только закрепощались. Восстание Болотникова (начало XVII в.), Хмельницкого (30—40-е гг. XVII в.), Разина (конец XVII в.), Пугачева (конец XVIII в.) происходили только там, где крестьянин из свободного или полусвободного превращался в крепостного. Уже закрепощенное крестьянство никогда не было в состоянии подниматься большими массами. Это обстоятельство еще больше подчеркивает беспомощность самого крестьянства, если в своей борьбе оно не в состоянии опереться на другие социальные слои. Крестьянские массы в своем движении опирались на казачество, или мелкую городскую буржуазию, или на горнорабочих. Когда изменился социальный состав казачества и мелкая буржуазия городов потеряла свое значение в эпоху крепостного хозяйства, крестьянское движение осталось без опоры до выступления пролетариата.

Рецензируемый сборник дает много ценного материала для изучения идеологии крестьянского движения. В пугачевщине широко крестьянские массы выступали от имени Петра третьего. Весьма ценно указание М. Н. Покровского, что крестьянский монархизм имел революционный характер, но однако это указание еще не дает ключа к пониманию причин такой «монархической» идеологии. Этот вопрос требует специального изучения. Материалы сборника также полно освещают тактику инонационалов, которые выступали не только против правительственных войск, но и против восставшего русского населения.

В заключение следует указать, что С. Голубцовым добросовестно составлены примечания и указатель личных имен и географических названий.

С. Томсинский.

FRITZ CHRISTMANN. Biologische Kausalität. Eine Untersuchung zur Ueberwindung des Gegensatzes Mechanismus-Vitalismus. Verlag von I. C. V. Mohr, Tübingen 1928. S. 111 (ФРИЦ КРИСТМАН. Биологическая причинность. Исследование по вопросу о преодолении противоположности механизма и витализма. Тюбинген 1928. 111 стр.).

Вопрос о преодолении односторонности «витализма» и «механизма» с некоторых пор стал весьма оживленно обсуждаться в немецкой литературе как отдельными специалистами биологами, так и философами, интересующимися методологическими проблемами современного естествознания.

Поскольку попытки преодоления виталистической и механистической точек зрения строятся на признании качественных особенностей биологических явлений (что отрицается или игнорируется механистами) и, вместе с тем, на отрицании метафизических жизненных сил, «психондов» и «энтелехий» виталистов — нельзя не признать (как это уже отмечалось в нашей литературе) их положительного значения, нельзя не обнаружить в них элементов «стихийной диалектики» современного естествознания.

Правда, подойти стихийно вплотную к правильному решению вопроса о своеобразии биологических явлений, современная буржуазная биология оказывается не в состоянии последовательно и до конца разрешить этот вопрос: отставая, с одной стороны, идею о качественном своеобразии жизненных явлений и борясь, с другой стороны, против витализма, — сторонники интересующего нас направления все же находят в «качестве» нечто «иррациональное», «непознаваемое» и отсюда попадают в область метафизики и веры.

Но нас эта беспомощность буржуазных естествоиспытателей не может удивить: как представители господствующего в капиталистическом обществе класса, они не в состоянии стать на последовательно-диалектическую точку зрения и остаются всегда в плену феноменализма, ограниченного эмпиризма.

Для нас как раз интересно, что, несмотря на ограниченность их философии, они приближаются к правильной трактовке тех или иных вопросов, потому что само развитие буржуазного естествознания, поскольку оно еще не исчерпало всех своих прогрессивных возможностей, в силу диалектичности самой действительности, толкает естествоиспытателей, помимо их воли, к диалектике.

«Революция, как замечает Энгельс, к которой техническое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать массу накопляющихся чисто-эмпирических открытий, заставляет даже самого упрямого эмпирика признать диалектический характер явлений природы» (предисл. ко 2-му изданию «Анти-Дюринга»).

С точки зрения проявления стихийной диалектики в биологии и, в частности, в вопросе о витализме и механизме, как уже отмечалось в нашей литературе, представляет огромный интерес переведенная на русский язык книга Б. Фишера «Витализм и патология».

С этой же точки зрения заслуживает, без сомнения, нашего внимания и рецензируемая книга, хотя автором ее является не специалист-биолог, а философ, и при том из неокантовской школы Риккерта.

* * *

Книга посвящена, как видно из ее заглавия, проблеме биологической причинности.

Исходя из кантовского понимания причинности, как категории априорной, существующей до опыта и делающей возможным этот опыт, автор, однако, считает, что Кант недостаточно разработал вопрос о причинности, так как, имея в виду механическое естествознание своего времени, он оперировал лишь механической причинностью.

Сущность механической причинности, по мнению автора, заключается в том, что она совпадает с понятием закономерности, а закономерность понимается им, как повторяемость, как тождественность. Механическая причинность абстрагируется от того особенного, качественно специфического, что имеется в отображении, что в основе всех процессов лежит лишь внешнее кажущееся изменение одного и того же.

С ее точки зрения не только одинаковые причины вызывают одинаковые действия, но всякая причина равна действию.

Будучи наиболее широкой по своему объему, механическая причинность, однако, наиболее бедна по содержанию, ибо она в лучшем случае имеет дело с количественными различиями.

Сужая объем понятия причинности и обогащая его содержание, мы должны перейти к таким видам причинности, где мы имеем дело с особыми, специфическими. Таким путем ограничивая всеобщность и усиливая момент особенного, мы от механической причинности переходим к причинности физической, затем к химической и, наконец, биологической, из которых каждая дает особый тип связи между причиной и следствием.

Уже в физической причинности мы сталкиваемся с качественным отличием причины от действия. Возражая Планку, высказавшему мнение, что акустическая волна в механическом движении, автор замечает, что механическое колебание части является причиной звука, но не тождественно с ним, что отождествление звука с колебанием частиц ведет к отрицанию качественных отличий, между тем как качество так же объективно («иди так же субъективно», — прибавляет автор, ссылаясь на г. н. кантовской гносеологии), как и количество.

Физическая причинность, заключая в себе момент качества, однако, имеет дело с очень «бедным качеством». Здесь одинаковые причины ведут еще к одинаковым следствиям (хотя причина и следствие качественно различны), здесь мы имеем еще количественную пропорциональность причины и следствия, что находит свое выражение в физических константах.

Еще больше «выирает» качество в химической причинности, где причина и следствие отличаются друг от друга вещественно (stofflich).

Говоря о химической причинности, автор специально останавливается на вопросе о сведении всех химических веществ к «первоматерии». Он указывает, что это сведение, как и всякое другое сведение «особенного» к «общему», уничтожает специфичность «особенного». Касаясь конкретно современных учений о строении веществ, автор замечает, что однородные атомы, электроны, протоны и т. д. являются абстракцией, ибо, до каких бы мелких частиц материи мы ни доходили, отдельные частицы будут отличаться друг от друга.

Сужая объем причинности и специфицируя ее содержание, автор от механической причинности переходит к биологической.

К биологическим явлениям применимы и принципы более простых форм причинности, но, если рассматривать жизненные явления с механической, физической и т. д. точек зрения, то самое понятие «живого» будет уничтожено, «живое» превратится в мертвое.

В то время как целью всех неорганических форм причинности, это сведение к механическому, биология, наоборот, идет от менее сложного к более сложному. Биология стремится усложнению явлений, она ищет все новые и новые

особенности, и поэтому, как думает автор, в биологии играет столь большую роль, систематика и описание.

В биологии мы уже имеем дело с неповторяемым, индивидуальным.

Всеобщность (в смысле повторения) здесь настолько мала, что, по мнению автора, лучше, пожалуй, говорить не о законах биологии, а о правилах.

В биологии причина и действие различны и количественно и качественно. Непрерывному изменению причин в определенном направлении не соответствует всегда определенное изменение следствия. Одни и те же причины могут вызвать разные действия.

В то время как механическая причинность, отождествляя все, изолирует вместе с тем вещи и явления друг от друга, биологическая причинность ставит упор на связь и взаимозависимость.

Взаимозависимость в органическом мире отличается от взаимозависимости в неорганическом мире и экстенсивно и интенсивно. Экстенсивно связь выражается в том, что живое тесно связано с окружающим миром по всем направлениям («в стороны, и вперед, и назад»). Интенсивно связь выражается в двусторонней взаимосвязанности причины и действия: «если А является причиной В, то В является также и причиной А». (Здесь автор вспоминает об органическом взаимодействии у Канта.)

Сущность биологической причинности по автору заключается как раз во всестороннем скрещивании «тысячи причинных нитей», протекающих по всем направлениям, в такой связи, где всякое изолирование уничтожает специфичность изучаемого объекта.

«Организм — пункт скрещения полноты причинных целей, которые, так сказать, протекают по всем направлениям пространства» (Стр. 73).

«Тысячи причинных нитей, скрещивающихся в организме, полнота его специфических свойств должны быть рассмотрены, как неразрывное целое» (Стр. 75).

Конструируя понятие биологической причинности из специфичности, сложности, неразрывности и целостности, автор стремится вместе с тем, путем логического анализа понятия «живого», указать то специфическое, что имеется в этом понятии.

По его мнению, живое характеризуется тем, что оно «реагирует таким образом, или (его) действие таково, что оно не нарушает всесторонней связи (живого), а, наоборот, поддерживает его» (89) или даже ведет к его усложнению.

Понятие биологической причинности, далекое от всеобщности механической причинности, вместе с тем, больше приближается к действительности, где царит не всеобщее, а особенное, неповторяемое.

Но, вместе с тем, она — не эмпирическая категория, а методологическая познавательная форма, которая является необходимым условием всякого познания в биологии. Отдельные биологические явления (как приспособление организма к среде, целесообразность организма) не могут быть объяснены чем-то лежащим вне биологической причинности, задача науки лишь проанализировать эти понятия и показать, что это — разные формы проявления той же биологической причинности.

Вот почему методологически нелепо целесообразность объяснить из целесообразности, как делает Дарвин. Вообще дарвинизм может по автору объяснить лишь уничтожение нецелесообразного, но не возникновение целесообразного, приспособленного. В основе дарвинизма имеется а priori понятие живого в том смысле, как его понимает автор, и уже из этого понятия «методологически» выводится, что живое приспособляется.

Точно так же и ламаркизм, выводя развитие из влияния внешней среды, предполагает способность организма к реагированию на среду, как нечто данное, т.е. нечто такое, что может быть сведено на основные начала биологической причинности, и которое в дальнейшем объяснении не нуждается.

Автор всюду подчеркивает, что он дает логический, «методологический» анализ вопросов и исходит из логического раскрытия всех понятий, которыми оперирует наука. Без опыта познание невозможно, но опыт остается все же чем-то внешним, случайным (как он сам выражается), для познания.

Механисты и виталисты как раз грешат, по мнению автора, тем, что они ставят на «онтологические рельсы» то, что должно быть разрешено логически. Нет «цели», «эпитеджи», как онтологического принципа; вне целого организма, образованного из его многих свойств, не существует особого начала, особого «агента», регулирующего живое. Цель может быть признана лишь как методологическая, познавательная категория. В непонимании этого лежит ошибка виталистов.

Механисты же грешат тем, что механическую причинность, один из способов познания действительности, корень которого лежит в стремлении человека к единству, они хотят возвести в единственный универсальный принцип самой действительности. Между тем, как неоднократно повторяет автор, в действительности мы не знаем общего, а знаем лишь особенное, неповторяемое.

* * *

Уже на основании изложенного видно, что книга Кристмана интересна для нас тем, что она подчеркивает специфичность связи в отдельных формах движения материи, что она показывает, как причинность, выражающая как раз способы связи материи, модифицируется в отдельных науках, принимая форму причинности механической, органической и т. д.

Для тех материалистов, которые «не знают никакой другой причинности, кроме механической», будет чему поучиться в этом отношении даже у идеалиста-неокантианца Кристмана: Кристман лучше этих материалистов понимает, что отрицание участия творца и всяких энтелехий при объяснении тех или иных явлений еще не исчерпывает причинного объяснения, что причинное объяснение должно показать те особые формы связи, которые проявляются в той или иной сфере действительности.

Интереснее всего то, что, отправляясь в своих рассуждениях о причине и следствии и их взаимодействии от Канта, автор, пытаясь, на основе успехов науки за новое время, сказать по этому вопросу что-либо новое, «открывает» то, что уже сказано давно о причинности и взаимодействии, о механизме, химизме и жизни Гегелем, и то, что после Гегеля было в материалистически-переработанном виде дано Марксом (ср., напр., его соображения о взаимодействии в органическом целом в «Введении к Критике»), Энгельсом (ср. его соображения о взаимодействии базиса и надстройки о причинности в «Диалект. природы» и «Анти-Дюринге») и их последователями и продолжателями.

Критикуя сведения более сложного к более простому, подчеркивая качественное своеобразие отдельных форм движения и «настаивая» на качественности при переходе от механики к физике, химии и биологии, выдвигая момент взаимодействия причины и следствия в органическом целом, автор приближается к той трактовке этих вопросов, которую дает диалектический материализм.

Этим мы не хотим сказать, что вся установка автора правильна: как раз наоборот, правильные соображения принимаются у него чудовищно-извращенный вид как раз вследствие неправильности общей его методологической установки.

Стоя на точке зрения Кантовского разрыва формы познания от его содержания, автор рассматривает причинность, как априорную форму познания.

Правда, биологическая причинность стоит, по его мнению, ближе к действительности, чем механическая, но все же она остается формой познания, которая получается не из анализа конкретной материальной формы движения в действительности, а из анализа понятия жизни самого по себе.

Вот, почему отдельные формы причинности оказываются у него застывшими категориями, внешними друг по отношению к другу, вне их исторического развития и связи с конкретной действительностью. Внутреннего перехода от одной

формы причинности к другой не существует. Специфичность каждой формы движения остается замкнутой каждая в себе, качество принимает абсолютный характер. Отрыв отдельных форм причинности (и движения) друг от друга приводит каждой из них иррациональный оттенок: недаром автор, возражая виталистам, вместе с тем замечает (стр. 89), что «специфический комплекс причин мы в целостности постигнуть не можем»,—здесь он безусловно приближается к сторонникам «Gestalttheorie», которые, признавая качественное своеобразие отдельных форм движения, находят в каждой форме свои иррациональные элементы.

Рассматривая категорию причинности как априорную, оторванную от объекта познания, оторвав вообще форму познания от его содержания, автор вместе с тем отрывает «общее» от «особенного», следуя здесь за общей методологической установкой школы Риккерта.

Общее есть, по его мнению, повторяемое, тождественное, оно находит свое выражение в законе. А так как действительность специфична, неповторяема, то «общее», «закон» есть продукт субъекта познания. Действительность, оказывается, не знает всеобщности и закономерности; закономерность и всеобщность чужды особенному и специфическому.

Не приходится доказывать, насколько нелепа такая постановка.

Как раз материалистическая диалектика всегда подчеркивала (следуя за Гегелем), что закономерности, всеобщности не существует вне особенного, специфического, что всеобщее следует понимать не только как во внешнее всеобщее, как «вынесенное за скобку» всеобщее, полученное путем абстрагирования от особенностей данных отдельных явлений, но и как их внутреннюю сущность, вскрывающее то специфическое, основное, которое определяет сложное взаимодействие отдельных сторон явления. Такое всеобщее не чуждо вещам, не привнесено субъектом, а находится в них самих. Вместе с тем и единичное нельзя познать без всеобщего, без того закона, который ему присущ.

Не поняв этого, автор приходит к выводу, что там, где мы имеем естественно-особое, там уже, по существу, нет законов, а есть в лучшем случае только правила,—вот почему в области качественно-многообразного, по мнению автора, объяснение при помощи законов заменяется описанием и систематикой.

Отрывая объект знания от познающего субъекта, отрывая «особенное» от «единичного» от «всеобщего», абсолютизировав отдельные качества, автор оказывается не в состоянии плодотворно применить высказанные им интересные мысли к животрепещущим проблемам современной биологии. Он ограничивается лишь повторением старых положений Спенсера о дифференциации и интеграции, высказывающих за необходимость синтеза дарвинизма и ламаркизма, высказывает еще пару общих пожеланий—и этим ограничивается.

Большого дать, оставаясь в пределах познающего субъекта и чисто-формального анализа присущих этому субъекту априорных понятий, без «прорыва» из субъекта к познаваемой им конкретной действительности, конечно, невозможно.

В этом сказывается, безусловно, ограниченность точки зрения современного буржуазного естествознания и его идеологов.

Наша задача заключается не в том, чтобы слепо следовать во всем за буржуазным естествознанием и его идеологами, и не в том, чтобы отбросить его как «ненужный хлам», а в том, чтобы, обнаруживая в нем элементы диалектики, бороться с его непоследовательностью и ограниченностью.

И. Лапидус.

Ответственный редактор А. М. Деборина.

Редакционная коллегия: { А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стена,
А. К. Тимирязев.

Главлит № А—26685.

Москва

Тираж 4.200 экз.

Типография газеты „Правда“ Тверская 48.

„ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА“

научно-философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова,
М. Н. Покровского, Я. Э. Стена, А. К. Тимирязева.
Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

Н. Агол, Н. Аалтор, А. Акимович, Ар. А—д,
В. Ашур, В. Астор, В. Агас, Гр. Башин,
А. Бартец, Я. Барташ, А. Балашин, В. Бор-
зюк, В. Борман, В. Боревский, Н. Буларин
Н. Бутков, В. Ваган, Н. Вайнштейн, П. Вино-
градский, А. Виноградский, А. Водов, А. Вольф-
ский, Р. Выдра, Е. Высокос, К. Гессен, С. Голд-
ман, В. Герас, Н. Давыдовский, А. Деборин,
Гр. Деборин, Ш. Давалбиди, Г. Дингар, О.
Дучинский, М.к. Демин, В. Егорин, В. За-
надовский, Г. Зайцев, Я. Зекер, Н. Зюнгел-
родер, А. Зинальчинская, П. Ковал, О. Капо-
люк, Ник. Карас, В. Каротин, В. Кош-
Поланский, В. Колмановский, М. Коринков, А. Кош,
Ст. Крамар, Н. Куралов, М. Лавин, Н. Лапидус,
Н. Лукин-Антонов, Н. Лукин, А. Максимов,
Дж. Маршалл, Фред. М. Мид, А. Миллер-
сон, М. Мидлов, В. Милутин, К. Мюринсон,
Ф. Николаевский, А. Николаев, А. Новос, С. Но-
восов, А. Падоман, В. Пасков, Е. Орлов,
Е. Папулякис, В. Пенков, В. Пеллионский, М. По-
кровский, Н. Рабуловский, А. Рабуал, Я. Рашков,
Н. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, Н. Рубин, Д. Руб-
ков, Н. Салер, П. Саломонков, Вл. Саробровский,
Н. Саргин, А. Саробровский, А. Славков, Вил. Слав-
ков, А. Сидейный, Ю. Столас, А. Столаров,
П. Стучка, Я. Стэн, Ф. Толмачевский, А. Тимир-
язев, С. Томчинский, Ф. Тольминский, А. Удаль-
цов, М. Фурдик, Ю. Франкфурт, Ц. Фриданка,
В. Фриче, З. Цейтан, Г. Шилд и другие.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 4-84-21.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Непринятые рукописи не возвращаются.